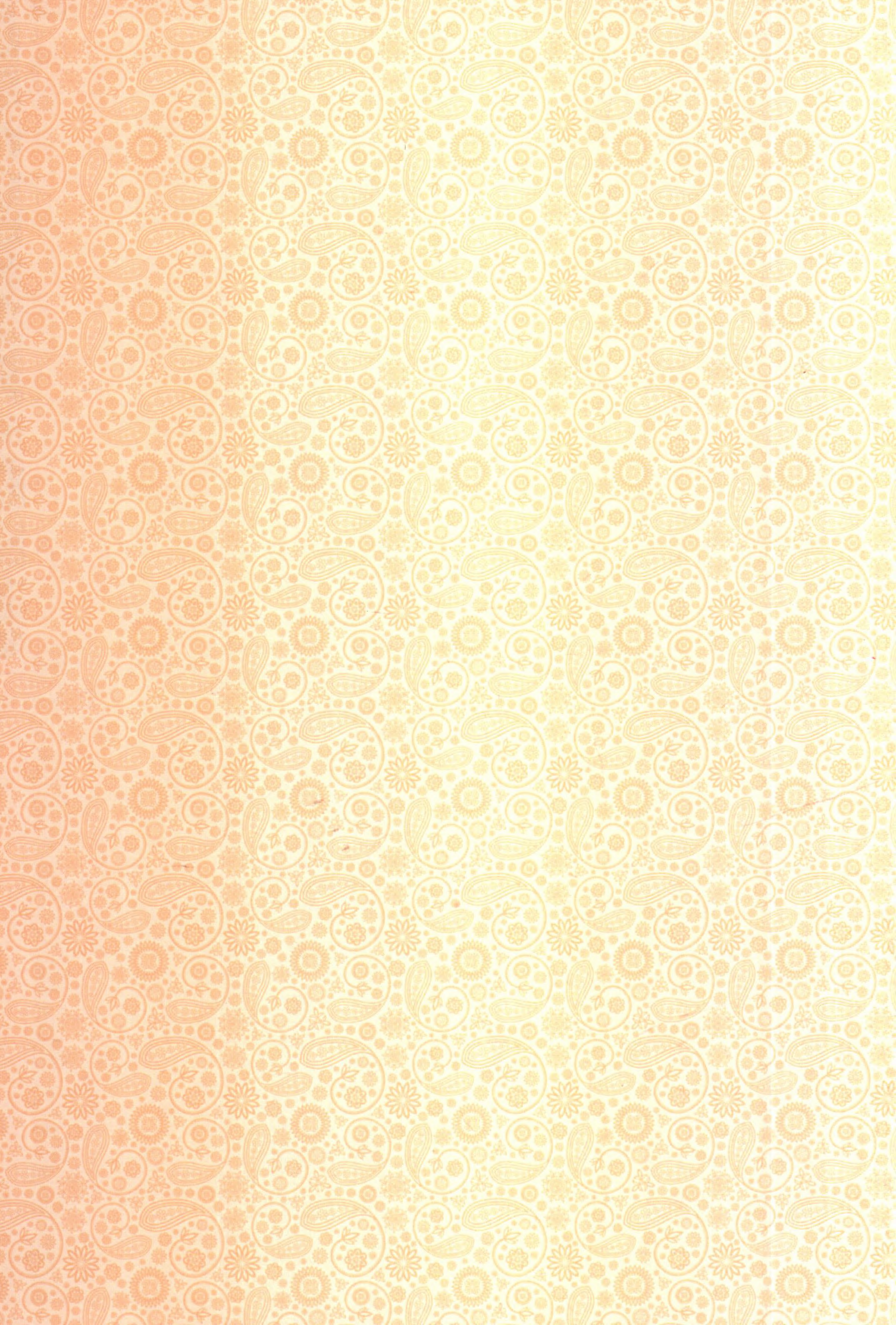
Александр Никитенко

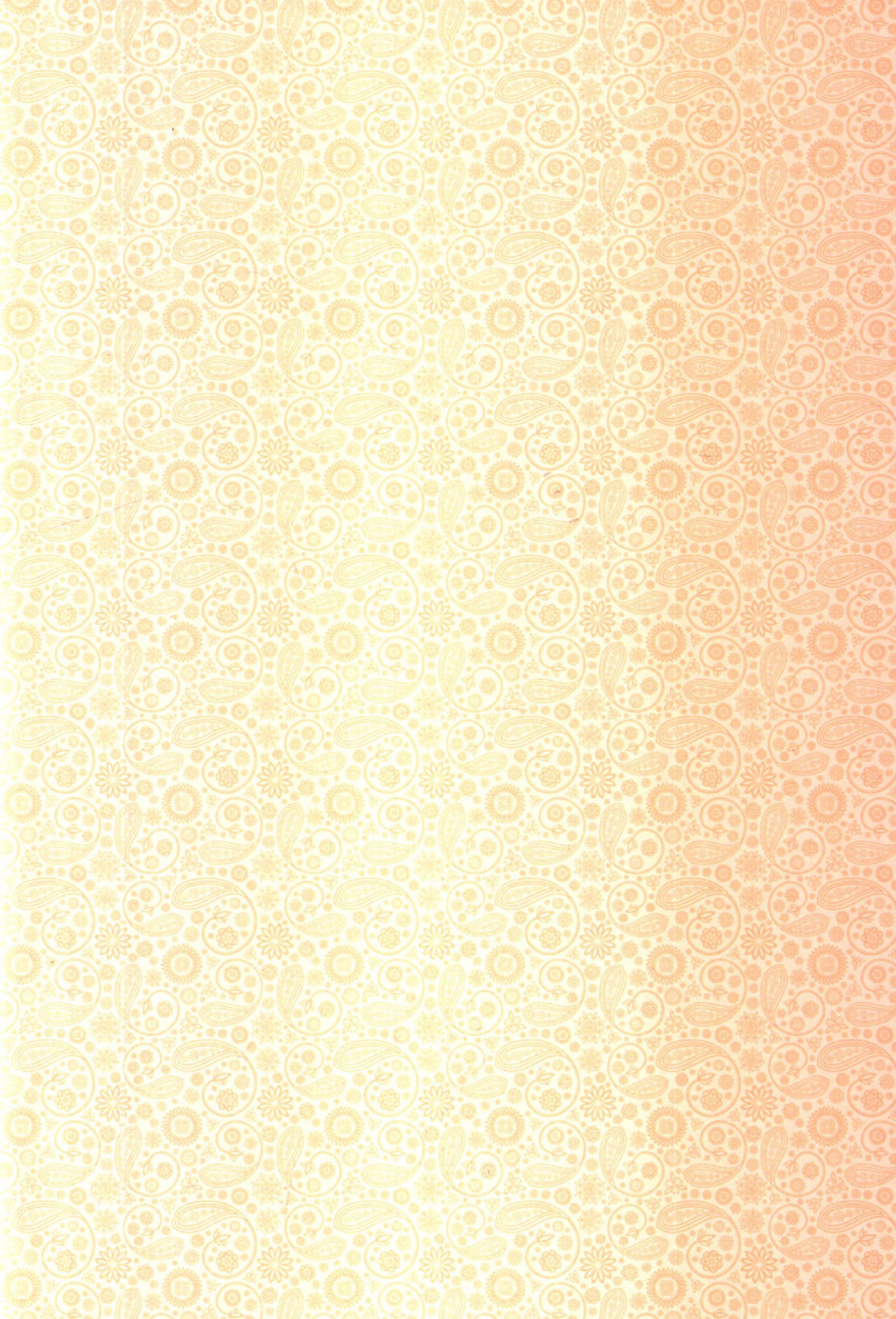
Моя повесть о самом себе



Надежда Кившенко

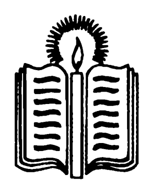
Дневник сельской учительницы





ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Серия основана в 2011 году



ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

Серия основана в 2011 году

ВЫПУСК VI

А.В. Никитенко

Моя повесть о самом себе
и о том, «чему свидетель в жизни был»

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР А.Н. АКИНЬШИН

Н.Д. Кившенко

Дневник сельской учительницы

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР Г.Н. МОКШИН

Воронеж
Центр духовного возрождения
Черноземного края
2017

УДК 821.161.1(093.3)
ББК 84(2=411.2)52-49
Н 62

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Н 62 **Никитенко А.В.** Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был» / А.В. Никитенко. **Кившенко Н.Д.** Дневник сельской учительницы / Н.Д. Кившенко — Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2017. – 288 с.

ISBN 978-5-91338-149-1

Шестой выпуск издательской серии представлен воспоминаниями историка русской литературы Александра Васильевича Никитенко (1804–1877) о воронежском периоде его жизни и дневником учительницы Надежды Даниловны Кившенко (рубеж 1850-60-х гг. – 1903).

В мемуарах Никитенко идет речь о событиях в слободе Алексеевке Бирюченского уезда, селе Писаревка Богучарского уезда, городах Острогожске и Воронеже. Дневник Кившенко раскрывает школьную жизнь в селе Ивановка Острогожского уезда. Издание снабжено научными комментариями и именным указателем.

Предназначено для всех, кто интересуется историей и культурой родного края.

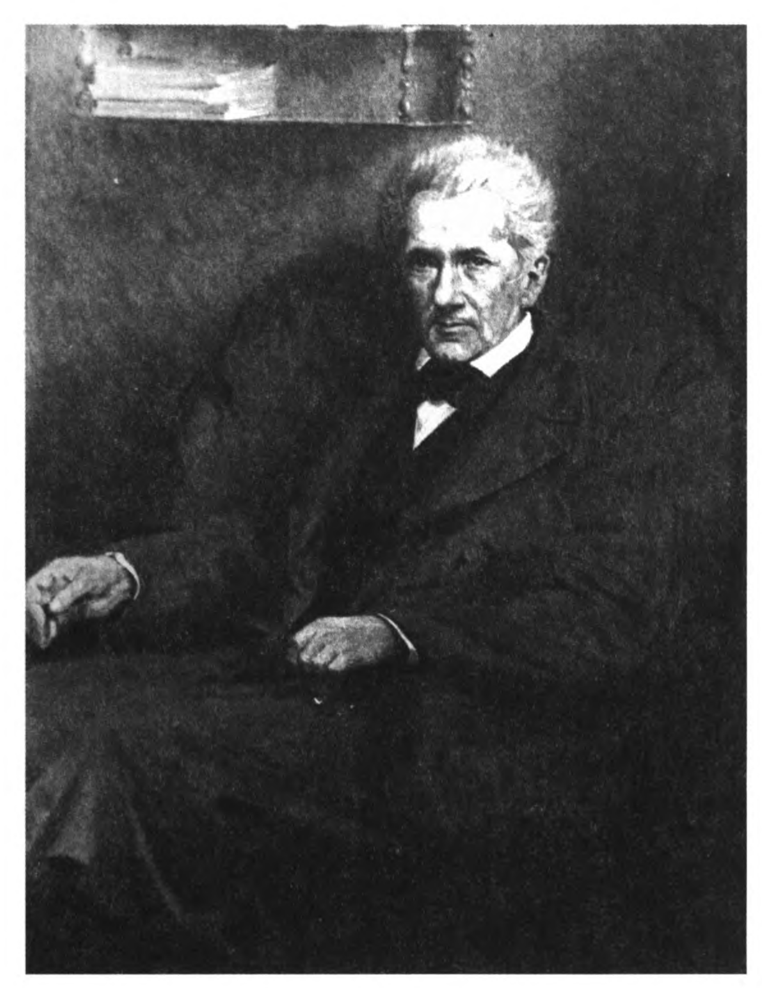
УДК 821.161.1(093.3)
ББК 84(2=411.2)52-49

ISBN 978-5-91338-149-1

Александр Никитенко

Моя повесть о самом себе

и о том, «чему свидетель в жизни был»



А.В. Никитенко. Худ. И.Н. Крамской. 1879 г.

I. Где и от кого произошел я на свет

В Воронежской губернии, что прежде была Слободско-Украинская, у реки Тихой Сосны, между небольшими уездными городами, Острогожском и Бирючом, есть большое село, или слобода, Алексеевка, населенная малороссиянами, которых русская политика сделала крепостными. Они вовсе не ожидали этого, когда тысячами шли, по вызову правительства, из Украйны и селились за Доном, по рекам Сосне, Калитве и другим для охранения границ от вторжения крымских татар.

Алексеевская слобода сперва была отдана, кажется, во владение князей Черкасских[1], а от них, по брачной сделке, перешла в род графов Шереметевых[2], владевших огромным количеством людей чуть не во всех губерниях России. У них в последнее время, говорят, считалось до ста пятидесяти тысяч душ.

В слободе Алексеевке жил сапожник Михайло Данилович, с тремя прозваниями: Никитенка, Черевика и Медяника. То был мой дед по отцу. Я помню добродушное лицо этого старика, окаймленное окладистою, с проседью, бородою, с большим носом, обремененным неуклюжими очками, с выражением доброты и задумчивости в старых глазах. Руки его были исчерчены яркими полосами от дратв. Он некрасиво, но добросовестно тачал крестьянские чоботы и черевики, был чрезвычайно нежен ко мне, ласков и добр ко всем, но любил заглядывать в кабак, где нередко оставлял не только бóльшую часть того, что зарабатывал днями тяжких трудов, но и кушак свой, шапку и даже кожух. Молчаливый, кроткий, благоразумный в трезвом виде, напившись, он имел обыкновение пускаться в толки об общественных делах, вспоминать о казачине и гетманщине, судил строго о беспорядках сельского управления и наводил страх на домашних, посыпая их укорами и увещаниями, которые нередко подкреплял орудиями своего ремесла: *клесичкою* (палка для выглаживания кожи) и *потягом* (ремень для стягивания ее). Сильно недолюбливал он, чтоб его отвлекали от чарки призывом, под каким-нибудь предлогом, домой, к чему нередко должны были прибегать, когда он показывал явное расположение слишком загулять. Он не смел ослушаться и возвращался, но не без протеста. «Вот

какая ты дурная, не чувствительная, — выговаривал он в таких случаях моей бабушке, — только что начал я рассуждать о важном деле с *сябром* (соседом), как вдруг: поди домой! Теперь, черт знает, когда соберешься с мыслями!»

Бабушка была замечательная женщина. Дочь священника, она считала себя принадлежащею к сельской аристократии и чувствовала свое достоинство. Связи ее и знакомства ограничивались кругом избранных лиц, так называемых мещан, составлявших касту высшего сословия в слободе. Никогда не видели, чтобы она угощалась серебряною чаркою с кем-либо, кроме дам, носивших по праздникам *кораблики* вместо серпанков на голове, *кунтуши* тонкого сукна с позументом на талии и черевики на *котках*, или высоких каблуках. При всей бедности она свято держалась обычая малороссийского гостеприимства и отличалась редкою добротою, делясь последними крохами с неимущим. В ней было врожденное благородство, которое заменяло ей образование и сообщало поступкам и обращению ее особенный тон приличия. Я помню, как ловко умела она вести и поддерживать разговор с горожанами и помещиками и письменными, какими умными и тонкими замечаниями приправляла свои и чужие рассказы, как живо и складно излагала народные поверья и предания времен Екатерины II, которую всегда с благоговением называла матушкой-царицей, как бойко умела спорить и оспаривать, всегда стараясь поставить на своем. Она пользовалась отличною репутацией. Ее называли не иначе, как умною Степановною или разумною Параскою.

Дед мой не достиг маститой старости: он, купаясь, утонул в реке, когда ему не было еще шестидесяти лет. Бабушка осталась с четырьмя детьми: двумя дочерьми и двумя сыновьями. Из дочерей, младшая, Елизавета, доброе и милое существо, любила меня горячо и была участницею моих первых игр, хотя значительно превосходила меня годами. Старшая, Ирина, дурного поведения, часто причиняла глубокую скорбь своей матери, но та, несмотря на это, любила ее чуть ли не больше всех остальных детей. Из двух сыновей старший, Василий, был мой отец.

Бабушка Степановна отличалась крепким сложением. Она умерла ста лет, сохранив все свои способности. Только лет за пять до смерти у ней несколько ослабело зрение.

II. Мой отец и моя мать

Немного сведений дошло до меня о первых годах детства моего отца[3]. Когда ему исполнилось одиннадцать или двенадцать лет, в Алексеевку прибыл уполномоченный от графа Шереметева для выбора мальчиков в певчие. У отца оказался отличный дискант, и его отправили в Москву для поступления в графскую певческую капеллу, которая и тогда уже славилась своим искусством.

Тогдашний граф Шереметев, Николай Петрович[4], жил блистательно и пышно, как истый вельможа века Екатерины II. Он к этому только и был способен. Имя его не встречается ни в одном из важных событий этой замечательной эпохи. В памяти современников остался только великолепный праздник, данный им в одной из подмосковных вотчин своих двору, когда тот посетил Москву. Он был обер-камергером, что, впрочем, не придавало ему ни нравственного, ни умственного значения: он всегда оставался только великолепным и ничтожным царедворцем. Между своими многочисленными вассалами он слыл за избалованного и своенравного деспота, не злого от природы, но глубоко испорченного счастьем. Утопая в роскоши, он не знал другого закона, кроме прихоти. Пресыщение, наконец, довело его до того, что он опротивел самому себе и сделался таким же бременем для себя, каким был для других. В его громадных богатствах не было предмета, который доставлял бы ему удовольствие. Все возбуждало в нем одно отвращение: драгоценные яства, напитки, произведения искусств, угодливость бесчисленных холопов, спешивших предупреждать его желания — если таковые у него еще появлялись. В заключение природа отказала ему в последнем благе, за которое он, как сам говорил, не пожалел бы миллионов, ни даже половины всего своего состояния: она лишила его сна.

За пять или за шесть лет до смерти он пристрастился к одной девушке, актрисе своего собственного домашнего театра, которая, хотя не отличалась особенною красотою, однако была так умна, что успела заставить его на себе жениться. Говорят, что она была также очень добра и одна могла успокаивать и укрощать жалкого безумца, который считался властелином многих тысяч душ, но не умел справляться с самим собою. По смерти жены он, кажется, окончательно помешался, никуда больше не выезжал и не видался ни с кем из знакомых. После него остался один малолетний сын, граф Дмитрий. В воспитании последнего принимала живое участие императрица Мария Федоровна[5]. Но природа, щедрая к нему в других отношениях, отказала ему в способностях, и он, несмотря на все заботы о нем, недалеко ушел ни в науках, ни в развитии.

Итак, мой отец поступил в певчие. При капелле существовала школа, где, кроме музыки, малолетние певчие обучались и грамоте. Отец обнаружил редкие способности ко всему, чему его учили. В свободное от школьных и певческих занятий время он много читал и приобрел разнородные познания, далеко превышавшие его положение. Между прочим, он выучился французскому языку. Его все любили не только за ум и талантливость, но и за доброту, за живое и приятное обращение. Скоро он стал первым между товарищами и даже сделался известен графу Шереметеву.

С умилением и благодарностью вспоминал он впоследствии о внимании и ласках, которые оказывал ему знаменитый и несчастный Дегтяревский[6], немного позднее угасший среди глубоких, никем не понятых и никем не раз-

деленных страданий. Это была одна из жертв того ужасного положения вещей на земле, когда высокие дарования и преимущества духа выпадают на долю человека только как бы в посмеяние и на позор ему. Дегтяревского погубили талант и рабство. Он родился с решительным призванием к искусству: он был музыкант от природы. Необыкновенный талант рано обратил на него внимание знатоков, и властелин его, граф Шереметев, дал ему средства образоваться. Дегтяревского учили музыке лучшие учителя. Он был послан для усовершенствования в Италию. Его музыкальные сочинения доставили ему там почетную известность. Но, возвратясь в отечество, он нашел сурового деспота, который, по ревизскому праву на душу гениального человека, захотел присвоить себе безусловно и вдохновения ее: он наложил на него железную руку.

Дегтяревский написал много прекрасных пьес, преимущественно для духовного пения. Он думал, что они исходатайствуют ему свободу. Он жаждал, он просил только свободы, но, не получая ее, стал в вине искать забвения страданий. Он пил много и часто, подвергался оскорбительным наказаниям, снова пил и, наконец, умер, сочиняя трогательные молитвы для хора. Некоторые из его сочинений и до сих пор известны любителям церковной музыки.

Отец мой, между тем, спал с голоса. Ему было уже семнадцать лет, когда, по заведенному в графской администрации обычаю, порешили отправить его в одно из имений на канцелярскую службу. Выбор пал на его родину и, как он находился на счету отличных людей и по способностям, и по поведению, ему, несмотря на его молодость, дали в Алексеевке важное место старшего писаря.

Алексеевка была обширная и многолюдная слобода. В ней считалось до семи тысяч душ.

Сверх того к ней было приписано до девяноста разных малых и больших хуторов, так что все население ее простиралось до двадцати тысяч с лишком душ. Управлялась слобода двоякого рода властями. Одни назначались графом, а именно: управитель, старший писарь и поверенный. Другие избирались общиною и назывались *атаманами*. Все это вместе составляло так называемое *вотчинное правление*, в котором старший писарь, иначе земский, был правителем дел. Наконец, существовала еще одна власть: общинное собрание, *мир*, *вече*, или, по малороссийски, *громада*. Суждению ее подлежали вопросы, касавшиеся благосостояния и порядка целой вотчины: вопросы финансовые, рекрутская повинность и т.д.

Так было в учреждении, на деле выходило иначе. Вся правительственная власть сосредоточивалась в руках графского уполномоченного или управителя, а сила, двигавшая общественными пружинами и ходом вещей, — в руках богатых обывателей, так называемых мещан. Эти мещане занимались преимущественно торговлею, и многие из них обладали значительными капиталами,

тысяч до двухсот и более рублей. Предмет их торговли составляли хлеб, сало и кожи. Они не отличались добрыми нравами. То были малороссияне выродившиеся, или, как их называли в насмешку, *перевертки*, успевшие усвоить себе от *москалей* одни только пороки. Надутые своим богатством, они презирали низших, то есть более бедных, чем сами, сильно плутовали и плутовским проделкам были обязаны своим благосостоянием. Жили они роскошно, стараясь подражать горожанам, одевались в щегольские *жупаны*, смешивая покрой малороссийский с русским, задавали частые попойки, украшали дома свои богато, но безвкусно. Жены их и дочери щеголяли тонкого сукна *кунтушами*, шитыми золотом *очипками*, *запасками*, особенно намистами (ожерельями) из дорогих крупных кораллов вперемешку с серебряными и золотыми крестами и дукатами.

Настоящий малороссийский тип лица, нравов, обычаев и образа жизни сохранялся почти исключительно в хуторах. Там можно было найти истинно гомерическую простоту нравов: добродушие, честность и то бескорыстное гостеприимство, которым по справедливости всегда славились малороссияне. Воровство, обман, московская удаль, надувательство были у них вещами неслыханными. Москаль, по их понятию, все это вмещавший в себе, был словом ругательным.

Эти добрые хуторяне, в своей патриархальной простоте незнакомые с цивилизованными пороками, умеренные в своих требованиях, жили бы совершенно счастливо, владея прекраснейшею в мире землею и платя небольшой оброк помещику, если бы их не притесняли богатые мещане. К несчастию, богатство и здесь, как часто бывает, составляло могущество, служившее одним для угнетения других. Мещане разными способами обижали хуторян: они то старались подчинить их своей власти, то захватывали у них клочок выгодной земли или леса, то обращали на них бремя общественных тягостей, которых сами не хотели нести. Все это делалось безнаказанно. Представители графской власти думали только о том, как бы и им обогатиться, а выборные от народа, или громада, состояли из тех же мещан: эти последние располагали и выборами, и голосами в громаде.

Был в слободе еще особенный и многочисленный класс людей — класс ремесленников: *кравцов* (портных), *шевцов* (сапожников), бочаров, или *бондарей*, *ковалей* (кузнецов) и проч. Они уже не занимались земледелием, но развозили по сельским и городским ярмаркам свои изделия. Сталкиваясь в этих промышленных странствованиях с москалями, они заражались их удалью и были большею частью преизрядными плутами.

Вот среди какого общества был призван жить и действовать на первых порах мой отец. Он прибыл в Алексеевку, кажется, в 1800 или 1801 году. Ему тогда только что минуло восемнадцать лет. Мещане встретили его недоброжелательно. Они презирали его за молодость и считали недостойным

участвовать в управлении их общиною. Однако они скоро утешились, предполагая, что зато будут иметь в нем покорное орудие. Но у отца было другое на уме. Кроме способностей, природа наделила его еще пылким, благородным и восприимчивым сердцем. Он был одною из тех личностей, которым суждено всю жизнь бороться с окружающею неурядицею и в заключение становиться ее жертвою. Он, как я уже говорил, значительно образовал себя и, на свою беду, умственно и нравственно совсем отделился от людей, с которыми ему надлежало жить и от которых он зависел. Образование его было случайное, без всякой системы и ни мало не приспособленное к его будущности. Лишенное практического смысла, оно только воспламенило его воображение, наполнило голову идеями, не согласными с окружающею действительностию, и потому не могло руководить его среди пропастей и грязи, которые ему суждено было проходить. Оно составляло блестящее, неожиданное, но и опасное преимущество его судьбы.

Отец мой совсем не понимал своего положения. Даже пример Дегтяревского не научил его. Он был знаком только с героями истории и романов, а не с жизнию и деятелями своего мира. Ценя только то, что находил или в высших сферах действительности, или в фантастических своих и чужих дополнениях к ней, он с первого же шага в жизни бросился навстречу призракам таких доблестей, самые имена которых не были известны не только в графских вотчинах, но и в других, гораздо более почетных местах русской земли. Приступив к отправлению своей должности, он скоро убедился, что грубая сила и богатство, а не человечность и справедливость располагают делами и жребием людей. Тогда он вообразил себе, что избран Провидением дать другое устройство своей родине, установить равновесие между людьми привилегированными и бедными и учредить такой порядок, чтобы последние всегда находили защиту против самоуправства и произвола первых, то есть он предпринял дело, которое еще никому в мире не удавалось. Мысль эта до того овладела им, что он забыл всякую осторожность и скудость средств, какими располагал для борьбы со злом.

Богатые мещане сначала приуныли, заподозрив в нем тайного агента графа, но скоро успокоились, увидев, что во всяком случае имеют дело с горячим, неопытным юношей, с которым нетрудно будет справиться: стоит только дать побольше разыграться его пылкости и терпеливо выждать удобную минуту.

На первых порах местные аристократы, впрочем, еще надеялись другим, мирным, способом обуздать непрошеного реформатора. Они хотели женить его на ком-нибудь из своих и, запутав в родственные и семейные связи, сделать его сговорчивее. Но отец и тут пошел всем наперекор. Он, действительно, поспешил жениться, но в угоду себе, а не другим.

Случилось это так. Однажды вечером он шел по мосту через реку Сосну. С пастьбы возвращались на ночлег стада коров и овец. Им навстречу, по обыкновению, высыпала из деревни толпа женщин и между ними одна моло-

дая девушка, привлекательная наружность и скромный вид которой приковали внимание отца. Он осведомился у подруг об ее имени и узнал, что она дочь небогатого кравца, шьющего тулупы, по прозванью Ягнюка. Участь отца была решена: пленительный образ девушки всецело овладел им.

Дня три спустя он объявил родителям, что хочет жениться. Моя бабушка пришла в ужас, когда узнала, что избранная ее сына не зажиточная мещанка, а дочь бедного, ничтожного кравца. Важное значение в слободе моего отца, первого, после управляющего, лица, его способности, московское образование делали его настоящим панычем. Все это давало его матери повод рассчитывать на гораздо более выгодный для него брак. Она надеялась назвать невесткою дочь кого-нибудь из первоклассных богачей слободы. Были призваны на помощь всевозможные доводы, просьбы, увещания, чтобы отклонить молодого человека от неравного брака. Все напрасно. Романическая встреча, красота девушки, самая бедность ее заставляли отца упорно стоять на своем.

Но он и в решимости своей не по обычаю поступил. Вместо того чтобы заслать к родителям невесты сватов, он сам явился к ним. Это были малороссияне старого закала, в которых еще не угас дух прежних украинцев. Честные и добродушные, они не имели ничего общего с испорченной средой мещанского и ремесленного сословия. Главное занятие их составляло земледелие, но дед мой в молодости научился шить кожухи и теперь еще кое-что зарабатывал в качестве кравца. Семья его, таким образом, не терпела особенной нужды.

Они жили на берегу Сосны, в небольшой, крытой соломою, но беленькой хате, за которою, к самой реке, спускался огород с грядами капусты, гороха, свеклы, кукурузы и разного рода цветами. Тут красовались пышные гвоздики и огромные подсолнечники, пестрели разноцветные маки, благоухал канупер, ковром расстилались ноготки, колокольчики, зинзивер и — украшение могил — васильки. Огороду этому впоследствии суждено было терпеть великое опустошение от моих набегов, особенно в той части, где вокруг гибких и длинных тычинок вился сладкий горох. За рекой, против самого огорода, расстилался вишневый сад — рай моей бабушки, когда она еще была в девицах, потом ее дочерей, а в заключение и мой. Там теснились яблони, вишневые и грушевые деревья, летом и осенью обремененные плодами — отрадой моих детских лет. Но об этом после.

Старики оторопели, когда узнали, зачем явился к ним такой знаменитый гость, как старший писарь, мой будущий отец. «Так як же тому буты, — говорила старуха-мать, — щоб наша Катря була тоби жинкою? Чи вона ж тоби пара? Мы люде убоги и прости, а ты бачь письме́нный, паныч, да такой еще гарный. У Катри ничего нема, далибуг, окроме якихсь плахтынок, сорочек да хусток».

Отец мой на это разразился чем-то вроде пламенного дифирамба, из которого старуха, разумеется, ничего не поняла. В заключение, однако, решили

позвать Катрю и спросить у нее, согласна ли она идти замуж за старшего писаря, Василья Михайловича. Озадаченная девушка, дрожа и краснея, отвечала, что сделает, как прикажут родители.

Недели через три сыграли свадьбу — к тайному неудовольствию матери жениха и к изумлению алексеевских аристократов, которые с этих пор окончательно возненавидели отщепенца и укрепились в намерении погубить его.

Мне предстоит трудная задача начертить портрет моей матери, соединив черты ее юности, дошедшие до меня по преданию, с тем, что уцелело в моей собственной памяти от ее более зрелого возраста. Она была замечательное в своем роде явление. Жизнь не дала ей ничего, кроме страданий, но она с редким достоинством прошла свой скорбный путь и сошла в могилу с ореолом праведницы[7].

В молодости она слыла красавицею, да и в моей памяти рисуется еще такою. Ее тонкие правильные черты выражали бесконечную кротость, а манеры и обращение с летами приобрели особенную плавность и величавость. Росту она была выше среднего и стройно сложена. Черные волосы мягкими прядями лежали вокруг высокого лба. Но всего лучше были ее карие глаза: в них светилось столько нежности и доброты. Кто видел ее, тот непременно чувствовал к ней приязнь и уважение. Без всякого образования, она обладала счастливыми способностями, при которых женщина легко свыкается с обычаями, нравами и понятиями другого, более утонченного круга. По развитию мой отец был выше ее. Она это признавала и почтительно перед ним преклонялась, всегда охотно входила в его виды и сочувствовала если не романическим порывам и игре его фантазии, то благородным стремлениям, лежавшим в основе его характера. У нее у самой была бездна природного ума, который с течением времени тоже не преминул развиться и окрепнуть. То был ум удивительно верный и здравый, без малейшей заносчивости и тонкий без жеманства. В нем она всегда находила прочную точку опоры там, где более отважный, но менее гибкий ум ее мужа легко терял почву под ногами.

События, наполнявшие жизнь моего отца, как настоящие волны, то и дело бросали утлый челн его из одной крайности в другую. Он был игрушкою самой странной судьбы, полной противоречий и горьких разочарований. С одной стороны, он как бы пользовался выгодами и преимуществами независимого, даже почетного положения, с другой — мог быть попираем, как червь. Герой по широкому уму, по способностям и по гордости, с какою отстаивал свое человеческое достоинство, он по роли, которая выпала ему в жизни, был жалким актером. Немало противоречий было и в сношениях его с людьми: случай беспрестанно наталкивал его на таких, которые были гораздо выше его и по систематическому образованию, и по общественному положению. Но они не только охотно водились с ним, как с равным, но многие из них даже состояли в тесной дружбе с ним. У меня сохранилась часть переписки моего отца, которая

свидетельствует об уважении и сочувствии к нему этих лиц. В такой-то круг житейских условий вошла моя мать, неся им навстречу только свое прекрасное сердце, свой непросвещенный, но здравый ум и свой женский инстинкт. Она сумела найтись в этом чуждом ей кругу и соединить строгое исполнение обязанностей своего пола и призвания с требованиями относительно чрезвычайного положения. На кухне, за прялкой, за иглой она была усердная работница, кухарка, швея, нянька своих детей. И ее же потом видели степенно, скромно, но свободно ведущею беседу с именитыми горожанами, точно она век с ними жила. Она вообще умела делать все просто и кстати. Разговор ее не отличался бойкостью, но она говорила легко и занимательно, нередко приправляя свою речь оригинальным малороссийским юмором.

Но главная сила моей матери заключалась в сердце и характере. Она была сама доброта и самопожертвование. Конечно, она знала, что в мире есть зло: она сама много от него терпела, но решительно не понимала, как можно делать зло и как можно делать на свете что другое, кроме добра. Ничто не сравнится с терпением и мужеством, с какими она переносила удары судьбы. Она испытала все, что составляет отраву жизни: страдания сердца, нужду, всевозможные лишения, гонения и потрясения самых бурных и неожиданных свойств. Беды и несчастия, казалось, спорили о том, которому из них, наконец, удастся одолеть эту прекрасную, благородную душу женщины, виноватой только тем, что она жила. Но кто видел, как глубоки и жгучи были ее скорби? Один только Бог разве, перед которым она изливала свое сердце в тихой, покорной молитве, не спрашивая, зачем, в силу каких законов возложено на нее такое тяжкое иго?

Враждебные обстоятельства с течением времени произвели некоторые перемены в характере отца. В сущности он оставался тем же, но стал недоверчивее к людям. Взгляд его на жизнь сделался скептичнее, а на собственную судьбу — мрачнее и тревожнее. Характер его подруги, напротив, все совершенствовался и под давлением бед только сосредоточивался и, так сказать, округлялся. Замечательно, что выросшая среди людей простых и невежественных она, в своих религиозных верованиях, была чужда суеверия и предрассудков, которые так часто принимаются за одно с религией. Ее здравый ум верно отличал настоящие требования всего честного и разумного от искусственного и только наружного. Она чтила не обычай, а добрые нравы и им одним придавала важность.

Зато религиозные верования моего отца, как и все в нем, отличались своеобразностью и были полны противоречий. Например, он высоко ценил Вольтера[8] и нимало не смущался его скептическими воззрениями. Сам, между тем, был набожен, не иначе, как с уважением, говорил о «вещах божественных» и ничуть не пренебрегал обрядами церкви. При всяком выдающемся событии в домашнем быту он непременно приглашал священника служить молебен, хотя

за это часто нелегко бывало заплатить. На молебнах он всегда с благоговением молился, а вслед за тем опять от души смеялся антирелигиозным выходкам Вольтера, особенно его издевательствам над попами и монахами.

III. Первые покушения моего отца водворить правду там, где ее не хотят, и что из этого вышло

После женитьбы отец мой намеревался жить по-прежнему, со своими родителями, но это скоро оказалось невозможным. Его мать никак не могла простить удара, нанесенного ее честолюбию, и, как женщина энергическая, резко выражала свое неудовольствие. За все платилась, конечно, моя будущая мать. Ни молодость, ни красота ее, ни безусловная покорность — ничто не могло смягчить бабушку Степановну. Отцу приходилось или оставаться безмолвным зрителем незаслуженных обид и оскорблений, ежедневно наносимых его юной подруге, или начать жить собственным домом. Он избрал последнее. Жалованье он получал небольшое; но в Алексеевке все было дешево, а нужды его семьи незатейливы: ему без особенного труда удалось обзавестись маленьким хозяйством. Молодость, относительное довольство, согретый любовью домашний очаг, а главное — удовлетворение малым и вера в будущее делали то, что отец мой на время счел себя счастливым. Этот момент его жизни может быть назван золотым, идиллическим периодом его существования. Но идиллия недолго продолжалась: она быстро перешла в драму с печальной развязкой на краю могилы.

Характер общественной деятельности моего отца не замедлил определиться. Он с первых же шагов в качестве старшего писаря выступил защитником слабых и врагом сильных. Настал ряд случаев, в которых ярко обнаружилась и его диалектическая ловкость в оспаривании несправедливых притязаний, и стойкость в преследовании злоупотреблений. Это усилило бдительность врагов и разожгло их злобу. Завязалась ожесточенная борьба. К несчастью, отец мой стоял совсем одиноко. Ему и в голову не приходило позаботиться о том, чтобы приобрести себе союзников, образовать нечто вроде партии. Он ровно ничего не понимал в практической мудрости, которая страстями же побеждает и подчиняет себе страсти, но в своей юношеской неопытности думал, что достаточно возвысить голос в пользу правды, и ее торжество несомненно. Уроки опыта и впоследствии не научили его этому.

Был объявлен рекрутский набор. Вотчине надлежало поставить известное число рекрутов. Власти так повели дело, что богатые, имевшие по три и по четыре взрослых сына, были, под разными предлогами, освобождены от этой общественной тягости, которая, таким образом, падала исключительно на бедных. Многие семьи лишались последней опоры: лбы забрили даже нескольким женатым. Такая несправедливость возмутила отца. Он горячо вступился за

одну вдову, у которой отнимали единственного сына и кормильца. Но протест его остался без последствий. Тогда он решился прямо от себя написать графу и раскрыть ему все злоупотребления.

Поднялась страшная суматоха. От графа явились ревизоры; как водится, уполномоченные исследовать беспорядки и принять меры к их устранении на будущее время. Эти почтенные блюстители нравов, прежде всего, взяли с виновных огромные взятки, а затем объявили их не только правыми, чуть не святыми, а виновника переполоха, моего отца, признали клеветником. Его отрешили от должности и, в ожидании дальнейших распоряжений графа, посадили в тюрьму.

Отец, однако, не смирился. Он вздумал перехитрить врагов и предупредить их донесение графу своим собственным. Но как это сделать? Его, как важного общественного преступника, зорко стерегли и не давали ему ни бумаги, ни перьев, ни чернил. Моя мать нашла средство все это доставить ему. Ей позволили навещать заключенного, и вот она в одно из своих посещений снабдила его бумагой, которую принесла, мелко сложенною, под чепцом. Этот головной убор малороссиянок в то время был очень объемистый и с упругим верхом. Туда же спрятала она и перо, а чернильницу скрыла в краюшке хлеба!

Два дня спустя, письмо с описанием гонений, претерпеваемых отцом, уже было на пути к графу. Противники не успели опомниться, как явилось строгое предписание приостановить ход дела, освободить отца и отправить его для личных объяснений в Москву. Это произвело на всех действие громового удара, а отцу моему внушило самые отважные надежды. Последние, однако, быстро рассеялись.

Граф, правда, благосклонно выслушал его, но еще благосклоннее отнесся к наветам противной стороны. Отца признали человеком беспокойым, волнующим умы и радеющим больше о выгодах человечества, чем о графских. В заключение беднягу заковали в цепи и привезли обратно в слободу, где велели жить под надзором местных властей. Отсюда начался ряд его несчастий — унижений, гонений и лишений всякого рода.

Прежде всего надлежало подумать о насущном хлебе. Отец собрал в памяти все, чему учился в Москве и что успел почерпнуть из чтения книг, и решился пустить в оборот небольшой капитал своего знания. Верстах в пятнадцати от Алексеевки жила в небольшой деревне помещица, Авдотья Борисовна Александрова[9]. Эта замечательная личность, тип русских помещиц начала нынешнего столетия, не может быть обойдена молчанием. К тому же она была моею крестной матерью. Я помню ее уже лет сорока. Высокая, довольно полная, с грубым лицом и мужскими ухватками, она неприятно поражала резкими манерами и повелительным обращением. Жила она на широкую барскую ногу, хотя средства ее были невелики. У ней часто собирались гости, особенно офицеры квартировавшего в окрестностях полка. Ходила молва, что она охот-

но угощала их не только сытными обедами и наливками, но и отцветающими своими прелестями. Образование ее не шло дальше грамоты да умения одеваться и держать себя по-барски, сообразно тогдашним обычаям и моде. Претензий зато у нее было пропасть. Она била на барство, и потому сама мало распоряжалась хозяйством, а действовала в домашнем управлении через управляющего, дворецкого, ключниц и т.д.

Эта феодальная дама отличалась всеми свойствами деспота, обладателя нескольких сот рабов, но сама состояла в рабстве у своих дурных наклонностей. Бич и страшилище подвластных ей несчастливцев, она особенно тяготела над теми, которые составляли ее дворню и чаще других попадались ей на глаза. Мои воспоминания о ней ограничиваются годами моего детства. Но я живо помню, как она собственноручно колотила скалкою свою любимую горничную, Пелагею; как раздавала пощечины прочим; как другая ее горничная, Дуняша, с бритой головой по нескольку дней ходила с рогаткой вокруг шеи; как всех своих девушек секла она крапивой. Подобные вещи, впрочем, никого не возмущали: они были в нравах общества и времени.

Мать четырех детей, Авдотья Борисовна выхлопотала позволение моему отцу переселиться к ней, чтобы занять в ее доме должность учителя. И вот мы* переехали в Ударовку. Если не ошибаюсь, это было в 1802 году.

Деревня славилась живописной местностью. Барский дом стоял на высокой горе, у подошвы которой течет река Тихая Сосна. Начиная с вершины горы, по скату ее и до самой реки простирался великолепный сад с множеством плодовых деревьев и с огромными вековыми дубами. На противоположной стороне реки зеленел и пестрел цветами роскошный луг с живописно разбросанными по нему купами лоз и вербы. На одном из грациозных изгибов реки стояла водяная мельница. Около пенилась и клокотала вода, отдаленный шум падения которой долетал до горной вершины. Деревня тянулась по горе, против барского дома. Отцу моему отвели в ней маленький, но опрятный домик, который примыкал к саду. Здесь-то и явился я на свет, на второй или на третий год после водворения в Ударовке моих родителей, а именно в 1804 или 1805 году.

IV. Первые годы моего детства

Я рано помню себя, но память моя, конечно, удержала только самые яркие черты лиц и событий моего первого детства. Зато воспоминания эти очень живы и пластичны: лица, события, местности и теперь еще представляются мне так ясно и отчетливо, как будто они все еще были у меня перед глазами. Между тем, мое знакомство с ними должно быть отнесено к трех- и даже двухлетнему моему возрасту. Первое воспоминание из самой отдаленной древ-

* Родители А.В. Никитенко.

ности моей истории, или из самой юной эпохи моей жизни — это воспоминание о сильно мучившей меня оспе и об одном горбатом мальчике по прозванию Третьяк, которым меня почему-то пугали: вероятно, по причине его жалкой наружности, хотя в ней не было ничего страшного или отталкивающего. Больного оспой, меня возили по саду в тележке.

Я был вторым ребенком у родителей. Их первая дочь умерла на втором году от рождения. Родился я в марте месяце, кажется, двенадцатого, в чем отец мой видел счастливое предзнаменование: это момент возрождения природы в нашем краю. Около этого времени там начинается весна: снег тает, реки освобождаются от ледяных покровов, с гор текут потоки, в рытвинах и оврагах шумит вода, зелень едва приметным пушком пробивается на деревьях, на полях проглядывают первые голубые цветки — красивые пролески, воздух оглашается пением жаворонков и похожими на звуки волторны криками журавлей, которые угловатой линией тянутся к нам с дальнего юга на веселый восток.

Восприемниками моими при крещении были помещица Александрова и ротмистр, или поручик, князь Жевахов[10], очень любивший моего отца. По словам матери, я рос крепким и здоровым на славу, так что мною нередко любовались. Крестная мать ласкала меня и кормила сластями. Я рано начал ходить и произносить первые слова. Мое физическое развитие вообще шло правильно и успешно.

Не знаю, почему не привили мне оспы: вероятно, потому, что оспопрививание в то время не было еще так распространено в провинции, как теперь. Это обстоятельство чуть не стоило мне жизни, так как меня постигла чрезвычайно сильная натуральная оспа. Но, с другой стороны, я, может быть, ей-то и обязан своим теперешним хорошим здоровьем. На лице моем и теперь еще сохраняются едва заметные следы этой болезни, зато она в самом начале жизни разом освободила мое тело от всех вредных и острых соков.

Не могу с точностью определить, как долго мой отец оставался у помещицы Александровой: кажется, года три или четыре. Жизнь его у ней текла довольно спокойно. Все любили его, начиная с помещицы и ее детей, до последнего дворового человека. Я был впоследствии знаком с двумя молодыми Александровыми, сыном и дочерью удаfeровской барыни. Они с благодарностью вспоминали о моем отце как о человеке, которому были обязаны своим развитием и теми небольшими сведениями, какие дало им их неблестящее воспитание. Эти питомцы моего отца вовсе не походили характером на свою бурную и жестокую мать. Они были люди простые и добрые, без всяких барских или феодальных замашек.

Обязательства моего отца с помещицей Александровой пришли к концу. Ему удалось сколотить из жалованья небольшую сумму, на которую он купил хату в родной слободе. Живо помню я этот скромный приют моего детства — хорошенький малороссийский домик с двумя чистыми комнатами, кухней и

кладовой. Он был крыт *очеретом* (камышом) под гребенку, что служило знаком уже некоторой роскоши, ибо у прочих хуторян жилища скромно прятались под солому. На дворе стояли: большой сарай, конюшня, загородь с навесом для коров и овец и курятник. Но мое внимание особенно привлекали ворота. Над ними, по малороссийскому обычаю, была устроена голубятня, где жило, вило гнездо и выводило потомство многое множество голубей. Эти милые, грациозные создания сильно меня занимали, но и со своей стороны не чуждались меня. Мое появление на голубятне не только не пугало их, а, напротив, точно доставляло им удовольствие — да я же никогда и не приходил к ним с пустыми руками. Они порхали и доверчиво толпились вокруг меня, как лакомые дети около ключницы, когда та выходит из кладовой, обремененная пряниками, орехами и другими сластями, — и клевали зерна из моих рук.

Меня вообще очень занимали все живые Божие создания. Так я, между прочим, был в большой дружбе с почтенным старым псом, Гарсоном, который честно сторожил наш двор, и с большим белым котом очень приятной наружности, но великим плутом и вором. Кухарка и матушка бывали от него в отчаянии. Кухня и кладовая то и дело подвергались его набегам: он таскал оттуда провизию, а на мышей не обращал никакого внимания.

Не только мы, но и соседи терпели от его воровских похождений. У одного из них висел на чердаке кулек со свиным салом, заготовленным к празднику. Подлец-кот умудрился прогрызть кулек. Он сделал в нем отверстие в виде двери и устроил себе там род жилища, с готовым столом. Сало постепенно исчезало, а кот непомерно жирел. Скоро от сала остались одни тоненькие стенки. Настал канун праздника. Хозяин отправился на чердак, рассчитывая назавтра полакомиться сам и полакомить семью. Подходит к кульку: оттуда выскакивает кот, а сала как не бывало. Жалобы на вора сыпались со всех сторон. Наконец, порешили его повесить — и повесили. Но, видно, петля была слабо затянута или кота слишком скоро из нее вынули, только он ожил; крупным и ловким ворам, как известно, везде удача. Нашлись добрые люди и исходатайствовали коту прощенье в надежде, что полученный урок не пропадет для него даром. Действительно, недели три-четыре после того кот вел себя примерно, но дольше не выдержал и сбился на прежнее. Его вторично повесили и на этот раз уже оставили висеть на веревке целые сутки. Я не знал обо всех проказах моего приятеля и горько оплакивал потерю его: он всегда так охотно со мною играл!

За двором нашего дома простирался изрядный кусок земли, который мой отец поспешил превратить в сад. Он засадил его вишнями, яблонями, бергамотовыми и грушевыми деревьями, черешнями, а также дубом и кленом. Все это он распланировал с искусством, которому удивлялись и завидовали соседи. В саду, между прочим, на круглой площадке был возведен небольшой дерновый курган: это считалось особенно замысловатою выдумкой. Впрочем, сад был еще очень молод, и бедный отец не успел насладиться плодами его.

Учительство и теперь давало ему главный заработок. Оно же и впоследствии выводило его из беды всякий раз, когда он попадал в особенно трудные обстоятельства. Малороссияне, по крайней мере тогда, выказывали гораздо больше склонности к учению, чем великороссы, и неудивительно, если Малороссия была до соединения с Россией образованнее, чем теперь. В мое время в каждом порядочном селе были школы, содержимые преимущественно духовенством — всего чаще дьячками.

Курс учения в этих школах разделялся на четыре части. Он начинался с азбуки, причем буквы произносились по-старинному: аз, буки, веди и т.д. От складов переходили к часослову, затем к псалтырю и в заключение уже к письму. Некоторые ограничивались одним чтением. По окончании каждой части курса ученик приносил учителю горшок молочной каши, а родители ученика, кроме платы по условию, вознаграждали его еще вязанкою бубликов или *кнышем* (сдобный, с салом пшеничный хлеб), а кто побогаче — ягненком, мешком муки или пшена и т.д.

Все педагогические приемы в этих школах сводились к употреблению ременной плетки о трех или четырех концах и *палей*, т.е. ударов линейкой по голой ладони. День субботний был самый знаменательный в школьной жизни. По субботам обыкновенно секли шалунов за проказы, содеянные ими в течение недели, а школьников, ни в чем не провинившихся, — за проказы, которые могут быть сделаны впереди.

Были, впрочем, и такие школы, где это повальное сечение не составляло неизбежной необходимости. Школа моего отца была одною из таких и вообще отличалась и тоном, и способом преподавания. Там дети учились чтению не по часослову и псалтирю, а по книжкам гражданского шрифта. Кроме того, их всех обязательно обучали письму и арифметике. Тройчатка у нас заменялась розгою, но и к той редко прибегали, только в крайних случаях. Зато нашу школу и посещали дети высшего слободского сословия — мещан и вообще обывателей, особенно радевших о воспитании своего потомства. Были у нас и пансионеры из дальних хуторов и даже из города Бирюч.

Плата, взимавшаяся моим отцом за обучение детей, была невелика, но он пополнял ее доходом с земли, которую сам обрабатывал. К тому же все необходимое для существования было очень дешево в нашем краю. Это сообщало нашему домашнему быту не только удобства, но и своего рода утонченность, мало известную другим жителям слободы. Мы пили чай. Иные блюда за нашим обедом приготовлялись и подавались на стол по-городскому. Отец носил сюртуки и фраки. Мать, вместо живописного малороссийского *очипка*, повязывала голову платком, как горожанка, а вместо *плахты* и *корсета* носила довольно нелепого покроя немецкое или так называемое длинное платье. Меня тоже одевали в сюртучки. Отец до педантизма любил опрятность в одежде и в доме, с чем охотно сообразовалась и моя мать. Мало того, он даже был

склонен к роскоши и вообще не имел понятия о том, как сберегать копейку на черный день. Лишь только улучшалось его положение, у нас в доме заводились вещи, без которых в крайности можно было бы обойтись, а угощение «добрых людей», как симптом общего малороссийского гостеприимства, становилось чаще и обильнее.

Разумеется, это не вело к упрочению благосостояния семьи, но благоразумие и экономия моей матери составляли достаточный противовес расточительности отца. Да и он сам, при всей своей нерасчетливости, был очень умерен в личной жизни. Он не пил вина и не любил никаких крепких напитков, довольствуясь рюмкою настойки перед обедом. Зато ему нравились сласти, плоды, варенье, разные заморские лакомства, но он употреблял их умеренно, наслаждаясь больше их качеством, чем количеством. В памяти моей запечатлелся «сладостный образ» некоего Сидорки, который ежегодно привозил по зимнему пути из Москвы вороха пряников, пастилы, изюму и вообще всякой всячины этого рода. Проездом к помещикам, он всегда и к нам заглядывал и, если отец бывал при деньгах, уезжал дальше со значительно облегченными санями.

Мои воспоминания об этом периоде детства, конечно, неполны и отрывочны. Помню, что я учился читать и писать у отца вместе с другими школьниками, часто бывал у бабушки Степановны, которая в то время успела меня почти совсем отвлечь от другой бабушки, или, по-малороссийски, «бабуси» Емельяновны, играл с теткою Елизаветою в перышки, воображая в них гусей, уток и кур, но всего больше любил ездить с отцом на охоту. Часто мы всею семьею отправлялись в ближний лес, где отец отыскал красивое местечко, которое мы называли Кривою Поляною. Там, под тенью роскошного дуба, мы пили чай и собирали травы: отец, несколько знакомый с медициною, их сушил и употреблял в лекарство.

Эти поездки доставляли мне невыразимое удовольствие. Я, разумеется, еще не был в состоянии сознательно наслаждаться природой, но меня влекло к ней инстинктивно. Я бывал совершенно счастлив в поле, в лесу и всегда охотно променивал игры с другими детьми на уединенную прогулку, вдали от человеческого жилья. Вообще я не любил толпы детей, но с жаром водил дружбу с одним или двумя мальчиками, приходившимися мне по сердцу. По временам мною овладевала страсть к смелым похождениям, но это, очевидно, происходило не от врожденной храбрости, а от непонимания опасности. Однажды я затеял бриться и изрезал себе руки; на одной и до сих пор не исчезли следы моей неудачной попытки.

В другой раз, ускользнув из дому, я побежал к реке. Там у причала стояла отвязанная лодка. Я мигом в ней очутился. Лодка отделилась от берега и потянулась вдоль по течению. К счастью, моя мать была недалеко, в огороде. Она перепугалась, увидев меня среди узкой, но глубокой реки, радостно ма-

хающего ручонками. Кое-как уговорила она меня сидеть смирно и позвала работника. Тот вплавь добрался до лодки и благополучно высадил меня на берег.

Но самый блестящий мой подвиг состоял в том, что я чуть не сжег нашей хаты, а с нею, может быть, и всей деревни. Мой отец был страстный охотник. Смотря на него, и меня разбирало желание пострелять птиц. Однажды его не было дома; я обрадовался случаю, снял со стены ружье, зарядил дробью и вышел на двор. Там, на вербе, беззаботно чирикала стая воробьев: они-то и были предметом моих вожделений. Для лучшего прицела я взобрался под кровлю нашего дома и оттуда произвел выстрел. Огонь с полки попал на камышовую крышу — и не миновать бы великой беде, если б на дворе не оказалось работников. Увидя, что я наделал, они бросились на крышу и залили огонь, пока тот еще не успел разгореться. Вернулся отец, узнал о моей проделке и положил высечь меня так, чтобы я век это помнил: он с точностью исполнил свое намерение.

Нельзя сказать, чтобы я вообще был сорванец. Мне для этого не хватало ни смелости, ни развязности. Я, напротив, скорей был робок и застенчив, вероятно, от строгого обращения со мной отца. Но я легко увлекался и под влиянием увлечения или какого-нибудь пристрастия делал вещи, которые далеко превосходили дерзостью обычные шалости моих сверстников.

V. Ссылка

Пока отец мирно занимался возделыванием своей землицы и сада да учил грамоте земляков, ему готовилось неожиданное горе. Он уже не занимал никакой официальной должности в слободе и не мешался в ее общественные дела, но враги продолжали подозрительно смотреть на него. Он был, хотя теперь и безмолвный, но все же свидетель их беззаконий, и им хотелось во что бы то ни стало от него отделаться. Не знаю, какой предлог нашли они, чтобы очернить его перед графом, только из Москвы вдруг явилось предписание конфисковать имущество отца, а его с семейством сослать в отдаленную глушь — а именно: в одну из вотчин Смоленской губернии, Гжатского уезда, в деревню Чуриловку. Эта была обыкновенная в графском управлении кара за действительные или мнимые провинности.

Незаслуженный удар поверг в отчаяние бедного отца. Его маленькое благосостояние, плод нескольких лет честного труда, мгновенно разрушалось. В данном случае не было ни следствия, ни суда; все решал слепой деспотический произвол. Кто знает, как малороссияне привязаны к родному пепелищу, как тоскуют, расставаясь со своим ясным, теплым небом и благодатными полями, как неохотно братаются с москалями, тот вполне поймет, что значила для моих родителей неожиданная роковая ссылка — эта разлука с родиною, с природою, приветливо отвечавшую на их беззаветную любовь.

Зачем-то, не помню, и я был позван в вотчинное правление. Как теперь, вижу я там моего отца. Вот он посреди грязной комнаты, в простом нагольном тулупе. Он бледен, с дрожащими губами и глазами, полными слез. Верно, ему только что объявили графский приговор. А в доме у нас тем временем все было верх дном: там описывали наше имущество...

Затем я вижу всех нас в просторных крытых санях. Дело было зимой. Возле меня, по одну сторону, угрюмый и мрачный отец, по другую — мать с закутанным в тулупчик годовалым ребенком на коленях: это ее второй сын, Григорий.

Нас сопровождали два сторожа. У меня в памяти врезался один из них, человек громадного роста, с хмурым лицом и необычайной силы. Он, шутя, ломал подковы и толстые железние ключи, сгибал пальцами серебряный рубль, но при всей своей мощи был добр и простодушен, как ребенок. Особенно забавлял меня один маневр Журбы — так звали силача. Нам навстречу то и дело попадались и заграждали путь обозы с товаром. Тяжело нагруженные сани не всегда успевали свернуть в сторону так скоро, как того желал Журба, и он распоряжался с ними по-своему: хватал за углы и одни за другими опрокидывал в сугробы. Озадаченные извозчики только почесывали затылок, восклицая: «С нами крестная сила!» Подвиги Журбы забавляли меня, а его доброта и ласковое обращение служили утешением моим родителям.

Не могу определить, сколько времени мы ехали. Наконец, достигли места нашей ссылки. Глазам представилась маленькая деревушка, дворов в тридцать. На занесенной снегом равнине торчали жалкие курные избы: точь-в-точь болотные кочки или копны перепревшего сена. Позади шумел сосновый бор. Унылый ландшафт наводил невыразимую тоску.

Отец и мать со стесненным сердцем переступили порог дымной избы, где им было отведено помещение, вместе с хозяевами. Теснота, чад, московская неопрятность, недаром вошедшая в пословицу у малороссиян, наконец, присутствие тут же, в избе, домашнего скота — все это производило безотрадное впечатление и вызывало брезгливость. Но в массе зла всегда таится частица добра: не надо только упорно закрывать на нее глаза. Вокруг нас, что и говорить, все было мрачно и неприглядно, но на печальном фоне картины не замедлили выступить более отрадные явления. Население края встретило нас самым радушным образом. Оно отнеслось к нам не как к презренным ссыльным, а как к людям, не по заслугам несчастным. Чуриловцы жили среди лесов, отрезанные от больших путей сообщения и промышленных центров, и потому еще сохраняли первобытную честность и простодушие. Они вели жестокую борьбу с неблагодарной почвой севера, буквально обливая ее потом, чтобы добыть скудный хлеб, которым питались. Но труд и бедность шли у них об руку с чувством братства и с состраданием к еще более обездоленным, чем были они сами. Благодаря им

мы и в ссылке не чувствовали себя одинокими в той мере, как этого можно было бы ожидать.

Мало-помалу мы обжились на новом месте. Ближайшею соседкою нашею была старая-престарая, но еще бодрая старушка, у которой я вскоре сделался ежедневным гостем. Она опрятнее других содержала свою избенку и топила ее так рано, что днем в ней почти не бывало дыму. Это мне особенно нравилось, так как мы никак не могли привыкнуть к дыму. Помимо того, меня привлекали к старушке еще вкусные горячие блины, которыми она меня угощала. Чуриловка почему-то была особенно бедна молодыми девушками. Я помню всего двух. Обе меня ласкали и баловали, но я предпочитал миловидную Домну, красные щечки и задорно вздернутый носик которой и теперь живо рисуются передо мной.

Мне было уже лет шесть, семь. Я еще раньше выучился читать и писать. В Чуриловке на первых порах учение мое не шло дальше. Виноват, я в течение зимы приобрел новое искусство — плести лапти, и очень гордился тем, что носил обувь собственного изделия и таким образом не отставал от других мальчиков, с которыми играл и бегал по снежным сугробам. Настало лето. Я ходил за грибами, собирал щавель, который составлял тогда мое единственное лакомство, и молоденькие еловые шишки, привлекавшие меня красноватым цветом и тонким смолистым запахом.

Так прожили мы около полугода. Затем положение наше значительно улучшилось. Отец сошелся с окрестными помещиками, и некоторые из них пригласили его обучать своих детей. Особенно сблизился с ним помещик Петр Григорьевич Марков, деревня которого, если не ошибаюсь, Андроново, находилась верстах в пятнадцати от Чуриловки и на таком же расстоянии от уездного города Гжатска. Он выхлопотал у местных властей позволение моему отцу жить у него. Мы с радостью приняли его приглашение, хотя не без сожалений расстались с добрыми чуриловцами.

В Андронове нам отвели светлое, чистое и уже не дымное помещение — в бывшей бане. Отец в положенные дни и часы занимался с сыном и дочерью Маркова и, кроме того, еще ездил на уроки к другим помещикам. Помню, что он особенно хорошо отозвался о помещике села Звездунова Михаиле Степановиче Александрове. У последнего была уже взрослая дочь, которой отец и давал уроки. Возвращение его оттуда всякий раз было для меня настоящим праздником. Он обыкновенно привозил с собою узел, туго набитый яблоками, а то и персиками или абрикосами. В Звездунове были богатые оранжереи, и ученица отца никогда не забывала прислать мне гостинца.

В Андронове произошла существенная перемена и в моем личном обществе. Я водился уже не с деревенскими мальчиками, а с детьми помещиков, которые часто гостили в Андронове или же приезжали туда на уроки. И я с ними учился и играл. Отец и мать строго следили за мною. Они заботились о том,

чтобы у меня не было дурных привычек, и по возможности ограждали меня от влияния дурных примеров. Неудивительно, если я был вежлив и послушен — последнее, впрочем, и потому, быть может, что меня часто секли. Но, несмотря на строгость отца, я все-таки был мальчик живой и понятливый. Я нес уже некоторые семейные обязанности, между прочим, смотрел за младшим братом Гришей, которому тогда было, кажется, около двух лет. Обязанность эту я исполнял не хуже любой няньки. Раз, впрочем, братишка мой сильно напугал меня. Двор при нашем доме был расположен на горе, а под нею находился пруд. Гриша, играя, бегом пустился вниз по скату и с размаху полетел в пруд. Не помня себя от страху, я бросился за ним. К счастью, вода оказалась неглубокой, и я хоть с трудом, но благополучно вытащил его на берег.

Едва успели мы отдохнуть и материально оправиться, как над нами стряслась новая беда. Мы помещались рядом с господской кухнею. На дворе стояла теплая, сухая осень. Вдруг, после полудня, на кухне вспыхнул пожар. Пламя мгновенно распространилось на соседние строения и в том числе охватило наш скромный приют под соломенной крышей. Мои родители отдыхали после обеда и не подозревали о грозившей им опасности. К счастью, пожар увидел помещик. Он ворвался к родителям, разбудил и буквально вытолкал их из горящего дома. Они спросонья растерялись и второпях хватали ненужные вещи. Все наше добро сгорело. Господский дом успели отстоять. Мы с братом в то время играли на дворе. Увидев огонь, я схватил Гришу за руку и бросился бежать, сам не зная, куда. Мы очутились в лесу. Нас нашли уже поздно вечером, плачущих и дрожащих от страха и холода.

Отец и мать остались, в полном смысле слова, нищими, но им и на этот раз помогли добрые люди. Марков отвел нам новое помещение и снабдил, на первый случай, платьем и самой необходимой домашней утварью. Его примеру последовали и другие помещики. Но всего трогательнее было участие добрых чуриловцев. Жители маленькой, бедной деревушки в течение нескольких дней после пожара по очереди являлись в Андроново, таща на худой лошаденке сбор пособий в нашу пользу. Новое жилище наше скоро было завалено кусками холста, мешками с мукой, мотками ниток — всем, что эти люди сами добывали с трудом, в поте лица. И все это предлагалось так просто, искренно, с таким теплым участием, что мать всякий раз со слезами умиления встречала и провожала их.

Наступила вторая зима, и пошел второй год нашей ссылки. Отец оправился от пожара. У него было много учеников, и наше материальное положение могло считаться недурным. Но родителей моих съедала тоска по родине и мысль, что они все-таки не больше как ссыльные. Отец особенно рвался в Алексеевку, к ее благоухающим полям и рощам. Кроме того, ему хотелось во что бы то ни стало оправдаться перед людьми. Тем временем умер старый граф[11]. После него остался единственный сын, Дмитрий, за малолетством ко-

торого над ним учредили в Петербурге опеку. В числе опекунов были сенаторы Алексеев[12], Данауров[13] и другие, все люди с положением и весом. А главное — попечительство над молодым графом удостоила принять на себя императрица Мария Федоровна.

Ввиду, таким образом, изменившихся обстоятельств, отец мой задумал крайне смелое дело. Он уже не раз писал опекунам, жалуясь на незаслуженное гонение, но письма его оставались без ответа. В настоящее время он решился обратиться к самой императрице и через нее добиться, чтобы ему была оказана справедливость. Он хотел не только вернуться на родину, но и вернуться с честью и почетом. Поэтому он, между прочим, просил, чтобы ему позволили явиться в Петербург для личных объяснений.

Непосредственное обращение к императрице поразило дерзостью друзей моего отца, и они старались его отговорить. Но он питал непоколебимую веру в благость государыни, имя которой с любовью произносилось во всех концах России, и упорно стоял на своем. Письмо было написано, скреплено подписями гжатских дворян, свидетельствовавших о безупречном поведении отца, и отправлено в Петербург. У меня сохранилась копия с него. Оно поражает искренностью, энергией и литературным языком. Отец вообще хорошо владел пером. Ему впоследствии часто приходилось писать и, между прочим, деловые бумаги, по своим и чужим делам, и они считались образцовыми.

Упование на императрицу не обмануло отца. В конце зимы пришло от опекунов предписание вернуть нас на родину, а отцу, кроме того, по его желанию, ехать в Петербург. Мои родители ожили. Наши покровители, гжатские помещики, от души радовались успеху смелого предприятия отца и устроили нам почетные проводы. Сборы наши, конечно, недолго длились, и мы, еще по зимнему пути, выехали в Алексеевку, напутствуемые пожеланиями и благословениями добрых чуриловских друзей.

VI. Опять на родине

Возвращение на родину отца было настоящим для него торжеством. Недруги его приуныли, а все остальное население слободы громко выражало свое удовольствие. Малороссияне, как известно, народ поэтический и любят перекладывать на песнь всякое мало-мальски интересующее их событие или происшествие. Мы теперь только узнали, что и на нашу ссылку была сложена особая песнь. У меня в памяти уцелели от нее только два первые стиха:

«Ой, проявылыся новыя моды
Що сослалы Василька на холодные воды...»

Но вот мы вернулись, и песнь эта заменилась поздравлениями и приветствиями, которые со всех сторон сыпались. Первый, встретивший нас при

въезде в слободу, был священник, отец Петрий, один из лучших друзей отца. Он сначала остолбенел от изумления, потом остановил лошадей, бросился нас целовать, все время громко славя Бога. Мы насилу вырвались из его объятий.

Немного отдохнув, отец стал собираться в новый путь — в Петербург. Графской конторе велено было выдать ему деньги на путевые издержки, но никак не торопить и вообще не стеснять его свободы. Он порешил ехать весной. Эта отсрочка была необходима ввиду плохого здоровья отца. Несмотря на хорошее сложение и на свои двадцать семь лет, он вследствие перенесенных тревог и влияния дурного климата в Чуриловке уже начал часто недомогать, что отныне составляло не последнюю отраву его жизни. Путешествие в Петербург, в глазах провинциалов того времени, равнялось путешествию на край света. Все провожали отца как на вечную разлуку.

Мать, должно быть, осталась без всяких средств к существованию. У ней на руках, между тем, было трое детей: третий сын ее, Семен, родился перед самым отъездом отца. Помню, что мы в его отсутствие вели жизнь, полную нужд и лишений, едва имели дневное пропитание. Нам ничего не вернули из имущества, которое отобрали, ссылая нас в Чуриловку. Дом наш, отданный в чужие руки, был вконец разорен, а сад при нем, с такою любовью насаженный отцом, срыт и превращен в голую площадь. Было у нас еще право на часть дохода с какой-то мельницы, которую отец перед ссылкой взял на откуп вместе с другими компаньонами. Теперь право это оспаривали: завязалась тяжба, решение которой зависело все от той же, враждебной нам, графской канцелярии.

На первых порах нас приютил у себя диакон одной из слободских церквей. Он дал нам тесное, зато чистенькое помещение, но обстановка наша была до крайности бедна. Все, что было у нас лучшего, все вещи, которыми нас напоследок одарили гжатские помещицы, постепенно исчезали: мать продавала их, чтобы кормить нас.

Одет я был теперь не лучше других крестьянских мальчиков: в толстую и не часто сменяемую рубашонку и порточки, подпоясанные шерстяным кушаком. В парадных только случаях меня сверх того облекали еще в нанковый[14] жилет, со строгим наказом беречь его от пятен и дыр. Летом я ходил босиком, отчего ноги мои были изукрашены разнообразными рубцами и царапинами. Выучась в Чуриловке плести лапти, я охотно носил бы их и здесь. Но малороссияне до того гнушались этого рода обувью, что, если б я решился выйти в ней на улицу, мальчишки, чего доброго, закидали бы меня каменьями.

При отце воспитание мое все-таки подчинялось хоть какой-нибудь системе. Были часы, назначенные для ученья или, по крайней мере, для сидения за книгой. Затем я или смотрел за младшим братом, или помогал по хозяйству матери. Строгое наказание ожидало меня за всякую, даже невинную шалость, за малейший промах в чтении или письме. Отец ни в чем не поблажал мне. У него всегда были наготове для меня розги и лишь в весьма редких случаях

ласки. Это не значило, однако, что он не любил меня или вообще своих детей. Нет, но он был ожесточен несчастьем, а это делало его не в меру взыскательным, суровым и нетерпеливым, чему, конечно, отчасти способствовала и врожденная пылкость.

Его внутренний мир был полон тревог. Мысль постоянно влекла его к лучшему и высшему, а горькая действительность держала в зависимости от самых ничтожных людей и самых мелких нужд. Отсюда неровность в его поступках, недовольство людьми, событиями и самим собою. Семейный быт, очевидно, не удовлетворял его. Ему хотелось трудиться и действовать не из-за одного насущного хлеба, но и для высших целей жизни. Но подобная роль была не для него, и он оставался и без дела, и почти без хлеба. Этот внутренний разлад, конечно, не мог не отражаться на обращении моего отца с домашними, а из них я чаще всех подвергался вспышкам его болезненного раздражения. Между тем, он гордился мною и возлагал на меня большие надежды.

С его отъездом я, как говорится, очутился на своей воле. Отец не велел отдавать меня в слободскую школу. Он, не без основания, полагал, что я там скорее испорчусь, чем научусь путному. Да, правду сказать, мне там нечему было учиться: читал и писал я не хуже самого школьного учителя, а в слободской школе только этому и учили. Мать, само собой разумеется, не могла ни вести меня дальше в науке, ни следить за моим учением.

Но около этого времени во мне уже начала проявляться самостоятельная страсть к чтению. У отца был порядочный запас книг, и я мог беспрепятственно следовать своему влечению. Читал я, конечно, без разбора все, что попадало мне под руку, — и охотнее сказки и повести, чем учебные книги. Но это, во всяком случае, отвлекало меня от грубых игр моих сверстников и помешало мне сделаться настоящим уличным мальчишкой. Одновременно заговорила во мне и другая склонность — к авторству. Все клочки бумаги, какие мне только удавалось добыть, испещрялись излиянием моих мыслей и чувств. Я давал им форму писем к приятелям, которые, конечно, никогда не получали их, а получив, не могли бы прочесть, так как плохо или вовсе не умели читать.

Таким образом я, хотя бессознательно, уже начинал жить собственною внутреннею жизнью и искать в ней замены того, чего мне недоставало во внешней. В кругу детей, с которыми мне приходилось сталкиваться, я пользовался своего рода почетом. Между нами было мало фамильярности, и они без всякого — по крайней мере, в ту пору детства — с моей стороны желания и усилия легко подчинялись моему влиянию. Между тем, я не отличался ни удальством, ни ловкостью. Я не был запевалою ни в играх, ни в шалостях, а только слыл за самого «ученого». Этим я приобрел вес даже между взрослыми, и некоторые из них поручили мне обучать грамоте их детей, в том числе и наш хозяин, диакон. Мать не нарадовалась, что труд мой, таким образом, являлся как бы некоторым вознаграждением за данное нам пристанище.

Между лицами, промелькнувшими предо мной за это время, я хорошо помню старика-священника, отца Стефана, большого чудака и добряка, но буйного, строптивого нрава. Он однажды подрался с диаконом в церкви, за что попал под суд, но своевременная взятка в консистории легко выпутала его из беды. Весельчак и гуляка, он часто к нам приходил — для того, говаривал, чтобы нас развлекать.

Любимым моим занятием в ту пору было прислуживать в церкви во время богослужений. С какою гордостью являлся я перед прихожанами, с подсвечником в руках, при выходе с Евангелием, или подавал диакону кадило; с каким наслаждением отправлял должность звонаря на колокольне! Не обходились без меня ни молебны, ни панихиды, ни крестины: при каждой из этих треб находилось для меня дело вроде чтения псалтыря или тому подобное. Случалось, что меня за такие подвиги награждали двумя, тремя *шагами* (грошами) или вязанкою бубликов, и это несказанно льстило моему самолюбию. Это меня как бы уподобляло дьячкам, пономарям, чтецам и звонарям, которые казались мне тогда людьми очень важными.

Но все другие удовольствия уступали тому, какое я испытывал, попадая в огород, в сад или в лес. У бабушки Емельяновны, как я уже говорил, был, на мое счастье, и огород, и «вишневенький садок на тым боце», то есть за рекою Сосною. Обе мои бабушки, Емельяновна и Степановна, соперничали в любви ко мне. Первая, по скромности, уступала первенство второй как занимавшей более высокое положение в слободе и водившейся исключительно с попадьями и мещанками. Емельяновна робко выражала свою нежность ко мне, полагая, что я — «такий письменный (грамотный), такий гарненький хлопчик», носящий по воскресеньям жилет, а изредка даже и сапоги, уважаемый в кругу пономарей и дьячков, чуть не «паныч», что я выше ее родственных притязаний и что бабушке Степановне одной принадлежит право оказывать мне ласки и получать мои.

Простодушная «бабуся» и не подозревала, что на ее стороне было огромное в моих глазах преимущество — огород с грядами гороха и сад с вишнями. Степановна пренебрегала всем деревенским. Она была горожанка и дала своему огороду зарости бурьяном и кустами паслена, везде готового расти без претензий на уход. Двор у нее поражал запустением; у Емельяновны, напротив, он был полон жизни и движения. Там на привязи мычала корова, горланил, важно выступая среди кур, щеголь-петух, степенно прохаживался гусак с гусенятами, в луже барахтались утята, по бревнам бродила резвая коза.

Я любил обеих «бабусь», но предпочитал посещать, особенно летом, менее богатую, но более хозяйственную из них. Бедная старушка бывала вне себя от радости, когда я к ней приходил. А я, в свою очередь, чувствовал себя с ней так легко и свободно, как нигде. В ее хате не оставалось уголка, который я не исследовал бы. А в огороде гряды с горохом и цветы составляла мою собственность.

Созревали вишни. Мы с ненаглядною бабусею садились в челнок и переправлялись на противоположную сторону реки — в сад. Емельяновна прикрепляла к поясу кувшин и собирала в него свежие, сочные ягоды, а я взбирался на любое дерево и, сидя на ветке, как птица Божия, наслаждался, сколько душе угодно. Изредка старческий голос увещевал меня не ломать ветвей, а пуще всего беречься, чтоб не сломать себе шеи или, как новый Авессалом, не повиснуть на дереве. По временам дребезжала трещотка, которою сторож разгонял беспощадных грабителей вишен — скворцов. Эти птицы тучами налетают на сады и, если дать им волю, быстро очищают деревья от самых спелых ягод. Трещотка несколько ограничивает их смелые набеги.

Жарко. Лист не шелохнется. Мы располагаемся обедать то под тенью плодовых дерев, то в сторожевом шалаше. Едим вареники в сметане, сало, баранину. Вечером семья собирается ловить в реке рыбу и раков. На берегу раскладывают огонь и тут же, на месте, приготовляют из добычи ужин, за которым царствует патриархальное веселье. Особенно оживляла эти мирные, семейные трапезы жена старшего сына бабушки Емельяновны, Галя, или Анна, бойкая, красивая бабенка. Мастерица хозяйничать и стряпать, она бывала не прочь и пококетничать, и посмеяться, и покапризничать. Меня она то дразнила, то ласкала, так что мы с ней постоянно переходили от дружбы к ссоре и обратно.

Припоминая теперь эти деревенские сцены, я опять целиком переношусь в то отдаленное время, когда и на мою долю выпадали минуты полного, беззаботного счастья. Читая теперь, на расстоянии многих лет, Одиссею, я мысленно живу с моими милыми хуторянами. В них есть, по крайней мере во времена моего детства были, черты, тождественные с первобытной простотой и неиспорченностью героев Гомера. Мне понятнее, ближе становятся образы Эвмена, старого Лаэрта, Телемаха, старушки няни, когда я смотрю на них сквозь нравы и обычаи моих родных малороссиян. Это славянское племя, как и большинство одноплеменников его, не смогло или не сумело создать себе независимого существования, хотя и стремилось к тому сильно, по крайней мере во времена Хмельницкого. Но в них больше, чем в северных славянах, сохранились коренные славянские свойства — любовь к природе и мирные нравы семейно-земледельческого быта. Они именно те поляне, которых так привлекательно описывает Нестор.

VII. Возвращение из Петербурга отца

Нерадостные вести получали мы все это время от отца. Он благополучно добрался до Петербурга, был хорошо принят опекунами малолетнего графа, но скоро ощутил на себе пагубное влияние северного климата. Он начал хворать, долго крепился, наконец, написал матушке, что у него одна надежда на облегчение — поскорей вернуться на родину, домой.

В половине сентября у нашей хаты остановилась кибитка со всеми признаками дальнего пути. В ней лежал отец, до того изнуренный, что его на руках внесли в горницу. Мать бросилась к нему, рыдая, в уверенности, что ей предстоит только закрыть ему глаза. Но такова живительная сила родного воздуха, что неделю спустя отец уже поднялся с постели, а скоро и совсем встал на ноги. Но полное здоровье к нему уже более не возвращалось. У него на руках и ногах появились раны, которые то заживали, то опять открывались, и он должен был постоянно за собой наблюдать. Он сам себя лечил. У него была куча выписок из медицинских книг и разного рода заметок, извлеченных из своего и чужого опыта. Пользуясь ими, он составлял лекарства не хуже провинциальных аптекарей, большей частью из трав и кореньев. Таким образом, у него образовалась довольно полная домашняя аптечка для своих и чужих нужд. Он никому не отказывал в пособии, и советы его — всегда даровые — нередко оказывались спасительными в несложных деревенских болезнях.

Материальное положение отца мало улучшилось. Но он достиг в Петербурге главного, чего желал, — полного оправдания. Наведенные справки о нем подтвердили его собственные показания. Один из опекунов, сенатор Алексеев, принял теплое участие в его судьбе. Он благосклонно выслушал объяснения отца, не раз запросто и откровенно говорил с ним и в заключение предложил ему остаться в Петербурге, где обещался его устроить. Это, конечно, могло бы переменить судьбу и отца, и всех нас, но плохое здоровье увлекло его обратно на родину. Однако ему, с помощью того же сенатора, удалось выхлопотать себе полную независимость от вотчинных властей и право жить, где пожелает. Ему опостылело место, где он испытал столько обид, и он задумал переселиться куда-нибудь в среду таких малороссиян, которых еще не коснулась московская цивилизация. Пребывание в Петербурге принесло ему еще и другое удовлетворение. Тяжба за мельницу была решена в его пользу: товарищей его по аренде приговорили выплатить ему все убытки и протори в размере, какой он сам назначит. Все вместе составляло довольно крупную сумму. Но компаньоны отца, хотя все люди состоятельные, сумели так разжалобить его, что он согласился помириться всего на четырехстах рублях ассигнациями.

Отцу посоветовали пустить эти деньги в оборот. Решено было откупить сенные покосы, с тем чтобы потом с выгодою перепродавать скошенную траву. К несчастию, отец, малознакомый с торговыми оборотами, вверился одному ловкому промышленнику, который оказался первостатейным плутом. В заключение все деньги перешли в карман компаньона, а у отца осталось на руках несколько, раскиданных по разным лугам, копен перегнившей травы.

Но неудачное в материальном отношении предприятие это имело и свою хорошую сторону. Оно служило поводом к восхитительным поездкам по хуторам и полям, где мы часто ночевали под открытым небом на только что скошенной ароматической траве.

Ночлеги эти оставили во мне неизгладимое впечатление. Никакое перо не в силах передать очарования мирных степных сцен, зрителем которых я тогда был. Все вокруг дышало изящной простотой и было полно неуловимой прелести, которую я ощущал всем существом. Стрекотание кузнечика в душистой траве, шелест крыльев пролетавшей в вечернем сумраке птицы, однообразный крик перепела, зарево от разложенных косарями костров, трепет звезд в прозрачной выси и в заключение постепенное замирание звуков, сливающихся в торжественное безмолвие теплой, южной ночи, — все это неотразимо действовало на мое отроческое сердце. Как сладко засыпал я при тихом сиянии звезд! Каким свежим, бодрым просыпался с первыми лучами солнца, не скрытого ни стенами, ни занавесками, но бившего прямо в лицо!

Отец, как я уже говорил, очень любил охоту. Он привез из Петербурга английское ружье с охотничьим прибором и легавую собаку. Никогда не бывал он так в духе, даже весел, как преследуя в лесу голубей или диких уток вдоль реки и по озерам, где они во множестве гнездятся в камышах. Тут доставалось и грабителям наших вишневых садов, шпакам, или скворцам, вкусное мясо которых мы высоко ценили. В охотничью пору у нас за столом не переводилось жаркое, борщ и кулиш из настрелянной отцом дичи, и это служило большим подспорьем в хозяйстве матери.

Я почти всегда участвовал в походах отца на воды и в леса. Случалось, что мы далеко забирались в степь для охоты за дрофами и стрепетами. Утомленные продолжительной ходьбой, мы заходили на первую попавшуюся пасеку или бакчу, садились возле *деда* (сторожа) в его *курене* (шалаше), вынимали из котомки провизию и все вместе утоляли голод. Дед дополнял нашу трапезу или сотом меда, или, как жар горящими, спелыми дынями и арбузами.

Я блаженствовал во время этих походов, хотя роль моя при том была не из легких. Мне приходилось изображать вьючного осла, столько было у меня на плечах и в руках настрелянной птицы и всякого рода поклажи. Иногда нам случалось переходить сжатое поле. Тут крепко доставалось моим босым ногам, которые до крови царапались о колючие остатки от сжатых колосьев. Но все это были мелочи в сравнении с удовольствием, какое я испытывал вместе с Валеткой, бегая после выстрелов подбирать убитых шпаков или ловить в осоке подстреленных уток.

Нередко застигала нас гроза. В воздухе душно, ни звука, ни движения. Кипучая жизнь уступает место томительной истоме: природа в напряженном ожидании. С краю горизонта медленно ползет сизая туча. Она растет, клубится, расплывается по небосклону. По ней шныряют изогнутые стрелы молний — все ближе, все ярче. Глухой ропот грома становится сильнее, отрывистее — и вдруг над головой оглушительный треск, непрерывное, ослепительное миганье точно разверзающихся небес. На вас льют потоки дождя: за ливнем не видны окрестности. Вам и жутко, и весело...

Но мы предвидели грозу и заранее нашли себе приют в шалаше пасечника. А какая благодать после грозы! Что за свежесть и чистота воздуха! Как благоухают лес и поля! Трава, листья сияют обновленной зеленью. Опять трещит кузнечик и порхает бабочка, опять щебечут птицы: точно переживаешь новую весну. Вечно глядел бы и не нагляделся на эту чудную картину — слушал бы и не наслушался этих звуков без слов, но полных радостной жизни!

Возвращаюсь к поездкам по сенокосным лугам. Одна из них чуть не стоила мне жизни. Отец обзавелся бойкой лошадкой, на которой и разъезжал в таратайке. Мы ехали вдвоем. Мне страсть хотелось сесть на передок и править лошадью. Отец, обыкновенно не податливый на мои желания, на этот раз, как нарочно, оказался сговорчивым. Он передал мне возжи, и я, к моей неописанной радости, очутился на передке. Недавно шел дождь, и смоченный передок был очень скользок. Погоняя лошадь, я как-то с него соскользнул и мгновенно, вместе с возжами, очутился под таратайкой. Лошадь была молодая и горячая. Почуяв что-то неладное, она бросилась в сторону и стрелой понеслась по полю. Отец обмер от ужаса. Он слышал мой крик, но не видел меня. Я платьем зацепился за деревянный шкворень повозки, и меня влачило по земле. Остановить лошадь было нечем: я с перепугу крепко ухватился за возжи и не выпускал их из рук. К счастью, испуганное животное ограничилось бегом и не билось копытами: иначе мне бы не сдобровать. Наконец, сильный толчок стряхнул меня на землю: шкворень лопнул; лошадь пробежала еще с полверсты уже с одними оглоблями и сама стала. Обезумевший от страха за меня, отец выскочил из таратайки в уверенности, что поднимет только мой труп, но увидел меня уже на ногах, почти невредимого, хотя сильно испуганного. Он не верил своим глазам и долго ощупывал меня с целью удостовериться, что я, действительно, цел. Ни один из моих членов не пострадал, только на левой щеке оказался разрез и на левой же ноге сильная ссадина от удара о камень. Кое-как смастерили мы новый шкворень, соединили с таратайкой оглобли и переднюю ось и уже шагом доплелись до соседнего хутора, где нашли отдых и радушный прием.

Окрестные хуторяне вообще очень любили моего отца. Они не забывали, что он пострадал, отстаивая их права и интересы. Из них мне особенно памятен один почтенный старик по прозванью Громовой, живший на хуторе «Кривая Береза». У него была масса сыновей, дочерей, внуков и правнуков, вращаясь среди которых он имел вид настоящего патриарха. Кроткий и несколько важный в обращении, он пользовался уважением своего многочисленного семейства, которое чтило в нем своего главу и не выходило у него из повиновения. Сыновья его были все грамотные. Один служил в военной службе и уже имел чин унтер-офицера. Другой готовился тоже в солдаты и учился у моего отца. Громовой был богат. Он владел стадами коров и овец, двумя ветряными мельницами, пасекой и обширным садом. Мы с отцом часто про-

водили у него целые дни. Он принимал и угощал нас как близких, дорогих друзей и на прощанье еще всегда нагружал нашу таратайку всевозможными продуктами своих полей, сада и пасеки.

Неудавшаяся операция с сеном опять оставила моих родителей без средств. У них теперь не было ни дома, ни земли, никаких орудий для добывания хлеба физическим трудом. Отец искал должности управителя имением или стряпчего по тяжебным делам: он превосходно знал законы. Но должность не открывалась. Пришлось снова промышлять учительством. Любознательные малороссияне и на этот раз не оставили его без учеников. И вот дни наши потекли прежнею чередою, в непрерывных занятиях и в борьбе с нуждою.

У моей бедной матери скоро открылся и еще новый источник огорчений. Романтический, тревожный дух отца, замкнутый в слишком тесной сфере, бился как птица в клетке. Он постоянно куда-то рвался, чего-то искал и, не находя желаемого, падал духом и делался жертвою сильного раздражения. Пылкая натура увлекала его за пределы домашнего очага, и, когда представлялось искушение на стороне, он в силах не был противостоять ему.

Случай сблизил его с одною молодою вдовою, нашею соседкой по хутору. Это была поразительная красавица южного типа, с продолговатым, золотисто-смуглым лицом, с волосами, как вороново крыло, и глазами, в полном смысле слова, «ясными, как день, и мрачными, как ночь». Непонятно, как она могла родиться в нашем краю: ей следовало бы быть уроженкою дальнего юга, Андалузии. Она провела два года в Петербурге и в Москве и приобрела там некоторую утонченность, от чего красота ее и природная грация еще возвысились.

Здоровье мужа ее было сильно расстроено, и он обратился за советом к моему отцу. Тот сразу увидел, что больному нет спасения: он страдал чахоткою, но чтобы не смущать преждевременно, отец стал навещать его и поить какой-то травой. Раз как-то он и меня взял с собой. Оказалось, что мы приехали принять последний вздох больного. Тут я в первый раз лицом к лицу встретился со смертью, и мрачный образ ее произвел на меня неизгладимое впечатление. Умирающего окружали священник, отец мой и еще какие-то лица. Жена рыдала, склонясь к его изголовью. Я стоял в углу комнаты и со страхом и любопытством наблюдал за тем, что происходило. Больной только что исповедался и приобщился. Он дышал тяжело и прерывисто, долго усиливался говорить и не мог. Наконец, обратясь к священнику, произнес:

— Не надо ли еще чего исполнить?

Это усилие было последним: глаза его закрылись, он перестал дышать.

— Все кончено, — сказал отец, — вот и философия! На последнем слове он сделал особенное ударение: священник был умный и ученый, и отец с ним часто рассуждал и спорил о философских предметах. Во всей этой сцене меня всего больше поразило спокойствие умирающего. Смерть, таким обра-

зом, представилась мне, на первый случай, не столько в ужасающем, сколько в торжественном виде.

Отец и по смерти мужа продолжал навещать красавицу вдову, которая постепенно привыкла видеть в нем единственного друга. Между ними произошло сближение, долго бывшее отравой жизни моей матери. Но она великодушно скрыла в сердце печаль, ни жалобами, ни упреками не смущая и без того удрученной души своего мужа. Она страдала, по обыкновению, тихо, безропотно, ища утешения в исполнении обязанностей.

Я тем временем рос без особых событий в моей личной жизни, подвергаясь лишь тем случайностям, какие неизбежны в бедном быту, где не до того, чтобы правильно и систематически заниматься развитием детей. Тут не было и тени воспитания, а было одно произрастание под влиянием известных условий. Что совершалось во мне, то совершалось само собой, без посторонних усилий и вмешательств. Я рос, как растет в лесу молодое деревцо: выдадутся теплые, ясные дни — и оно пускает ростки, зеленеет; наступает мороз — и листья блекнут, свертываются, а готовый распуститься цвет опадает.

О нравственности моей, правда, до некоторой степени заботилась мать, и я, конечно, ей обязан первыми понятиями о чести и долге. Но главным образом я был предоставлен самому себе и все больше и больше сосредоточивался. При неприятных с кем-либо столкновениях я всегда спешил уйти в сторону: убегал в сарай и, зарывшись в сено, переживал там свое огорчение, затем принимался строить самые невероятные воздушные замки. Шумные игры детей вообще мало меня привлекали: я в толпе других мальчиков чувствовал себя неловким и затерянным. Но с глазу на глаз с избранным товарищем я бывал жив, весел, изобретателен.

Видя мою жадность к чтению, отец стал засаживать меня за серьезные книги. Но интерес к читаемому в таких случаях быстро улетучивался. Книги были большею частью сухие учебники, иногда превосходившие мое понимание. Сунут мне, например, в руки русскую историю в издании для народных училищ: «Читай! — скажут. — Это полезнее тех-то и тех-то пустых книг и лучше беганья по двору».

Я сижу и читаю о полянах, древлянах, кривичах, вятичах... Меня поражает странность имен. Перевертываю листы: там перечислены битвы, режутся князья... Но мысль моя уже давно свободной птицей летает в заколдованном царстве, где я сам полновластный хозяин и царь.

VIII. Новое место, новые лица

Долго ждал отец; наконец, дождался желаемого места. В Богучарском уезде жила богатая помещица, владетельница двух тысяч душ, Марья Федоровна Бедряга[15]. Она предложила отцу должность управляющего в своем име-

нии, где и сама пребывала. Условия были выгодные, особенно при тогдашнем положении дел в нашей семье: тысяча рублей жалованья при полном содержании. Мы быстро собрались в дорогу и выехали из Алексеевки летом 1811 года.

Путешествие наше было очень приятно. Мы ехали с облегченным сердцем и со светлыми надеждами на будущее. Да и путь наш лежал по одной из самых привлекательных местностей. Пространство между Бирючем и Богучаром, верст около двухсот на юг, представляет одну из плодороднейших в мире равнин. Орошаемая многочисленными притоками Дона, в живописной рамке отлогих холмов, усеянная опрятными малороссийскими хатами, равнина эта поражает роскошью своих производительных сил. Черноземная почва ее сторицей вознаграждает легкий труд земледельца.

Отсутствие лесов составляет единственный недостаток страны, но и тут она ни при чем. Здешняя почва производила их в изобилии и, наконец, устала производить. Невежественные помещики, не заботясь о будущем, безжалостно истребляли леса. Они не щадили даже вековых дубов.

Население страны было сплошь малороссийское. Крестьяне страдали под гнетом рабства. У богатых помещиков, владельцев нескольких тысяч душ, они еще были меньше угнетены, состоя большею частью на оброке, хотя и им приходилось немало терпеть от самоуправства управителей и приказчиков. За то мелкопоместные землевладельцы буквально высасывали силы и достояние у несчастных, им подвластных. Последние не располагали ни временем, ни собственностью: первое поглощалось барщиною, вторая находилась в зависимости от жадности и произвола помещика. Иногда к этому присоединялось еще и бесчеловечное обращение, а нередко жестокость сопровождалась и развратом: помещик мог безнаказанно лакомиться каждой красивой женой или дочерью своего вассала, как арбузом или дыней со своей бакчи.

Разумеется, и тут, как везде, были исключения в пользу добра, но общее положение вещей было таково, как я говорю. Людей можно было продавать и покупать оптом и в раздробицу, семьями и поодиночке, как быков и баранов. Не только дворяне торговали людьми, но и мещане и зажиточные мужики, записывая крепостных на имя какого-нибудь чиновника или барина, своего патрона.

Своих людей не позволялось только убивать. Слова: «я купил на днях девку или продал мальчика, кучера, лакея», — произносились так равнодушно, как будто дело шло о корове, лошади, поросенке.

Император Александр I, в момент своих гуманных стремлений, выказывал намерение улучшить быт своих крепостных подданных. Были попытки к ограничению власти помещиков, но они прошли бесследно. Дворянство хотело жить роскошно, как говорилось — прилично званию. Оно отличалось безумною расточительностью и потворством своим прихотям. А крестьяне не понимали, чтобы для них могли существовать другие нравственные задачи, кро-

ме беспрекословного повиновения господской воле, и другие удобства жизни, кроме дымной избы да куска черного хлеба с квасом.

Но вот мы добрались до места нашего назначения — слободы Писаревки, расположенной верстах в тридцати от уездного города Богучара. Это большое село вмещало в себе до двух тысяч душ. Глубокий овраг разделял его на две неравные части. Меньшая, душ в пятьсот или четыреста, называлась Заярскою Писаревкою и принадлежала брату Марьи Федоровны Бедряги, Григорию Федоровичу Татарчукову[16]. К первой приписано было еще несколько хуторов и большое пространство земли.

Писаревка не могла похвалиться живописным положением. Она была раскинута на плоскости вдоль речки Богучара, по берегу которой стояли также несколько больших и малых хуторов с ничтожным уездным городком того же имени. Господский дом, старое деревянное здание, был ветх и невзрачен. Помещица все собиралась его перестроить, но из году в год откладывала исполнение своего намерения. В заключение она предпочла перебраться в другой дом. До самой реки тянулся обширный сад, а за рекою высился винокуренный завод — необходимая принадлежность тогдашнего хозяйства малороссийских помещиков, пользовавшихся правом свободного винокурения.

Нам отвели недалеко от господского дома довольно уютный флигелек. В первые дни нас истомила скука. Знакомых у нас еще не было. Мы служили предметом всеобщего любопытства и — как оказалось после — шпионства. Отец каждое утро уходил к помещице, возвращался поздно и тотчас погружался в счеты и хозяйственные соображения.

Первое свидание его с помещицей прошло бурно. Он застал ее имение в страшном беспорядке, а крестьян — безжалостно разоренными. Благодаря дурному управлению поместье не давало доходов, какие могло давать и которых владетельница тщетно добивалась, истощая крестьян непосильными работами и повинностями.

Отец взялся привести все в порядок, увеличить доход помещицы и восстановить благосостояние крестьян, но требовал полной свободы действий. Марье Федоровне это не нравилось. Своенравная, как истая барыня, она повиновалась только своим прихотям и капризам и не могла себе представить, чтобы какое-нибудь существо на ее земле смело дышать и двигаться не по ее воле.

Она была неглупа от природы и тотчас признала в отце человека способного, умного и настойчивого. Но ей хотелось воспользоваться его услугами, не уступая ему первой роли, а так, чтобы — по крайней мере с виду — она по-прежнему казалась бы единственной распорядительницей всего. Необходимость, однако, заставила ее уступить. Она дала отцу полную доверенность и обещание ни во что не вмешиваться.

Но то была лишь временная сделка. Обе эти личности — моего отца и

помещицы Бедряги — очевидно, не годились для мирной деятельности сообща. Рано или поздно между ними неминуемо должны были возникнуть столкновения и произойти разрыв, тягостный для обеих сторон, но особенно для моего отца, человека бедного и низкого звания, тогда как за Марью Федоровну стояли ее богатство и видное положение среди провинциального общества.

На самом деле помещица Бедряга была ни хуже, ни лучше большинства тогдашних русских барынь. Многие называли ее злою. И она действительно была зла, но лишь в той мере, в какой невежество и неограниченная власть делали, в эпоху крепостного права, почти всех русских бар.

Ей было лет за пятьдесят. Ни красивая, ни дурная собой, она в результате не представляла ничего привлекательного. В ее лице было что-то жесткое и отталкивающее. Она почти никогда не улыбалась, а ее тусклый взгляд исподлобья ясно говорил, что в ней напрасно стали бы искать теплого женского чувства. В обращении ее постоянно сквозило раздражение: точно она вечно на кого-нибудь сердилась. С теми, однако же, в ком она нуждалась, Марья Федоровна умела быть приветливою — настолько, впрочем, насколько то допускали ее природная суровость и барское высокомерие. Она была очень щедра на обещания, но скупа на исполнение их.

Самую неприглядную черту ее характера составляло ябедничество. Со всеми своими соседями она или была в ссоре, или судилась. Знакомство с ней редко обходилось без призыва к суду. Вокруг нее постоянно вертелись разного рода ходатаи по делам, из которых большинство, сами мало знакомые с законами, ей только льстили и еще больше запутывали ее дела.

Она охотно принимала самые нелепые проекты, раз что они клонились к расширению ее владений и к усилению ее влияния в уезде или обещали ей лучший порядок в управлении имением. С таким проектом всякий имел к ней доступ и всякий, хоть ненадолго, овладевал ее доверием. Плут, конечно, скоро обнаруживался, и она прогоняла его, но для того только, чтоб попасть в руки другому. Честный человек зато, по странному противоречию, нелегко добивался ее расположения и доверия.

В то самое время, как отец мой должен был брать с боя ее согласие на меры, очевидно, клонившиеся к ее пользе, глупая баба, жидовка Федосья, без труда выманивала у нее позволение на такие дела, с последствиями которых потом нелегко было справляться и самой помещице, и ее управляющему.

Марье Федоровне страсть хотелось казаться всегда занятою. Ее комната действительно имела вид кабинета делового человека. Стол был завален бумагами, по полу разбросаны кипы их. Она непременно несколько часов в день проводила с пером в руке, окруженная своими достойными советниками или слушая тайные донесения Федосьи. Она редко кого принимала не по делам и сама никуда не ездила, содержала огромную дворню и человек до десяти одних горничных.

Бедняжки с утра до ночи трепетали от страха не угодить барыне и навлечь на себя ее гнев, обыкновенно оканчивавшийся отданием их в руки некоего Степана Стецьки. То был хромоногий старик и доверенное в доме лицо, в ведении которого, между прочим, состояла конюшня с целой коллекцией розог. Беда несчастным, попадавшим в руки Стецьки! Он был мастер и охотник сечь, особенно девушек; последним жутко становилось от одного взгляда на него.

Между девушками было немало смазливых, и в том числе одна, Христина, игравшая роль в моей детской биографии. Горе злополучной, которая не смогла противостоять нежному влиянию любви: она подвергалась всевозможным истязаниям. Марья Федоровна была неумолимая поборница нравственности и осуждала своих горничных на вечное целомудрие. Она не позволяла им даже выходить замуж.

Само собой разумеется, что тирания здесь, как и везде, не достигала цели. Девушки втайне предавались любовным связям, тем с большим увлечением, чем строже им это запрещалось и чем безнадежнее представлялась им будущность. Они заботились о том только, чтобы не забеременеть, и в большинстве случаев им это удавалось.

У Марьи Федоровны были дочь и два сына[17]. Дочь, Клеопатра Николаевна[18], состояла в браке с каким-то казацким генералом, кажется, Денисовым[19]. Злость, у матери умерявшаяся расчетом и эгоизмом, иногда принимавшими характер благоразумной осторожности, у дочери не знала границ. Она была зла со всех сторон, и только зла; не имела ни страстей, ни пороков, которые, за недостатком лучших свойств, смягчают или, вернее, разбавляют жестокие натуры. В душе ее не было ни скупости, ни тщеславия, ни сладострастия, а только одно влечение вредить всему, что может чувствовать вред, отравлять своим прикосновением все, до чего она дотрагивалась. Муж прогнал ее несколько месяцев спустя после свадьбы. Она возвратилась к матери и водворилась у нее как бы для того, чтобы в свою очередь быть ей бичом и казнью. Одна только кремнистая натура Марьи Федоровны могла выносить присутствие такого чудовища.

Сыновья ее были немногим лучше дочери. Оба служили в Петербурге. Старший, Самуил[20], впоследствии занимал должность председателя уголовной палаты в Воронеже и свирепым нравом изумлял самых необузданных помещиков. Он засекал людей до смерти и был не судьей, а палачом. Но, говорят, он не брал взяток. Другой сын Марьи Федоровны, Федор[21], отличался не столько злостью, сколько коварством, и вел беспорядочный образ жизни.

Вот пристань, к которой житейские волны прибили наш утлый челн. Но, повторяю, рядом со злом непременно где-нибудь да гнездится частичка добра: иначе в мире был бы нарушен закон вечной правды и справедливости. Неудивительно поэтому, если на одной и той же почве, которая производит Бедряг, иногда возникают и совсем другого рода личности. Заярскою частью слободы

Писаревки, как уже сказано, владел брат Марьи Федоровны, Григорий Федорович Татарчуков, человек крайне оригинальный, с большими странностями, но в то же время и очень умный, и добрый. Ему в то время было далеко за шестьдесят. Он не получил основательного образования, потому что такого образования тогда не существовало в России. Но природа одарила его счастливыми способностями и редкими в то время гуманными стремлениями.

Любопытно, откуда, в половине и в конце прошлого столетия, брались у нас такие люди и откуда почерпали они свои мировоззрения. Их вызвал к жизни удар, нанесенный в России невежеству богатырскою рукою Петра Великого, но они были еще редки и только по временам вспыхивали, как искры, огнивом выбиваемые из кремня. Поддержки вокруг у них не было. Екатерина II, правда, искала славы, которую философы XVIII века сумели сделать привлекательною для властителей, — славы очеловечения людей. Она покровительствовала уму, талантам, науке и искусству, полагая, что все это нужно России не меньше политического могущества и что она тем самым приготовляет себе в истории место наряду с Петром Великим. Вслед за Екатериною и избранные умы, о которых мы говорим, испытали на себе веяние времени. Не сознавая той страшной бездны, какая отделяет идею от ее осуществления и стремления от цели, они простодушно зачитывались Вольтером и энциклопедистами и с жадностью следили за всем, что тогда печаталось и издавалось на русском языке. А издавалось и печаталось немало, по крайней мере, в сравнении с предшествующими временами. Сумароков, Новиков, Курганов и до сих пор еще не оцененные по достоинству какой-нибудь Федор Эмин, Херасков, не говоря уже о Ломоносове, Фон-Визине, Державине, давали обильную пищу умам. Находились читатели и для таких книг, как юридические сочинения Юсти[22] или «Творения велемудрого Платона» в переводе Сидоровского и Пахомова[23]. Все это, конечно, не приводило ни к чему положительному, но, по крайней мере, вызывало на размышления и знакомило с понятиями о лучшем порядке вещей, с нравами, обычаями и жизнью народов, опередивших нас в образовании. Участвовавшие в этом движении и были люди тогдашнего прогресса, либералы, но не в нынешнем смысле слова, а, если можно так выразиться, либералами отрицательными: они не создавали учений и утопий об изменении русского политического строя, но довольствовались убеждением, что нравственное и умственное положение вещей в России подлежит скорому улучшению, что все допетровское в ней сгнило и она не замедлит быстрыми шагами пойти по пути просвещения.

К таким-то людям принадлежал и Григорий Федорович Татарчуков. Он находился в тесной дружбе с моим отцом, и я часто видел его, часто слышал его разговоры, из которых многие запали мне в душу.

Он был невысок ростом и немножко сутуловат, вероятно, от привычки ходить потупив голову. Лицо его не походило на безжизненно-плоские или

полные залихватской ноздревской удали лица большинства наших помещиков. Оно дышало умом, с оттенком едва заметной иронии. Человек этот мыслил: о том свидетельствовали его большие, сиявшие тихим блеском глаза. Он был невозмутимо кроток: это особенно выражалось в его улыбке, хотя улыбался он редко, сохраняя равновесие и спокойствие во всех своих действиях.

Но общему благородству и внутреннему изяществу его особы нелепо противоречил странный цинизм его прикладной внешности, то есть одежды. Он носил всегда один и тот же нанковый сюртук, испачканный табаком, покрытый всевозможными пятнами, засаленный и потертый до крайности. К тому же сюртук этот был постоянно расстегнут, обнаруживая рубашку, в свою очередь, расходившуюся на груди. Это сильно поражало мое детское стыдливое чувство. Верно, для симметрии и широкий бант его панталон никогда не застегивался как следует. На боку у Григория Федоровича болтался повешенный через плечо большой безобразный мешок, который он называл кисетом; во рту торчала трубка, оставляемая им только, когда он спал или ел.

Судя по одежде, вы подумали бы, что перед вами какой-нибудь Плюшкин, скупость которого перешла за границы приличий и здравого смысла. А между тем, он был щедр, вовсе не способен на мелочную расчетливость и во всем, кроме собственной личности, соблюдал чистоту и любил изящество, комфорт. Люди его были одеты и содержимы на редкость, дом убран не роскошно, но вполне прилично. Сад, который он сам развел, был расположен с большим вкусом. Все окружающее свидетельствовало о высокой степени развития помещика, стоявшего неизмеримо выше своих собратьев во всем, исключая неряшливого отношения к собственной особе.

Тем страннее поражало последнее, что Татарчуков был очень расположен к прекрасному полу. Старость не мешала ему предаваться любовным похождениям. Он любил разнообразие в них и сохранил слабость к женщинам до самой смерти, а умер он восьмидесяти лет.

На семьдесят втором или третьем году он вторично женился на молодой, привлекательной баронессе Вольф[24] и имел от нее дочь. От первой жены у него были две дочери и три сына. Из них один находился на военной службе, другой учился в московском университете, третий, мальчик лет тринадцати, готовился поступить в какое-то учебное заведение.

Имение Григория Федоровича состояло из шестисот душ вместо тысячи, которую он должен был получить по смерти отца[25]. Марья Федоровна успела оттягать от него четыреста душ — обстоятельство, к которому он относился стоически. Сестры он не любил, но не потому, что она его ограбила, а потому, что составляла полную противоположность ему по сердцу и понятиям. Григорий Федорович был доволен своим положением, и, что еще важнее, все были довольны им. Крестьяне обожали его: вокруг него всем жилось хорошо и привольно. Не было примера, чтобы он кого-нибудь обидел. С редкой в то

время сознательностью и добросовестностью он не раз говаривал моему отцу: «Крестьяне ничем не обязаны мне; напротив, я им всем обязан, так как живу их трудом».

Татарчуков не мечтал ни о каких преобразованиях, потому что, при коренном грехе нашего тогдашнего общественного строя, он вполне понимал их невозможность и был убежден, что всякая частная мера, направленная к этой цели, будет парализована основным государственным началом.

При таком порядке вещей он считал возможным одно: так сказать, текущее, личное добро в кругу, доступном его влиянию, и делал его благородно, бескорыстно, не уставая, не раздражаясь неблагодарностью, если она встречалась, не ожидая ни от кого похвал.

Григорий Федорович недолго служил на государственной службе и вышел в отставку с чином прапорщика. В нем ни на каплю не было честолюбия.

IX. Наше житье-бытье в Писаревке

Отец мой с энергией отдался занятиям по своей должности. И помещица, и крестьяне скоро ощутили на себе благотворные последствия его добросовестного труда. Одна увидела, как возникал порядок и являлись выгоды там, где их много лет не видали; другие начали отдыхать от притеснений и среди своей нищеты и разорения предвкушать более счастливую будущность.

Марья Федоровна принуждена была сознаться, что многим обязана моему отцу. Она убедилась в его честности и вверила ему безусловно судьбу своей вотчины. Сама же решилась предпринять давно задуманное путешествие, с дочерью, в донские станицы, к своему зятю, а ее мужу. Она надеялась помирить их, но, главным образом, желала отделаться от этой милой особы и навязать ее другому.

Они уехали. Отец остался полновластным распорядителем всех дел по имению. Отсутствие помещицы продолжалось около года, и этот промежуток времени был если не самым счастливым, то, во всяком случае, самым независимым и спокойным для нашей семьи.

В Писаревке тем временем составилось общество, замечательное для того отдаленного степного края. У отца завязалась тесная дружба с Татарчуковым. Григорий Федорович, как я уже говорил, только что женился на молоденькой, хорошенькой и образованной девушке, баронессе Вольф. Она, с матерью и двумя сестрами[26], приезжала в Писаревку погостить и не замедлила покорить сердце своего хозяина.

Эти баронессы Вольф были немецкие аристократки, чванившиеся родством с известным фельдмаршалом Лаудоном[27]. Но они обеднели и теперь проживали последние остатки некогда значительного состояния.

Баронесса Юлия не по влечению сердца отдала свою руку Григорию

Федоровичу, а под давлением бедности, которая становилась все тягостнее и настойчивее. У старухи-матери были еще сыновья. Один служил в военной службе[28] и ничем не мог помогать семье. Два малолетних учились в кадетском корпусе в Петербурге[29], а самый старший[30], идиот, находился при матери.

Юлия была не красавица, но очень миловидна. Я живо помню ее. Брюнетка среднего роста, со смуглым подвижным лицом, она поражала благородством осанки и обращения, которыми, вообще, резко отличалась от провинциальных барынь. Ей тогда только что минуло двадцать лет, а муж ее перевалил за семьдесят. И какой муж! Он, правда, был одним из умнейших и благороднейших людей, но от него пахло козлом. Он и после брака таскал на себе все тот же засаленный сюртук и полуспущенные панталоны. Тот же отвратительный мешок болтался у него за плечами. Сквозь слой грязи, накопившейся на нем в течение семидесяти лет, вообще нелегко было добраться до перла его души, а тем более молоденькой, неопытной женщине. Тем не менее, у ней, кажется, долго не было привязанности на стороне. Но в заключение ей до того опротивела жизнь с этим сатиром, что она, после многих бурных домашних сцен, уехала-таки от него в Москву. До отъезда она, впрочем, подарила ему дочь.

Из двух остальных дочерей баронессы Вольф средняя, Каролина, тоже была очень недурна, но старшая, Вильгельмина, уж не могла похвастаться ни молодостью, ни красотой.

У Татарчукова, как сказано выше, были еще две дочери от первого брака, Любовь и Елизавета. Обе толстые, краснощекие, неуклюжие, они, однако, были так умны и добры, что заставляли забывать о своей некрасивой наружности — особенно меньшая, Елизавета, всех привлекавшая ангельскою кротостью.

Отец мой и мать были приняты, как родные, в кругу этой семьи. Расстояние между их домами было невелико, и они почти постоянно находились вместе. Вскоре к ним присоединились новые лица. Москву заняли французы, и жители ее толпами устремились внутрь России, ища убежища, где кто мог. Второй сын Татарчукова, Алексей, только что кончил курс в Московском университете и поспешил домой к отцу, на короткое свидание: он хотел вслед за тем принять участие в народной войне. С ним вместе, спасаясь от неприятеля, прибыли в Писаревку московский профессор греческой словесности Семен Ивашковский[31] с женою и молодой человек, его родственник, адъюнкт того же университета, Михайло Игнатьевич Беляков[32]. Все они нашли приют у старика Татарчукова. К ним нередко присоединялся еще слободский священник, отец Иоанн Донецкий[33] — очень умный, с премилою женою.

Таким образом, в Писаревке составился кружок людей образованных, каких губерния вряд ли много видела за все время своего существования. Кружку этому суждено было прожить сильные драматические положения. В лоне его разыгрались страсти, произошли роковые сближения, было испытано немало радостей, но еще больше пролито слез.

Память живо рисует мне образы лиц, участвовавших в этой писаревской драме, полной трагического интереса. Из отдельных черт, уловленных тогда моей детской наблюдательностью, теперь слагается цельная характеристика лиц и событий, волновавших наш маленький сельский мирок.

О Григории Федоровиче Татарчукове я уже достаточно говорил. Займемся другими.

Профессор Ивашковский был тип ученого старых времен: в нем буква поглощала смысл науки. Его филологические исследования не шли дальше кропотливого собирания материала, с которым он, кажется, сам затруднялся, что делать. Высокого роста, сутуловатый, он ходил согнувшись, точно всегда чего-то искал под ногами. Улыбка редко озаряла его флегматическое лицо, которое от беспрерывного углубления в древних классиков точно застыло в одном и том же выражении. Зато он был бесконечно добр и простодушен, как дитя. Не способный ни на какой обман, он не подозревал, что сам был постоянной жертвой обмана: его обманывали жена, прислуга, ученики.

Профессор сильно привязался к моему отцу и по возвращении в Москву затеял с ним дружескую переписку. Одно из его первых писем сопровождалось стихами собственного изделия, на изгнание из России французов. Я нигде не встречал их в печати и привожу здесь затвердившийся у меня в памяти небольшой отрывок как образчик поэзии, в которой, на радостях избавления от «двунадесяти языков», спешили тогда упражняться все призванные и непризванные «пииты»:

Ударил грозный час, и суд небес свершился,
Блиставший небосклон бед тучею покрылся.
Россия! где твой мир, величье красоты?
Среди державных царств померкла в блеске ты.
Зрю только, как враги в тебе злодейство сеют,
Мечом и пламенем их лютость печатлеют.
Унынье разлилось; смерть, стон и страх
Во всех отчаянья исполненных сердцах.
Где благочестия курился фимиам,
Алчба свирепствует и дерзка наглость там.
Подверглася и ты, Москва, напасти грозной:
Ликует с торжеством в стенах твоих Галл злостный.
Он мнит: пленив тебя, Россию всю попрал
И полный властелин над ней со славой стал.
Так и Европа с ним мечтает изумлена,
Зарей побед его предтечных обольщенна...

Следует посрамление французов, их изгнание, торжество России, все в том же роде, но дальше наизусть не помню.

Михаил Игнатьевич Беляков, адъюнкт по части естественных наук, был молодой человек, приятной наружности и, кажется, больше любивший веселую жизнь, чем науку. Ивашковский долго еще служил в Московском университете, по открытии его после наполеоновского погрома, и издал греко-русский словарь. Но Беляков, женившийся на старшей дочери Татарчукова и уехавший с нею в Москву, как-то скоро затерялся в столичной толпе. Носились слухи, что он запил, промотал приданое жены и в заключение уморил ее дурным обращением, но сам жил еще долго. В данный момент он был еще неиспорченный и порядочный молодой человек. С отцом моим он сначала водил дружбу, но после женитьбы возгордился и уже не снисходил до связи с простолюдином.

Но перлом всего писаревского кружка был сын Татарчукова, Алексей, который теперь готовился встать в ряды защитников отечества. Это был юноша с ясным умом и чистым сердцем. Его все горячо любили. С моим отцом у него завязалась романическая дружба. Алексею Григорьевичу Татарчукову было двадцать лет, а отцу моему уже за тридцать. При таковом неравенстве лет, казалось бы, невозможна никакая восторженность в их взаимных отношениях. Но мир, в котором вращалось писаревское общество, был какой-то особенный, весь сотканный из энтузиазма и восторгов, так что в нем вовсе не оставалось места для скромного здравого смысла.

В среду этих достойных людей вторглась любовь и произвела страшные опустошения в их сердцах. Прежде всех влюбился старик Татарчуков в баронессу Юлию: его любовь имела простой исход — брак. Вскоре за ним к ней же воспылал мой отец. Любовь последнего носила романический характер и даже имела роковое влияние на его будущность. Как зародилась она в нем и подала ли к тому повод сама Юлия — мне неизвестно. Могло быть, что она, в скуке своего противоестественного брака, благосклоннее, чем следовало, принимала поклонение человека еще молодого и способного сильно и глубоко чувствовать. Но она не была заурядной кокеткой и вряд ли поощряла своего обожателя обманчивыми обещаниями на взаимность. Да отец мой ничего и не добивался от нее, кроме сочувствия. Любовь его в настоящем случае была чисто идеальная, и это объясняет, каким образом она уживалась в нем рядом с дружбою к мужу.

Молодой Татарчуков, едва занеся ногу за порог отцовского дома, страстно влюбился в среднюю дочь баронессы Вольф, Каролину. Тут было все естественно: оба лица, ничем не связанные, одинаково молодые и красивые, могли бы быть счастливы. Но молодая девушка почему-то равнодушием отвечала на страстный порыв юноши, который и в могилу унес неразделенное чувство.

Любовь, таким образом, сделалась в Писаревке чем-то вроде повальной болезни. Скоро и Беляков ощутил ее влияние над собой. Он объявил себя влю-

бленным в старшую дочь Татарчукова, Любовь Григорьевну. Но в настоящем случае значительная часть страсти чуть ли не падала на приданое барышни, которая была некрасива, зато слыла наследницею ста душ, далеко не лишнего для беглого адъюнкта, ничего с собой не привезшего из Москвы, кроме нескольких томов Линнея и Бюффона.

Все эти любви, развиваясь в разных направлениях, скрещиваясь и переплетаясь в маленьком сельском мирке, наконец, до того всех опутали, что совсем скрыли от них остальной мир. Счастливыми в этой игре чувств были только два человека: старик Татарчуков, обладавший если не сердцем, то особою своей возлюбленной, и Беляков, который, хотя сначала и встретил сопротивление со стороны отца своей пастушки, в заключение все-таки женился на ней.

Все эти лица ежедневно собирались то у Татарчукова, то у моего отца, играли в бостон, дружно беседовали, млели под лучами ласковых взглядов своих богинь, даже танцевали и слушали музыку.

У Бедряги когда-то существовал оркестр из крепостных, который теперь был распущен. Отставные артисты разбрелись кто куда: одни запили и загуляли, другие занялись сельскими работами. Отец сам был музыкант и хорошо играл на гуслях, которые и составляли всегда неизбежную принадлежность нашей домашней утвари, как бы та ни была скромна. Он собрал рассеянных виртуозов и кое-как настроил на лад и их самих, и инструменты их.

Тут были: однорукий валторнист Иван, скрипач Бибик — он же и капельмейстер, другой скрипач, Трофим, молодой парень, мой приятель, всегда готовый за чернослив и пряник пропиликать мне «По мосту, мосту, по калиновому», — песнь, которую, не знаю почему, я особенно любил. Были у нас и контрабас, и фагот, и флейта, и цимбалы. Те музыканты, рты которых не были заняты дутьем в инструменты, пели еще с двумя или тремя певунами: остальные дружно им аккомпанировали.

Таким образом, в небольшой комнате, служившей нам и гостиной, и столовой, и передней, по всем правилам задавались концерты. Всего чаще гремел «Гром победы, раздавайся» — и всякий раз к моему неописанному восторгу.

Но вдруг над нами разразился жестокий удар: заболел молодой Татарчуков. Он простудился, схватил горячку и в несколько дней умер. Смерть эта поразила Григория Федоровича в самое сердце: то был его любимый сын, он видел в нем лучшую часть самого себя. Мой отец произнес на могиле умершего речь и долго не мог утешиться в потере своего друга. Да и все, знавшие молодого человека, глубоко скорбели об его преждевременной кончине.

С течением времени, однако, смятение, вызванное в нашем обществе горестным событием, повинуясь общему ходу человеческих дел, постепенно улеглось. Мы вернулись к прежним занятиям и утехам. Только собрания после того уже никогда больше не происходили у Татарчукова, а всегда у нас.

Странно, что в этот момент сильных потрясений, которые переживала Россия, не только наш тесный кружок, за исключением разве одного молодого Татарчукова, но и все окрестное общество равнодушно относилось к судьбам отечества. Отца часто навещали соседние помещики и горожане. Все, правда, безропотно несли тягости, вызванные народною войною, поставляли и снаряжали рекрутов, терпели во всем дороговизну и прочее. Но никогда не слышал я в их разговорах ноты теплого участия к событиям времени. Все, по-видимому, интересовались только своими личными дела. Имя Наполеона вызывало скорее удивление, чем ненависть. Словом, общество наше поражало невозмутимым отношением к беде, грозившей России. Это отчасти могло происходить от отдаленности театра войны: до нас, дескать, враг еще не скоро доберется! Но главная причина тому, я полагаю, скрывалась в апатии, свойственной людям, отчужденным, как были тогда русские, от участия в общественных делах и привыкшим не рассуждать о том, что вокруг делается, а лишь беспрекословно повиноваться приказаниям начальства.

В этом писаревском омуте любовных вздохов, сердечных излияний и то остроумных и романических, то ребяческих затей мое детство текло без всякого умственного и нравственного руководства, кроме надзора матери, которая одна, среди общего кружения голов, сохраняла присутствие духа.

У меня вскоре нашелся товарищ, мальчик двумя годами старше меня, сын одного отставного чиновника[34], которого Марья Федоровна Бедряга взяла с собою в донские станицы. Мальчика звали Андрюшею. Прелестный собою, розовый, беленький, кроткий и чувствительный, как девочка, он сильно привязался ко мне, хотя я часто досаждал ему вспышками моего тревожного нрава. Этот Андрюша с течением времени превратился в Андрея Андреевича*, женился, сделался статским советником, вышел в отставку и ныне принадлежит к числу лучших моих приятелей. С простым, но здравым умом и честным сердцем, он в конце своей чиновничьей карьеры остался так же беден, как и в начале ее, — не приобрел ничего, кроме, как говорят чиновники, «знака беспорочной службы в петлицу и геморроя в поясницу». Словом, он сохранил себя совершенно чистым от всяких чиновнических нечистот.

Мы жили с Андрюшей душа в душу. Я вообще не умел привязываться наполовину: всякое чувство принимало у меня характер страстного увлечения. Но не один Андрюша обладал в то время моим сердцем. Между горничными Марьи Федоровны Бедряги была одна очень хорошенькая, по имени Христина, или, как ее все звали, Христинушка. Стройная, с нежным, вовсе не деревенским цветом лица, с живой и осмысленной физиономией, с роскошными волосами и мягкими манерами, она действительно была прелестна. Ей только что минуло семнадцать лет. Верно, в подражание взрослым, так неудержимо

* Мессарош.

и нелепо перелюбившимся в Писаревке, и я поспешил воспылать к Христинушке. Как тень всюду следовал я за ней и ловил ее взгляды. Смотря на меня, как на ребенка, каким я и был на самом деле, она не отказывала мне в ласках, но с лукавой разборчивостью наделяла ими только в виде награды, за мое постоянство, например, или за что-либо другое. Для меня не было большого наслаждения, как играть с нею в карты — в короли. Закон игры у нас требовал, чтобы выигравший получал, а проигравший давал поцелуй — значит, выгода в обоих случаях была на моей стороне.

А какие страдания претерпевал я от ревности! Друг мой, Трофимка, пленивший меня выпиливанием на скрипке «По мосту, мосту, по калиновому», очевидно, был неравнодушен к молодой девушке, которая со своей стороны оказывала ему явное предпочтение. Но оба остерегались раздражать мою ревность, ибо я, в качестве «паныча», нередко бывал им полезен.

Мы с Андрюшею в это время почти не учились. Ведь нельзя же назвать учением, когда нам совали в руки учебник арифметики или русской истории и приказывали сесть там-то и читать. Учителя у нас не было, так как его неоткуда было достать, а отец, занятый управлением имением, не мог посвящать нам много времени.

Страсть к чтению, между тем, у меня возрастала с каждым днем, только не к учебным книгам, а к романам. Я прочел их много и самых нелепых. Не помню, каким путем они до меня доходили, только недостатка в них не было. Кроме того, я почти не выпускал из рук песенника и, в качестве влюбленного, то и дело затверживал наизусть и переписывал в тетрадь песни любовного содержания вроде следующих:

Позволь тебе открыться
Об участи моей;
Я должен покориться
Владычице своей...

Или:

Неси, уныла лира,
Повсюду весть, стеня:
Жестокая Темира
Не любит уж меня.

И так далее.

Не одной литературой, однако, занимались мы с Андрюшей, а и живописью также: достали где-то красок и чудовищным образом срисовывали с картинок вооруженных пиками казаков, лошадей, козлов, птиц и деревья. Нас никакие трудности не устрашали. С птицами у нас были еще и другие дела. Мы зимою ловили их в саду силками и находили в этом большое удовольствие.

Вообще, предоставленные самим себе, мы не подвигались вперед умственно, но зато весьма приятно проводили время. К чести нашей надо, однако, сказать, мы не употребляли во зло нашей свободы, но вели себя скромно и прилично. Все, что было во мне пылкого и эксцентричного, находило себе исход в любви к Христинушке и в сочинительстве. Много бумаги перемарал я в это время! Всего больше нравилась мне форма писем. Я писал их к вымышленным и действительным лицам, никогда по-прежнему не отправляя их по назначению. В этих письмах я изливал свое восхищение природой, размышлял о дружбе и любви. Главную роль при том играло воображение, которым я и жил тогда почти исключительно. Никем не руководимый, ум мой или совсем бездействовал, или развивался односторонне, а именно: вольно разгуливал в области фантазии. Он, как плохо питающееся растение, не раскидывался во всех направлениях, а до поры до времени сосредоточивался в самом себе, слабо питаясь только теми понятиями, какие случайно извлекал из книг, почти столь же глупых, каким я был сам.

Мне пошел уже одиннадцатый год, когда отец, наконец, решился серьезно подумать о моем образовании. Да и минута была для того удобная. Средства наши настолько улучшились, что оказалась возможность отдать меня в какую-нибудь городскую школу. Отец задумал отправить меня в Воронеж, вместе с Андрюшею, который был ему поручен родителями. Отвезти нас и определить в уездное училище взялся Беляков, в то время еще не гнушавшийся моего отца и пожелавший за полученные услуги, в свою очередь, чем-нибудь услужить ему.

Недолго думая, нас снарядили в путь. Горько мне было расставаться с родительским домом. Он не был богат ни удобствами, ни радостями, но я не знал лучшей жизни. Она вся сосредоточивалась для меня в этом доме, и мое детское сердце надрывалось от тоски, прощаясь с бабусями-баловницами, с теткой Лизою и с моей несравненной матерью. Она тоже не без слез собирала меня в дорогу и благословляла на новую жизнь, вдали от себя.

Немало тревожило меня еще и то, что я отныне буду жить среди москалей. Истый хохол, я не питал к ним расположения. Их нравы, одежда, жилища, язык — все возбуждало во мне детскую антипатию.

Немедленно по приезде в Воронеж мы расстались с Андрюшей. Он поселился у своей замужней сестры[35], а меня вместе с несколькими другими, к счастью, малороссийскими мальчиками поместили нахлебником к одному мещанину, Калине Давидовичу Клещареву[36]. Два дня спустя я был представлен смотрителю уездного училища, Петру Васильевичу Соколовскому, с придачею кулька, вмещавшего в себе голову сахару, фунт чаю и штоф кизлярской водки[37]. Не знаю, вследствие ли рекомендации Белякова или благодаря этой придаче, я удостоился благосклонного приема и был немедленно занесен в число учеников так называемого низшего отделения.

X. Школа

Итак, я почти за двести верст от моей семьи, среди москалей, в школе — обстоятельства, равно необычайные для меня. При моей природной робости и застенчивости, мне было трудно привыкать к новому образу жизни и к новым лицам. Притом меня одолевала тоска по родине. Говорят, все малороссияне более или менее страдают ею на чужбине, а иные даже умирают. Немудрено, если и я заболел. Меня в течение нескольких недель терзала злейшая лихорадка: я превратился в настоящий скелет. От матушки скрыли мою болезнь. Иначе она не вытерпела бы и во что бы то ни стало приехала за мной ухаживать.

От этого тяжелого времени у меня сохранилось неизгладимое воспоминание о лечившем меня подлекаре, который вместо облегчения только усиливал мои страдания. Он пичкал меня рвотным, которое не действовало и причиняло мне невыразимые муки. В заключение, я не мог без отвращения видеть его лунообразного, хотя и добродушного лица, с неподвижным, точно свинцовым, взглядом. Мне опротивел даже его толстый байковый сюртук коричневого цвета, при виде которого меня мутило не меньше, чем после приема его лекарства.

Хозяин квартиры, которому я был поручен, Калина Давидович Клещарев, видя, как бесплодны усилия подлекаря в борьбе с моей болезнью, вздумал прибегнуть к одному врачу-самоучке, простому мужику, славившемуся удачным лечением лихорадки. И что же: изготовил мужичок темно-красную микстуру, велел принимать по две десертные ложки в день — и лихорадку как рукой сняло. Самой ли ей надоело трепать меня, или лекарство было в самом деле целебное, только я быстро поправился и начал ходить в школу.

Со страхом и трепетом перешагнул я в первый раз за порог ее, но напрасно: я знал гораздо больше, чем требовалось для поступления в класс, к которому меня причислили. Мне были знакомы четыре правила арифметики; я бегло и толково читал и довольно чисто писал без линеек.

Тем не менее, я робко сел на указанную скамью и с благоговением взирал на учителя в нанковом сюртуке, ожидая, что вот-вот из уст его польются потоки мудрости, которых голова моя не в состоянии будет вместить. Но из уст бедного Федора Ивановича Клемантова[38] (так звали учителя) не исходило ничего, кроме самых обыкновенных вещей, вроде того, что дважды два четыре, а трижды три девять. Помимо этого, он то и дело призывал учеников к порядку, а иногда и осыпал более или менее выразительными ругательствами шалунов и лентяев.

Впрочем, Клемантов был очень добр и вполне добросовестно отправлял свою неблагодарную должность, которая едва-едва спасала его от голодной смерти. Он был справедлив и снисходителен к детям, но никто этого не замечал и не ценил. Кроме того, он, вопреки обычаю большинства тогдашних педагогов, не был пьяницею.

Вообще надо отдать справедливость воронежскому уездному училищу: оно, как мы увидим после, было не в пример лучше других обставлено. Состав

преподавателей в нем, и по образованию, и по нравственности, был далеко выше обычного уровня. Ученье их, само собой разумеется, отзывало тою же рутиной, какая тогда повсеместно господствовала, но отношение их к ученикам было проникнуто беспримерною в те времена гуманностью. И это тем больше делало им чести, что их собственная участь была незавидная. Общество смотрело на них холодно. Никто их не поощрял, а вознаграждения едва хватало на дневное пропитание. Какой прогресс мыслим при таких условиях!

Хотя я поступил в школу уже на половине курса — зимою, в декабре или январе, не помню с точностью, — однако скоро занял место в ряду первых учеников. Мне служило большим подспорьем все то, чему я, при всей беспорядочности моего домашнего ученья, успел научиться до поступления в училище.

Таким образом, мне ничего не стоило идти за классом и даже во главе его, и в моем распоряжении оставалось еще много свободного времени. Я проводил его по-прежнему в чтении всего, что попадалось под руку, и в мечтах о милой родине. Христинушка быстро испарилась из моей памяти, но любовь к семье и к родине получила в разлуке новую силу.

Я то и дело переносился мыслью в среду моих возлюбленных малороссиян. Воображение рисовало мне белые хаты, тонущие в вишневых садах, смуглые лица поселян с подбритыми висками и длинными усами, в высоких бараньих шапках и с люлькою в зубах. Передо мной мелькали карие очи и пестрые плахты дивчат, белые свитки и калиты у поясов бабусь.

А вся домашняя обстановка... какою привлекательною казалась она мне издали! Я с умилением вспоминал даже бродивших у нас по двору кур и предводителя их — петуха, страшного нахала и драчуна, с задорно трясущимся над клювом красным гребнем в виде шлема. Я мысленно следил за полетом голубей в поднебесье: передо мной мелькали их сизые крылья, и я вслед за ними уносился в родные дубравы и в степи с волнующимся ковылем.

А какая радость, бывало, встретить вереницу возов, запряженных волами! Рядом медленно и важно выступают чумаки. На них пропитанные дегтем рубахи. Они вооружены батогами и лениво понукают: «Гей, гей, цоб, цобе» не менее лениво передвигающих ноги волов. «А виткиль, панотци?» — спросишь иногда и с замирающим сердцем ждешь ответа и, если услышишь: «А тоже мобуть Богучарски!» — готов броситься на шею и ним, и волам.

Но вот и каникулы. Собрав в мешок скарб, книги и тетради, я сел в малороссийскую повозку и с легким сердцем двинулся в путь, домой, к своим. Но мне предстояло сначала заехать еще в Алексеевку, захватить с собой бабушку Степановну, и с ней уже окончательно отправиться в Писаревку. Мое удовольствие, таким образом, усугублялось. Сколько ожидало меня объятий, ласк, вишень и арбузов! И я должен признаться, что последние играли не меньшую, если не большую, роль в моих мечтах о прелестях вакаций.

На этот раз действительность вполне оправдала мои мечты. Обе бабушки и тетка Елисавета излили передо мной все богатства своих сердец, садов и огородов. Я провел у них несколько счастливых дней и в заключение отправился в Писаревку не только с бабушкой Степановной, но и с теткой Лизою, первым другом моего детства.

Мы ехали четверо суток, отдыхали и ночевали в поле, то на берегу речки или на опушке леса, то по соседству с какой-нибудь пасекой или бакчей. Вечером раскладывали огонь, варили кулиш, галушки со свиным салом и ужинали. За ужином следовал десерт из огурцов и вишен: арбузы тогда еще не поспели.

Спали мы под открытым небом, кто на возу, кто под возом, на сочной душистой траве, и таким образом покоились если не на розах, то во всяком случае на цветах.

Ночи были восхитительные, теплые, ласковые. Вокруг тишина: ни звука, которые напоминал бы близость человеческого жилья, но зато какой неумолкаемый говор и шепот, какое жужжанье и стрекотанье насекомых в траве, в древесной листве, крик перепела, дыханье ветра...

Наслаждаясь прелестью этих дней и ночей, мы и не подозревали, что дома нас ожидало горе. Вместо шумной и радостной встречи нас поразили опечаленные лица и зловещая, озабоченная суетливость, точно в ожидании чего-то чрезвычайного. Вышла мать в слезах, бледная, расстроенная. Обнимая меня, она горько зарыдала.

Отец был безнадежно болен, и в минуту нашего приезда делались приготовления к соборованию его.

Я вошел в комнату, где он лежал, но меня не допустили до его постели. В страхе и смятении прижался я в углу и тихонько заплакал.

Комната постепенно наполнялась посторонними. На всех лицах лежала тень, а на многих и следы неподдельной скорби. Особенно поразила меня наружность помещицы: она стояла невозмутимо важная, холодная, но, очевидно, озабоченная. Пришел священник и приступил к соборованию.

Отец все время лежал неподвижно и, по-видимому, без сознания. Обряд кончился. Все разошлись. Остались одни домашние в трепетном ожидании страшной посетительницы — смерти. Но поздним вечером над отцом точно совершилось чудо. Он очнулся, промолвил несколько слов и погрузился в тихий спасительный сон. На следующее утро он проснулся освеженный и, к общей радости семейства, скоро совсем оправился.

За исключением этой благополучно миновавшей беды, у нас в доме все было хорошо. Расположение и доверие помещицы к моему отцу, казалось, достигло в это время своего апогея, и не без основания. Помимо услуг по управлению имением, которые она сумела оценить, отец оказал ей еще рыцарскую помощь в обстоятельствах, крайне плачевных для своенравной, властолюбивой барыни.

Я говорил выше, что Марья Федоровна Бедряга предприняла поездку на Дон с целью помирить дочь с мужем и развеять свои личные недоразумения с зятем. Но между ним и ею произошли новые столкновения, отношения обострились, и казацкий генерал в заключение придумал чисто казацкую меру обуздания тещи и жены. Он отвез их в отдаленный хутор и содержал там в строгом заключении. Сколько они ни бесновались, ничего не могли сделать для своего освобождения. Их слишком хорошо стерегли, и они ни с кем не могли иметь не только личных, но и письменных сношений. Наконец, после многих бесплодных попыток, им удалось известить о своем заключении моего отца. Они умоляли его приехать и освободить их.

Отец, вообще склонный к романическим похождениям, охотно взялся им помочь. Он украдкой пробрался к месту, где они были заключены, свел дружбу с их сторожем, подкупил его и в заключение был допущен к ним. После того он уже без труда вывел их из дома, где они содержались, усадил в заранее приготовленный экипаж и благополучно доставил в Писаревку.

Въехав в свои владения, Марья Федоровна приказала остановиться у церкви. Осенив себя крестным знамением, она во всеуслышание объявила, что если еще видит свет Божий, то обязана этим только отцу моему. И она торжественно поклялась никогда не забывать этого. Как сдержала она свою клятву, мы скоро увидим.

Быстро промчались каникулы, и я опять очутился в Воронеже. Я перешел в следующий, старший класс, и это было началом нового периода в моей жизни. Мое ученье шло успешно, и я скоро очутился на первой скамье, первым учеником, сначала *авдитором*, а потом и *цензором*. Звание школьного цензора было как бы предзнаменованием моего будущего цензорства на государственной службе, где я претерпел столько невзгод и где каждый день отправления моих обязанностей грозил бедой. Но об этом после.

В авдиторы у нас в школе назначались лучшие ученики. На них лежали обязанности вести списки, или *нотаты*, товарищей, каждое утро по приходе в школу проверять степень их прилежания и ставить соответственные отметки. Для этого употреблялись латинские буквы: pn за prorsus nescit (ничего не знает); ns за nescit (почти нечего); nt за non totun (наполовину знает); nb за non bene (не хорошо); er за erravit (с ошибками). Желанною для всех отметкою было s, то есть scit.

Отобрав от авдитора нотаты, учитель передавал их одному из учеников — обыкновенно из плотных и рослых, который и приводил в исполнение раз навсегда установленный над ленивыми и нерадивыми приговор. Вооруженный линейкой, он делал обход классу, начиная с *прорсуса* и до *ерравита*, и распределял между ними определенное для каждого число *палей*, т.е. ударов линейкою по ладони. *Ерравиту*, как менее виновному, делалось только словесное внушение.

Звание цензора считалось высшим школьным отличием. На него имел право только первый ученик, которому поручался общий надзор за порядком и благонравием в классе. Он наблюдал за тишиной и порядком до прихода учителя и во всех других случаях, где школьники собираются в массе. Нарушителей порядка и благочиния он записывал в особую тетрадь, которую в свое время представлял на рассмотрение учителя, а тот уже приговаривал шалунов к тому или другому наказанию в виде розог или палей.

С первых же шагов моих в школе мною владело честолюбивое желание сделаться цензором, а при переходе в старший класс оно просто не давало мне покою. Между тем случилось, чего я не сказал раньше, что отец, по разным обстоятельствам, не мог отправить меня в Воронеж тотчас по окончании каникул. Пришлось ждать оказии, которая представилась не скоро, и я явился в училище почти два месяца спустя после начала курса.

Учение далеко ушло вперед, и догнать товарищей казалось делом очень трудным. Мне, в качестве отсталого, отвели место на третьей скамье. Цензорство, по-видимому, ускользало от меня, и мое самолюбие жестоко страдало. Подстрекаемый им, я так рьяно принялся за дело, что быстро догнал класс и очутился опять на первой скамье.

Товарищи сильно поддерживали меня в усилиях встать во главе их. Цензором в первое полугодие был некто Лонгинов, не пользовавшийся расположением школьников, и те, не меньше меня, желали низложения его в мою пользу.

Прошло еще две недели. Лонгинов совершил какой-то важный школьный проступок, за что был пересажен на пятую скамью, или, как говорили мальчики, «сослан в деревню бить масло». Само собой разумеется, что он одновременно лишился и цензорства, которое тогда, по всем правам, перешло ко мне. Я торжествовал, а со мной и товарищи, не любившие моего предшественника за пристрастное и недобросовестное пользование преимуществами своего цензорского положения.

К чести моих учителей и товарищей, я не могу умолчать, что Лонгинов был сын относительно богатых и влиятельных родителей, я же — что называется — голыш: мне даже не на что было покупать учебные книги, и я списывал уроки с книг моих, лучше обставленных, соучеников.

Достигнув власти, я не обманул доверия товарищей. То же честолюбие, которое побуждало меня стать первым среди них, теперь внушало мне страстное желание подчинить их себе единственно силою воли и моего личного маленького характера, а не страхом стоявшего у меня за спиной учительского авторитета. Поэтому главный атрибут моего цензорства — тетрадь для записывания в чем-либо провинившихся учеников — была в моих руках пустой угрозой и никогда не доходила до начальства.

Мой образ действий пришелся по сердцу товарищам, и они, за редкими исключениями, охотно входили в мои виды. Благодаря этому порядок и ти-

шина в нашем классе были примерные. Если мальчики ссорились, их ссоры решались между товарищами и не шли дальше. Бывшие у нас в большом ходу и не преследуемые начальством кулачные бои тоже облагообразились. Вошло в правило избегать ударов в нос или вообще в лицо и ограничиваться более выносливыми частями тела. Всякая попытка застать противника врасплох строго осуждалась, и только та победа считалась законною, которая бралась ловкостью и открытой силою. Должен сознаться, что и я был не из последних в этих боях.

Но любимою моею игрою была игра в лапту и беганье взапуски: в них никто не мог сравняться со мной. Зато я почему-то презирал свайку и очень плохо играл в ладыжки, нередко проигрываясь в пух.

Происходили у нас и уличные свалки с воспитанниками военного сиротского отделения, тогдашними кантонистами. Между ними и нами существовала непримиримая вражда, и редкая встреча обходилась без драки. Хотя вне класса мои цензорские права и обязанности были гораздо ограниченнее, чем в стенах школы, тем не менее, ревнуя о чести моих товарищей, я вынес немало страха и хлопот, оберегая их скулы и подглазия.

Общество в училище было смешанное. На одной и той же скамье часто рядом сидели: сын секретаря и даже советника палаты и сын крепостного человека; мальчик из богатого купеческого дома, приезжавший в школу на сытой лошадке, в щегольской пролетке, и бедняк в дырявом сюртучишке, очевидно сшитом не на него и едва прикрывавшем плохенькие полотняные штанишки. Тут же восседал и хохлик из Бирюча или Острогожска, сын казака или войскового обывателя, с задорным чубом на голове и в затрапезном холсте сомнительного цвета.

Несмотря на такое разнообразие в их общественном положении, дети в школе охотно братались, и незаметно было между ними ни чванства с одной стороны, ни зависти — с другой. Преимущество оставалось за теми, которые лучше учились, а главным образом за теми, которые ловчее распоряжались руками в кулачном бою и в мире мячом или же были острее и находчивее в речах. Вся честь этого должна быть отнесена на долю учителей, которые своим справедливым, нелицеприятным отношением к ученикам поддерживали между ними дух равенства и исключали всякое стремление к сословному чванству.

Что касается учения, оно в нашем училище — за исключением разве только большей добросовестности учителей — шло ни хуже, ни лучше, чем во всех русских школах того времени. Мы учились Закону Божию, священной и немного всеобщей истории, русской грамматике, арифметике, физике, естественной истории, началам латинского и немецкого языков и изучали книгу об обязанностях человека и гражданина.

Наставники наши были знакомы лишь с одним способом преподавания, а именно: заставляли нас все заучивать наизусть по кратким учебникам.

Самые любознательные из нас уже начинали сознавать недостаток такого учения и старались пополнять его чтением. И прежде одержимый страстью к книгам, я теперь еще сильнее предался ей, поглощал все, чем только удавалось заручиться. Романы, исторические сочинения, биографии знаменитых людей — эти последние особенно — составляли мою отраду и главный интерес моей жизни.

Попал мне в руки Плутарх и сделался моим любимым автором. Сократ, Аристид, Филопомен, освободитель Сиракуз, Диокл по очереди овладевали мною до того, что я проводил целые часы в размышлениях об их доблестях и в мечтах о том, как им уподобиться. Воображение рисовало мне карту небывалого государства, а в нем провинции и города с именами, заимствованными из древнего мира. Я был там правителем и сочинял в голове целую историю подвластного мне царства, устроенного по плану Платоновой республики.

Экзальтация моя подчас переходила в манию и искала себе исхода в восторженных речах. Я воображал себя оратором на римском форуме или на афинской агоре, в порыве благородного негодования громил врагов отечества или горячо отстаивал принципы свободы и человеческого достоинства. Мой энтузиазм сообщался другим школьникам, и у нас пошла в ход новая игра — в героев и ораторов.

Не меньше волновали меня и романы. Преимущественно переводные и большею частью плохие, без малейшего намека на психологическое развитие характеров, они пленяли меня исключительно романическими похождениями и пламенными чувствами, в них изображенными. С каким трепетом проникал я в мрачные подземелья вслед за Анною Редклиф[39], как упивался сладчайшим Августом Лафонтеном[40]! Но немного дало мне в результате это чтение: романы первого из двух названных авторов сделали то, что я и после долго еще боялся оставаться один в темной комнате, а второго, — что при встрече с каждой женщиной я спешил возводить ее в перл созданья и в нее влюбляться.

Мои собственные чувства я изливал в пламенных и, должно быть, крайне нелепых письмах к родителям и к одному из товарищей — Рындину[41]. Очень добрый и благонравный, но простоватый мальчик, он всегда, развеся уши, слушал мои высокопарные бредни. Я пожаловал его в моего верного последователя и сподвижника и, в качестве такого, засыпал речами и посланиями.

С головой, набитой всякого рода геройскими подвигами и романической чепухой, я с ничем не оправдываемым, особенно в моей скромной доле, пренебрежением относился ко всем житейским мелочам и требованиям трезвой действительности. Я не умел, да и не хотел подчиняться ни правилам разумной бережливости, ни даже простой порядливости, часто предпочитая обходиться без необходимого, чем заботиться о его приобретении или сбережении.

Менее добросовестные из товарищей, особенно из живших на одной квартире со мною, подметив во мне это отношение свысока ко всякого рода

материальным выгодам и удобствам, без зазрения совести пользовались моим добром как своим. Немудрено, если я по окончании каждого учебного года возвращался домой, что называется, гол как сокол. Бедной матери моей немало труда стоило скрывать мои проказы от отца. Сама же она, пожурив меня немного, всегда умудрялась — до последней крайности обрезывая самое себя — опять снабжать необходимым.

Училище наше было трехклассное, но младший класс почему-то назывался не классом, а низшим отделением. Учителей, по числу классов, было тоже три: Федор Иванович Клемантов, о котором я уже говорил, заведовал низшим отделением; Николай Лукьянович Грабовский[42] и Александр Иванович Морозов[43] преподавали оба в двух старших классах. Штатным смотрителем был Петр Васильевич Соколовский[44].

Не знаю, где получил образование последний. Грабовский же кончил курс в харьковском университете, а Морозов — в воронежской семинарии. Все они люди были почтенные и по развитию стояли гораздо выше своего положения. Одна необходимость могла приковать их к неблагодарному учительскому поприщу в провинциальной глуши. Морозову, впрочем, как более молодому, удалось впоследствии лучше устроить свою судьбу. Соколовский держал пансионеров. Кроме того, он хорошо знал французский язык и занимался частным преподаванием его, что помогало ему жить с семейством довольно прилично. Он, между прочим, составил и издал грамматику французского языка[45]. Это был очень добрый старик, немного вспыльчивый и потому готовый, в порыве гнева, обругать школьника. Но он мгновенно смягчался и не был способен ни на какую последовательную строгость.

Грабовский тоже занимался частными уроками французского языка, с которого перевел какую-то книгу[46].

Морозов был гораздо моложе своих товарищей. Он писал стихи, одевался по последней провинциальной моде и щеголял тонким обращением. Отец его, благочинный протоиерей в одной из богатых малороссийских слобод, мог, до известной степени, оказывать поддержку сыну, который, благодаря тому, жил довольно сносно. Но Морозов, видимо, тяготился ролью учителя в уездном училище и только ждал случая променять ее на что-нибудь более производительное, имея на то полное право по своим способностям. Испытав потом службу в других ведомствах, он, однако, опять вернулся к учебной деятельности.

Я в то время уже успел несколько пробиться в жизни и мог, в свою очередь, оказать ему содействие. Находясь в дружеских отношениях с тогдашним попечителем Одесского округа, [Д.М.] Княжевичем[47], я мог ходатайствовать за моего бывшего наставника, и Морозов был назначен инспектором в одну из гимназий этого округа. То было слабою данью признательности человеку, выказавшему самое бескорыстное участие к бедному школьнику,

не имевшему на то никаких прав, кроме разве полной беспомощности, которая в глазах людей великодушных является лучшим правом на их внимание. Так и Морозова, должно быть, привлекала ко мне моя более чем скромная доля. Мои успехи, очевидно, были ему приятны, а когда ему случайно попалось в руки одно мое стихотворение — я около этого времени начал кропать стихи! — он окончательно заинтересовался мною. Стихотворение — какое-то сентиментальное обращение к природе — само по себе, конечно, не представляло ничего, кроме свидетельства о добрых намерениях одиннадцатилетнего школьника, но этого было достаточно, чтобы побудить Морозова усерднее заняться развитием способностей, которые, ему казалось, он подметил. Он предложил мне безвозмездные уроки у себя на дому — и не грамматики уже, которую преподавал в школе, а, как тогда говорили, пиитики: без полного курса этой мудреной науки поэтическое творчество считалось немыслимым в те времена.

Вот я по два раза в неделю и начал ходить к Александру Ивановичу Морозову. Но занятия наши пиитикой недолго продолжались: я оказался решительно не способным усвоить себе правильный стихотворный размер. У меня не хватало для этого слуха. Отец мой, сам хороший музыкант, во что бы то ни стало хотел и во мне развить вкус к музыке, но вышеупомянутый недостаток и тут явился непреодолимым препятствием.

Однако в первый год моего пребывания в Воронеже, когда дела отца относительно процветали, так что он мог позволить себе эту роскошь, он взял мне учителя музыки. Сначала я храбро принялся за дело и брал уроки на скрипке и на фортепиано. Но, Боже мой, сколько мук причинили мне эти два инструмента! А учитель мой, как говорили, отличный музыкант и добрый человек, был, однако, очень нетерпелив. Беда, бывало, взять не ту ноту, какую следует, или перемешать бемоль с диезом: а я только это и делал! Скрипка была любимым инструментом моего учителя, и потому мне всего больше за нее доставалось. Смычок негодующего маэстро беспрестанно отрывался от струн инструмента и с яростью выделывал трели по моим пальцам, с которых по этому случаю не сходили синяки.

Между тем я очень любил музыку, но она, очевидно, не любила меня. В конце концов я все-таки выучился с грехом пополам пиликать несколько экосезов, вальсов и песенок, но дальше не пошел, тем более что по изменившимся обстоятельствам отец не мог дольше платить за мои уроки.

Я с радостью продал скрипку, а вырученные деньги тут же промотал — на изюм, финики, инжир...

То же самое повторилось со мной и при изучении гармонии слова. Я никак не мог разобраться во всех этих ямбах, хореях, спондеях. Наконец и Морозов в том убедился, но рвение его не остыло. Он меня ободрял, говоря, что и в прозе можно быть поэтом, и засадил меня за риторику.

Тут дело пошло лучше. Я без устали марал бумагу, а мой наставник с невозмутимым терпением критиковал и обсуждал мои «сочинения». Сколько и каких «хрий» вышло за это время из-под моего пера! На каких только «источниках изобретения» не подвизался я! Впрочем, Морозов не особенно стеснял и мою собственнуно мысль, но главным образом следил за логической связью и грамматическою правильностью моих детских изложений.

Но время шло своим чередом, и курс моего учения в Воронежском уездном училище близился к концу. Двадцать пятого июня, кажется, 1815 года состоялся выпускной экзамен. Я в качестве первого ученика произнес с кафедры две речи: одну, по-немецки, «О честности», другую, по-русски, на тему известного тогда сочинения Львова[48] «Храм славы Российских героев».

Мне выдали аттестат и похвальный лист[49]. Я удостоился получить их из рук самого епископа воронежского и черкасского Антония[50]. Преосвященный меня обласкал, погладил по голове, благословил и, вручая документ, с улыбкой проговорил: «Умный мальчик! Продолжай хорошо учиться и благонравно вести себя: будешь человеком».

Кстати, об Антонии. Он в свое время играл видную роль в нашем краю. Во цвете сил, лет сорока с небольшим, он был в полном смысле слова красавец и слыл за большого остряка и умника, но нравами отличался далеко не пастырскими. Он любил свет, был мягок в обращении и очень любезен в обществе, особенно дамском... Но так как он был со всеми обходителен и никому не делал зла, в городе смотрели сквозь пальцы на некоторые его поступки... Только под конец своего пребывания в Воронеже он совершил дурное дело, чем и восстановил против себя общественное мнение: он в одном из подведомственных ему городов отрешил от должности всеми уважаемого благочинного и заменил его собственным беспутным братом. Но об этом речь впереди.

С тех пор Антонию не повезло. Его перевели в другую епархию, но там с ним скоро сделался удар. Здоровье его пошатнулось, он удалился в какой-то монастырь, где и оставался до конца.

Помню я около этого времени еще другое духовное лицо, такого же точно пошиба, — архимандрита Акатовского Алексеевского монастыря, Мефодия, ближайшего сподвижника Антония как в управлении духовными делами, так и в светских похождениях... Не знаю, чем кончил Мефодий[51]. Мои личные сношения с ним ограничились одним свиданием в знакомом доме. Он увещевал меня строго держаться благочестия и всего усерднее изучать латинский и греческий языки. Увещания отца-архимандрита, конечно, были бы несравненно убедительнее, если бы от него не несло, как от бочки, вином.

Мне было всего тринадцать лет, когда я кончил курс в уездном училище. Не без горя расстался я с товарищами, но всего больше скорбел о невозможности присоединиться к тем из них, которые готовились поступить в гимназию. Двери ее были неумолимо закрыты для меня.

Тут мне впервые пришлось ясно сознать, какое проклятие тяготело надо мной в силу моего общественного положения, которое позднее причиняло мне столько мук и чуть не довело до самоубийства.

Мои учителя, Грабовский и Морозов, глубоко сочувствовали мне и в заключение придумали способ мне помочь, который — не знаю, к чему привел бы меня — но для них мог бы иметь крайне печальные последствия.

Все мальчики были уже распущены, кто на каникулы, кто чтобы больше не возвращаться в училище. Я еще оставался в Воронеже, выжидая оказии для более дешевого проезда домой. Нелегко было у меня на сердце! Вдруг получаю от Грабовского письмо. Он меня уведомлял, что сообща с другими членами училища придумал меру, которая могла открыть мне доступ в гимназию.

В чем же состояла эта мера? А в том, чтоб в аттестате, выданном мне из училища, вовсе не выставлять моего звания, а в ведомости, которую вслед затем надлежало представить директору гимназии, назвать меня сыном коллежского регистратора, — одним словом, они, в порыве великодушия, решались прибегнуть к подлогу! Грабовский убеждал меня, не теряя времени, явиться к директору. Добрые люди! В простодушии своем они даже не подумали приготовить себе на всякий случай лазейку, но с головой выдавали себя в письме к мальчику, который легко мог или проговориться по неопытности, или по неосторожности потерять опасный документ. К счастью, несмотря на мои тринадцать лет, я инстинктивно понял необходимость молчания в данном случае и положил во всем открыться только отцу.

XI. Новые удары судьбы

Под конец моего пребывания в училище я смутно слышал, что отца постигли новые невзгоды. В письмах он мне о том ничего не писал, но я знал, что он больше не в Писаревке, а проживает в казенном имении Богучарского уезда, Данцевке.

Еще в училище имел я случай лишний раз убедиться, как вообще непрочна и незавидна была участь моего отца. Случилось у него какое-то дело в Воронеже. Он приехал туда для личных объяснений с губернатором[52] или, вернее, с сенатором Хитрово[53], в то время ревизовавшим губернию. Что произошло у него с тем или с другим — не знаю. Слышал только потом, что он крупно поговорил с первым. Отец был горяч и, несмотря на предыдущие опыты, все еще верил, что закон должен быть на стороне того, кто перед ним чист, и вообще не стеснялся в защите своих прав перед властями. Он не хотел понять, что жил в стране бюрократического произвола и что такому бедняку, как он, неприлично опираться на право там, где его в сущности никто не имел, а он меньше всех.

Как бы то ни было, губернатор разгневался и велел посадить отца в тюрьму — под предлогом, что он явился в Воронеж без узаконенного вида, хотя в

последнем не было надобности, так как жительство моих родителей было в той же губернии.

Помню, в какой трепет повергло меня появление на квартире, где я стоял, солдата, посланного за мной отцом, из тюрьмы. Со стесненным сердцем последовал я за ним и нашел моего честного, благородного отца, заключенным в одном тюремном отделении с ворами, мошенниками и всякого рода плутами.

Отец не любил нежностей и не допускал в семье никаких сердечных излияний. Я молча сел в углу на нарах, возле одного рыжего мужика, но в заключение не выдержал и горько заплакал. Мои слезы тронули находившуюся тут же и женщину, и она, с простодушным участием, начала меня утешать.

«Не плачь, голубчик, — говорила она, — не плачь, касатик! Ты маленький, все пройдет».

Повыше на нарах сидел и что-то про себя бормотал старик с седой бородой. Это был грузинский священник, привезенный сюда из Тифлиса за участие в каком-то восстании или заговоре. Он раздражительно, на ломаном языке, увещевал меня не плакать, уверяя, что все пустяки и нам с отцом нечего сокрушаться.

Все это происходило в темном, грязном, вонючем помещении. Отцу, с его слабым здоровьем, нельзя было без вреда долго оставаться здесь. Он дал мне рубль и велел идти к квартальному, просить о переводе в помещение, где содержались «благородные».

В детстве один вид полицейского мундира повергал меня в уныние. Я видел в нем что-то зловещее и при встрече на улице с будочником или квартальным всегда преисправно от них улепетывал. Можно себе представить, с каким страхом направился я теперь с поручением отца к одному из этих блюстителей порядка, которые в те, к счастью, ныне отдаленные, времена были на самом деле гораздо больше представителями произвола и насилия.

Но на этот раз страх мой оказался напрасным: квартальный взял рубль и обещался исполнить мою просьбу. Отец скоро потом очутился в довольно светлой и опрятной комнате, в обществе одного только заключенного — чиновника губернского правления, обвинявшегося в похищении какого-то дела. Там было даже подобие кровати, на которой и расположился мой отец.

Я навещал его каждый день. Прошло около недели. Он откомандировал меня с новым поручением — на этот раз к сенатору Хитрово, которому я должен был лично передать письмо.

Опять разыгралось мое воображение и стало рисовать ряд страшных картин: сенатор на меня кричит, топает ногами, приказывает слугам гнать, и в заключение — меня тоже упрятывает в тюрьму... Ведь все возможно с таким маленьким, ничтожным существом, как я!

Не идти нельзя было. Я вооружился мужеством и пошел. Вхожу к сенатору в прихожую, там квартальный, и не тот, с которым я уже отчасти был

знаком. Я невольно попятился назад. Но и квартальные не все на один лад. Этот — как я после узнал, сам отец многочисленного семейства — тронулся моим жалким, испуганным видом. Он поспешил меня ободрить, мне улыбнулся, погладил по голове; а когда дошла до меня очередь идти к сенатору в кабинет, разом прекратил мои колебания, ловко втолкнув меня в дверь.

Сенатор прочитал письмо отца и угрюмо проговорил:

— Пусть его отвечает, как знает.

Только и было. Немного понял я из этих слов, да и отец тоже. Однако, дней десять спустя, губернатор приказал отослать его обратно в Богучары — все-таки как произвольно отлучившегося без вида, но дальнейших неприятностей не делал.

Пора, однако, объяснить, как состоялось переселение отца моего из Писаревки в Данцевку и что было причиной бедственного положения, в котором я, по выходе из училища, застал мою семью.

Марья Федоровна Бедряга недолго помнила свою клятву перед церковью — вечно помнить об услугах, ей оказанных моим отцом. Властолюбивая барыня не могла выносить, чтобы кто-нибудь из окружавших ее действовал самостоятельно, хотя бы то в ее собственных интересах. Ее терзала мысль, что управляющий ее держит себя слишком независимо, мало угождает ей.

Отец мой, со своей стороны, не отличался уступчивостью, особенно в тех случаях, когда был уверен в своей правоте или считал замешанною свою честь. Он взялся устроить Писаревку под условием, чтобы помещица, так запутавшая свои дела, вперед ни во что не вмешивалась. Результат оправдал его претензии. Доходы Марьи Федоровны удвоились, крестьяне оправились; главная причина упадка имения — злоупотребления — были в значительной степени устранены.

Окружавшие Марью Федоровну паразиты, бессовестно эксплуатировавшие ее дурные наклонности, само собой разумеется, не могли помириться с новым порядком вещей и не упускали случая восстановлять помещицу против верного и бескорыстного слуги.

Особенно отличалась при этом еврейка Федосья, большая плутовка, о которой мы уже упоминали выше. Отец, по своей горячности, не всегда бывал воздержан в объяснениях с Марьей Федоровной. Федосья не преминула воспользоваться этим для своих наушничеств. Помещица все нетерпеливее и нетерпеливее относилась к второстепенной роли, выпавшей ей на долю в силу обстоятельств и собственной распущенности. Чаще и чаще выражала она свое неудовольствие и заявляла неисполнимые требования.

Отец долго крепился, наконец, не выдержал и порешил лучше отказаться от выгодного места, чем дольше терпеть своеволие г-жи Бедряги и быть предметом облавы со стороны ее клевретов. В один прекрасный день он предстал пред Марьей Федоровной, вооруженный толстой тетрадью, и повел та-

кую речь: «Вот отчет за все время моего управления вашим имением. С этих пор я вам больше не слуга. Прошу уволить меня и выдать еще следующее мне жалованье».

Марья Федоровна озадачилась. Нужда в моем отце еще не совсем миновала, и она попыталась еще раз войти с ним в компромисс: устроить дело так, чтобы и он остался, и ее желания были удовлетворены. Но отец уже слишком хорошо знал, как мало можно было полагаться на обещания своенравной барыни. Он стоял на своем и требовал увольнения. Помещица, со своей стороны, настаивала. Отец уже с раздражением подтвердил свое окончательное решение с нею расстаться и, не слушая дальнейших возражений, вышел из комнаты. Марья Федоровна рассвирепела и положила отмстить непокорному.

На следующее утро все в доме отца еще спали. Вдруг его будят: «Вставайте, говорят, посмотрите, что делается на дворе!»

Встревоженный отец вышел в сени: дом был кругом оцеплен крестьянами. Вся семья находилась под караулом.

Зная характер Марьи Федоровны, отец не сомневался, что, раз прибегнув к насилию, она уже не уступит. Положение было затруднительное. Где искать защиты? В ее владениях — немыслимо, а как выбраться из них? У всех выходов стояли сторожа. К счастью, последние были из крестьян, преданных отцу и ненавидевших помещицу: они помогли ему убежать. Огородами и садами пробрался он в Заярскую Писаревку и приютился у друга своего, Григория Федоровича Татарчукова.

На воле отец обратился к надлежащим властям с просьбой освободить семью его, а виновницу вопиющего насилия призвать к ответу. Это было началом тяжбы, которая наделала шуму на всю губернию и была источником нескончаемых тревог для отца, но немало беспокойств причинила и его противнице. Она сама потом признавалась, что с этих пор все дни ее были отравлены ожиданием неприятных бумаг и необходимостью на них отписываться.

Странная эта была тяжба! С одной стороны: владелица двух тысяч душ, сильная богатством, связями, воплощенная спесь и произвол, с верным расчетом на успех, с другой: человек без общественного положения и связанных с ним преимуществ, опиравшийся только на свою правоту, и до того бедный, что часто не имел на что купить лист гербовой бумаги для подания в суд жалобы или прошения. Зато настойчивость была с обеих сторон одинаковая.

Надо было все знание законов моего отца и все его уменье писать деловые бумаги, чтоб не сделаться немедленно жертвою своей дерзости, а, напротив, долго и не без своего рода успеха вести тяжбу при столь неравных условиях. Правосудие, всегда готовое в те времена склоняться в пользу сильного, на этот раз нерешительно колебалось. Сами судьи недоумевали, почему дело не устраивается по желанию богатой и именитой барыни, но ничего не могли сделать, и только до бесконечности затягивали его. По смерти отца я много

раз слышал от чиновников гражданской палаты, что всякое поступавшее к ним от истца прошение, всякая объяснительная записка его производили между ними сенсацию: они собирались в кружок и читали их вслух, восхищаясь диалектическою ловкостью и ясностью изложения. И все-таки отец умер, не дождавшись конца тяжбы.

Уже много лет спустя — я был тогда в Петербурге — матери моей, наконец, вернули задержанное Бедрягой имущество, потом хранившееся в суде. Сундуки оказались все по счету, но в них нашлось только какое-то отрепье да кипы отцовских бумаг: остальное исчезло бесследно.

В начале тяжбы Марье Федоровне, по настоянию отца, был сделан запрос: на каком основании задерживает она его семью и имущество? Ответ был достойный госпожи Бедряги. Такой-то, писала она в ответе, состоя у нее на службе управляющим, разорил ее имение, а вещи, которые она теперь задерживает, куплены им на ее деньги. Доказательств у нее, конечно, никаких не потребовали: ей поверили на слово, и жалобу отца на первых порах оставили без последствий. Тогда он обратился к губернатору и добился, что ему, наконец, вернули хоть семью.

Соединясь с женою и детьми, отец мой поселился в малороссийском хуторе Данцевке, верстах в двадцати от Богучара, где производилось его дело.

Тут опять возникал жгучий вопрос: чем жить? Мои родители остались, как после пожара, без вещей первой необходимости. Отец, без сомнения, легко мог бы найти занятия, но он пока был слишком поглощен тяжбой. Последняя, между тем, затягивалась и принимала грандиозные размеры. Отец, по обыкновению увлекаясь, требовал не только возвращения своей собственности и вознаграждения за понесенные убытки, но еще и поступления по закону с помещицей за ее самоуправство. На первых порах ему помог Григорий Федорович Татарчуков, и потом нередко оказывавший ему разные крупные и мелкие услуги.

Так прошло несколько месяцев. Отца пригласили в одну из донских станиц приводить там в порядок какие-то дела. Вознаграждение предлагалось порядочное. Он согласился, оставил семью в Данцевке и поехал. Но проведала об этом Марья Федоровна и подняла тревогу. Ложь и клевета всегда были у ней наготове. Она, через богучарский суд, снеслась с начальством станицы, куда отправился отец, и заявила, что он, находясь под следствием, не имел права отлучаться от места своего жительства: он должен быть задержан и посажен в тюрьму. Начальство станицы, не разбирая дела, с точностью исполнило требование богучарского суда. Таким образом, мой бедный отец, вызванный для честного и полезного дела, вместо того опять очутился в тюрьме.

Вот в каком положения застал я, по возвращении из Воронежа, наши семейные дела. Мать сильно изменилась: постарела и похудела. Радость свидания со мной была отравлена для нее разлукой с мужем, от которого к тому же

давно не было известий. Она с детьми занимала две крошечные, но опрятные светелки в хате одного зажиточного малороссиянина; добряк Гаврилыч уже несколько месяцев держал ее у себя бесплатно.

Но если, как говорят, одно горе всегда ведет за собой другое, тоже надо сказать и о радостях. Мой приезд оказался счастливым предвестником их. Тем не менее еще утро этого дня прошло очень печально для моей матери. Оно ознаменовалось событием, в сущности пустым, но которое произвело на нее сильное впечатление.

В хлопотах по хозяйству мать вдруг заметила, что с пальца ее исчезло золотое обручальное кольцо. Очевидно, оно соскользнуло с ее исхудалой руки в то время, как она убирала комнаты, таскала дрова и, погруженная в печальные мысли, не заметила потери. Несчастные суеверны. Мать сочла утрату обручального кольца за дурное предзнаменование и впала в уныние. В тоске перерыла она весь свой скарб, перешарила во всех углах: кольца нигде не было.

Оставалось осмотреть еще одно только место — сарай, набитый соломою, откуда мать недавно брала ее для растопки печи. Но надежда отыскать в кучах соломы такую вещицу, как кольцо, которое к тому же и цветом походило на нее, казалась просто несбыточною. Однако мать пошла в сарай. Дорогой она мысленно порешила: если кольцо найдется, это будет значить, что отец жив и на пути домой, в противном случае — его уже нет в живых.

С трепетом перешагнула она порог сарая и долго не решалась поднять глаз, наконец, с замирающим сердцем взглянула на угол, откуда брала солому: там торчала к верху длинная соломинка, а на ней висело кольцо! Мать вскрикнула, перекрестилась и осыпала его поцелуями. На душе просветлело; мрачных мыслей как не бывало.

Прошло несколько часов. Смерклось. У ворот хаты движение, двери распахиваются — и на пороге отец, бодрый, веселый, нагруженный гостинцами и с небольшими деньгами в кармане.

На другой день у нас был пир горой: праздновалось его и мое возвращение. Давно уже никто из нас не хлебал такого борща с бараниной и не ел таких вареников, какими нас на радостях угостила мать. За обедом, к вящей радости для нас, детей, последовал еще и десерт из привезенного отцом чернослива и изюма. И радость нашу, и обильную на этот раз трапезу усердно разделяли с нами наши добрые хозяева — Гаврилыч, его жена и миловидная дочка, ясные карие очи которой не замедлили пленить меня.

Но каким образом отец мой был вдруг перенесен из тюрьмы в среду своей семьи, да еще в очевидно к лучшему изменившихся обстоятельствах? Вся жизнь человеческая соткана из случайностей. Враждебная случайность натолкнула его на помещицу Бедрягу и на богучарских судей, которые засадили его в тюрьму. Добрая случайность свела его с казацким полковником Поповым, который вывел его из беды.

Полковник Попов был лицо властное в станице, где содержался под арестом мой отец. Он дал себе труд разобрать его дело и в заключение не только велел освободить отца, но еще приютил его у себя, поручил ему привести в порядок свое имение и, с избытком вознаградив его, отпустил с миром восвояси.

Наконец, мы свободно вздохнули. Около двух месяцев после того провели мы мирно, спокойно, даже беззаботно. Данцевка не представляла особенных красот природы. Но весь тот край принадлежит к числу самых плодородных в России. Климат там теплый, и жизнь, по крайней мере тогда, была очень дешева. Отборные плоды: вишни, яблоки, груши, дыни, арбузы покупались за бесценок. Хутор Данцевка состоял из пятидесяти хат, беленьких, чистеньких, тонущих в зелени вишневых садов. Местечко раскидывалось по берегу реки Богучара. Теперь, я слышал, оно очень разрослось и превратилось в богатую слободу с каменной церковью. Но в наше время хутор принадлежал к приходу слободы Твердохлебовки, находившейся в шести верстах от Богучара, чуть ли не самого жалкого из всех уездных городов России.

Данцевские жители были казенные малороссияне, или, так называемые войсковые обыватели. Они в полной чистоте сохраняли малороссийский тип и, сравнительно с помещичьими крестьянами, благоденствовали. Но зато они пребывали в полном невежестве. У них не было школ. «Письменные люди» почитались между ними за редкость. Не проникли к ним никакие затеи новейшей цивилизации. Они отличались непочатою простотою и чистотою нравов. О ворах и пьяницах там знали только понаслышке. Ссоры и драки, если и происходили, о них стыдились говорить. К сожалению, выходит, что человек, цивилизуясь, по мере приобретения новых качеств теряет те, которыми обладал перед тем, и заражается пороками, о которых до того не имел понятия. Закон человеческого развития, очевидно, совершается не по какому-нибудь установленному плану, для достижения одного определенного результата, а следует неизбежному ходу вещей, в силу которого все, находящееся в человеке, должно в свое время проявляться и достигнуть известного развития — предстоит ли ему всегда затем бесследно исчезнуть или слиться в общую гармонию, для ее большей полноты и совершенства.

Нам хорошо и привольно жилось среди простодушных данцевцев. Они недолго смотрели на нас, как на пришлых, но радушно приняли в свою среду и любовно относились к моим родителям. А наш добрый хозяин, Гаврилыч, одаренный большим практическим смыслом, сумел оценить отца даже со стороны ума.

Отдохнув, отец стал подумывать, что со мной делать. Ему очень хотелось, чтобы я продолжал учиться. Я вполне разделял его желание и показал ему письмо Грабовского. Хорошо знакомый с законами и с административными порядками у нас, он, конечно, понял, на каком шатком основании хотели мои добрые учителя воздвигнуть здание моего будущего образования. Понял

он также, чем грозило бы им разоблачение их великодушного подлога, и наотрез отказался от их предложения.

Но мои успехи в уездном училище внушили ему несбыточные надежды на то, что для меня будет сделано исключение и что я так или иначе непременно поступлю в гимназию. Он до того увлекся этой фантастической мечтой, что даже забыл о материальной невозможности содержать меня в Воронеже. Перед ним мелькнул светлый мираж, и он кинулся к нему навстречу, забыв по обыкновению, как дорого обходилось ему всегда пробуждение к действительности.

Как бы то ни было, меня опять снарядили, нашли оказию и отправили в Воронеж.

XII. Мое воронежское сиденье

В Воронеже я явился на старую квартиру, без денег, с письмом от отца, который просил хозяина принять меня и обещался в непродолжительном времени выплатить ему все, что будет стоить мое содержание. Калина Давидович Клещарев, было, нахмурился, но, добрый и доверчивый, согласился пока отвести мне угол для кровати и сажать меня за свой стол.

Определение мое в гимназию, как и следовало ожидать, не состоялось. Робость удерживала меня от посещения директора просителем, да еще в таком платье, в котором, по пословице, всегда дурно принимают. Обычай требовал также, чтобы к директору явиться не с пустыми руками, а чем мог я их наполнить? Итак, я день ото дня откладывал мое посещение к нему. А тут еще узнал стороной, что кто-то из моих доброжелателей уже делал, помимо меня, попытку у директора и потерпел неудачу. Я окончательно упал духом.

С тоскою смотрел я на мальчиков, моих прежних товарищей, теперь гимназистов, гордо шествующих в гимназию, с новенькими книжками под мышкой. Они казались мне до того взысканными судьбой, что принимали в моих глазах размеры высших существ, а небольшой желтый дом на Дворянской улице[54], где помещалась гимназия, представлялся мне дворцом с плотно закрытыми для меня одного дверями.

Я сидел дома в углу, перебирал школьные тетрадки и по-прежнему с жадностью читал все печатное, что мог добыть. В книгах у меня не было недостатка. Меня ими снабжал новый друг, который у меня здесь завелся. Это был зять моего хозяина, учитель музыки, Михаил Григорьевич Ахтырский[55].

Маленький, тощенький, с желтым лицом человечек, он бурно провел молодость, но, женясь, остепенился. Его невзрачная фигура давала превратное понятие об его уме и образовании: и то, и другое было у него недюжинное. Кроме того, он пользовался в Воронеже репутацией отличного учителя музыки, и сам хорошо играл на скрипке и на фортепиано.

Обладатель нескольких сундуков с книгами, он имел особенно притягательную для меня силу — тем более, что заинтересованный моей любознательностью, предоставлял мне беспрепятственно рыться в них. Вообще он принимал большое во мне участие и, по мере сил и возможности, помогал коротать время выжидания каких-то фантастических перемен в моей доле. Часто заглядывал он в мой угол, садился на кровать и, покуривая трубку, с которой никогда не расставался, подолгу разговаривал со мной.

Жена его, дочь Клещарева, Наталья Калинична, тоже с довольно обыкновенною наружностью, соединяла ум и пристрастие к книгам. Она много перечитала их — преимущественно романов — и, вероятно, этому чтению была обязана своего рода утонченностью и развитием. Довольно сказать, что она сумела привязать к себе, сильно и прочно, человека с неугомонным характером — Ахтырского, на которого до конца имела благотворное влияние.

Почти всегда серьезная, она держалась в стороне и даже несколько брезгливо от женщин своего круга, предпочитая всем общество мужа. Другую могла бы сбить с толку масса прочитанных романов; но она безнаказанно вкусила их отравы. Новое доказательство тому, что главная роль в нашем нравственном и умственном развитии принадлежит той закваске, какую в нас закладывает природа. Влияние внешних условий — второстепенное и в подчинении у наших природных способностей и влечений.

Проходили дни, недели, месяцы: мое положение не изменялось. Я все оставался брошенным на произвол самому себе и случаю. От отца уже давно не получалось писем. Я знал только, что он из Данцевки, и вообще из Богучарского уезда, переселился в Острогожск. Хозяин, видимо, затруднялся дольше держать меня без платы. Одежда моя износилась, сапоги отказывались служить. Приходилось окончательно расстаться со сладкой мечтой о гимназии и ехать домой.

Но как проехать около ста верст зимой, без денег, без обуви и без шубы? Меня выручил Ахтырский. Достал он мне старенький овечий тулупчик, валенки, круглую меховую шапчонку и подарил пять с полтиною денег. Я за то оставил ему в распоряжение мою постель.

Вооруженный таким образом, я мог уже смело сбираться в путь. Оставалось приискать возницу, но и тот скоро нашелся. В Острогожск ехал крестьянин, который за два рубля с полтиной согласился и меня туда свезти.

XIII. Острогожск. Начало моей гражданской и самостоятельной деятельности

Был 1816 год. Острогожск, составлявший прежде часть Слободско-Украинской губернии, теперь принадлежал к Воронежской. Обширный уезд его был почти сплошь населен малороссиянами, переведенными сюда в цар-

ствование Алексея Михайловича для защиты южных окраин от вторжения татар. Лишь небольшое число русских ютилось кое-где по реке Сосне, образуя несколько мелких селений. Жителей в городе считалось до десяти тысяч, тоже малороссиян, за исключением, впрочем, купечества, которое состояло большею частью из русских.

Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих верст от столиц, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской Империи.

И материальный, и умственный уровень его стоял неизмеримо выше не только большинства уездных, но и многих губернских городов. В нем процветала заводская промышленность. Он торговал овцами, соленым мясом, салом. Купечество ворочало большими капиталами. В пригородных слободах указывали на войсковых обывателей, например, Ларионовых, Головченко, которые тоже занимались торговлей и имели в обороте полумиллионные капиталы.

Большинство зажиточных помещиков этого уезда проводило часть года в городе, где имело дома. Они, как и все острогожское дворянство, были одушевлены особым корпоративным духом и радели о чести своего сословия. Оттого образ действий их отличался достоинством, мало известным в те времена развращающего крепостничества.

О взяточничестве между ними и помину не было. Служившие по выборам были истинными и нелицеприятными слугами общества. Во главе местной аристократии стояли люди, известные не одною родовитостью, но и полезной деятельностью, например: Должиковы, Сафоновы[56], Станкевичи[57], Томилины[58] и т.д.

Понятно, что при гуманных стремлениях и просвещенных взглядах помещиков и крестьянам по деревням жилось здесь легче, чем где-либо. Землевладельцы не истощали их барщиной и оброками, обращались с ними человечно. А крестьяне, сытые и довольные своей долей, охотно несли свои тягости и тем, в свою очередь, содействовали благосостоянию господ. В этом уравновешенном, взаимном воздействии друг на друга двух основных классов общества, земледельческого и помещичьего, должно полагать, и крылось зерно экономического благосостояния уезда.

Не так легко указать источник широты умственного кругозора, в котором вращались образованнейшие из жителей Острогожска, недаром прозывавшегося в краю Воронежскими Афинами. Они витали в сферах, казалось бы, мало доступных для медвежьего угла, в который их забросила судьба. Их занимали вопросы литературные, политические и общественные. Они препирались не за одни личные интересы, но и за принципы. В них проглядывали стремление к свободе и сознательный протест против гнета тогда всемогущего бюрократизма.

У многих, даже купцов и мещан, были коллекции книг серьезного содержания, например: «Юридические сочинения» Юсти, «Конституция Англии» Делольма[59], «Персидские письма» Монтескье и его же «Дух законов» в переводе Языкова[60], «О преступлении и наказании» Беккарии[61], сочинения Вольтера на русском языке, которых теперь не сыщешь ни в одной книжной лавке. Усердно читалась, между прочим, и газета «Московские Ведомости» — чуть ли не единственная в то время известная в провинции. В обществе толковали о науке, искусствах, обсуждали вопросы внешней и внутренней политики. Иные до того увлекались либеральным веянием, что даже восхищались представительными формами правления.

Слывя самым образованным городом в краю, Острогожск зато не пользовался расположением губернских властей, у которых был, как бельмо на глазу. Хищничество их нигде не встречало такого упорного протеста, как там. Все столкновения с ними, конечно, всегда оканчивались их же торжеством, то есть приносили им в карманы более или менее крупные взятки, но это всегда стоило им немало нравственных унижений, которых они потом не могли забыть.

Тяжелым бременем для края было скоро потом введенное туда генерал-губернаторство[62], с [А.Д.] Балашовым* во главе. В ведение последнего было назначено пять губерний: Воронежская, Рязанская, Тамбовскя, Тверская и, кажется, Харьковская**. Центр управления находился в Рязани.

С какою целью было создано это управление, трудно определить — разве для того только, чтобы дать приличный пост удаленному от двора сановнику. Имя Балашова является в истории нашей администрации в числе имен и деятелей двенадцатого года. Может быть, у него и были какие-нибудь заслуги и право на оказанный ему почет, мы не беремся решать. Но нам слишком хорошо известна память, оставленная им по себе во вверенных его управлению губерниях, где он распоряжался не хуже любого паши. Может быть, сам он и не брал взяток, и даже не знал о всех проделках своих подчиненных, но канцелярия его и агенты с неудержимой жадностью предавались взяточничеству. Уезды и прежде платили порядочную дань Воронежу, теперь им приходилось удовлетворять еще и Рязань.

Гнет балашовский всего меньше ложился на чиновников, которых, пожалуй, и не лишнее было бы поприжать, чтобы они меньше прижимали других. Больше всего тягостей выпадало на городских обывателей. Их беспрестанно облагали новыми налогами, шедшими будто бы «на украшение сел и городов». Иногда и на самом деле кое-что делалось с этой целью, но только для глаз, и в таких случаях обыкновенно подгонялось ко времени приезда какого-нибудь

---

* Перед тем — министр полиции.

** Вместо последних двух губерний входили Тульская и Орловская.

важного лица. Но что крылось за этим наружным «благолепием» — о том никто не заботился.

Получалось, например, известие, что вот тогда-то по такому-то тракту должна проехать высокая особа. Там мост едва держался. Чинить его сгонялись целые села. Мост воздвигался на славу. Особа проезжала и хвалила, а мост, вслед за оказанною ему честью, немедленно проваливался.

После войны двенадцатого года у наших администраторов явилась мания подражать немецким порядкам — конечно, только с внешней стороны тоже. Так, например, большие почтовые тракты стали у нас, по примеру германских дорог, обсаживаться деревьями. Но тем, которым приходилось ездить по проселкам, по-прежнему предоставлялось тонуть в грязи и ломать себе шеи и экипажи. Пустыри в городах обносились красивыми заборами, с обозначением номеров будто бы строящихся домов, которых некому и не на что было строить.

Сам Балашов то и дело разъезжал по своему вилайету — виноват, по своим губерниям. В Петербурге это, должно быть, принималось за доказательство его деятельности и ревностного и полезного служения... За что принимали это подвластные ему губернии — другой вопрос. При въезде в ревизуемый город его первой задачей было задать как можно больше страху. Особенно доставалось городскому голове: ему приходилось отвечать за то, что в городе не было тротуаров, мостовых, каменных гостиных дворов, дерев вдоль улиц — одним словом, всего того, чем генерал-губернатор любовался за границей. Покривившиеся лачуги с заклеенными бумагой окнами, камышовые и соломенные крыши на деревянных строениях, немощеные улицы — все это оскорбляло в нем чувство изящного. Он не давал себе труда вникать в причины таких явлений, но с бюрократическою сухостью относил их к разряду беспорядков, устранимых полицейскими мерами. Что у города нет средств, что обыватели чуть не умирают с голоду — все это такие мелочи, о которых высокому сановнику было невдомек.

Уезжая, он отдавал полиции строгий приказ все исправить к его следующему приезду, то есть воздвигнуть тротуары, каменные рынки и т.д. Городской голова почесывал затылок, городничий покрикивал на десятских, те сновали по домам, понуждая жителей озаботиться украшением города. Но проходило несколько недель, все успокаивалось и оставалось по-старому. Теперь ничто подобное невозможно, но о Балашове помнят все губернии, где он властвовал со своей знаменитой канцелярией.

Говоря об острогожском обществе, нельзя обойти молчанием его духовенство. В мое время оно там поистине стояло на высоте своего призвания. В городе считалось восемь каменных церквей. Соборная, красивой архитектуры, хвалилась хорошими образами работы известных академиков. Причты церковные пользовались приличным содержанием, что позволяло им держать себя с достоинством.

Из священников особенно выдавались отцы: Симеон Сцепинский[63], Михаил Подзорский[64], Петр Лебединский[65]... Первые два значительно превышали обычный уровень у нас духовенства и могли бы занять почетное место в каком угодно образованном обществе. Оба, между прочим, обладали редким даром слова. Проповеди их, особенно Подзорского, привлекали массу слушателей. В приемах их при отправлении треб и при богослужении вообще не было ничего семинарского. Оба к тому же имели привлекательную наружность. Фигура Сцепинского поражала благородством, даже величием. Лицо его, с крупным римским носом, дышало умом, а манеры — приветливостью. Никогда и после не встречал я духовного лица, которое производило бы более выгодное впечатление. Он был не только умен, но и многосторонне образован и начитан, следил за наукой и литературой. Подзорский и в этом от него не отставал.

Сцепинский кончил курс в Петербургской духовной академии, знал М.М. Сперанского[66] и мог бы достигнуть высших духовных степеней, если б согласился, как его склоняли, принять монашество. Но его влекла обратно на родину любовь к ней, а может быть, и какие-нибудь другие юношеские стремления.

В Острогожске Сцепинский скоро достиг первенствующей роли: он был сделан благочинным. Его осыпали почестями и наградами: он имел золотой наперсный крест, камилавку, набедренник и даже — редкое среди белого духовенства отличие — посох. Впоследствии он получил еще орден св. Анны. Казалось, его поняли и оценили. Но дорого заплатил потом бедный отец Симеон за все эти первоначальные успехи.

У епископа воронежского Антония, о котором говорено выше, был брат, Николай[67], тоже священник, но недостойнейший из всех носителей этого сана. Он не был ни плут, ни злой человек, но горький пьяница и вел себя непристойно. Его-то, этого бесчиннейшего из смертных, вздумал Антоний сделать благочинным в Острогожске, спихнув предварительно с места Сцепинского. И таков был в те времена произвол архиерейской власти, что Антоний мог сделать это безнаказанно.

Город, правда, был поражен, протестовал, делал в пользу Сцепинского демонстрации, но это ни к чему не повело. Беспутный Николай Соколов несколько лет оставался благочинным, на соблазн своей паствы и на позор самому себе. О нем ходило много анекдотов, рассказывали выходки, которые показались бы неприличными и в человеке светском. Много шума, между прочим, наделал эпизод с крестьянкой, которая за непрошеные любезности сняла с ноги башмак и отдула им батюшку по щекам.

Отец Николай не один веселился. У него был товарищ, или, вернее, ментор, в лице дьячка Андрюшки. Последний оставался трезв, когда отец Николай напивался, и в таких случаях расправлялся с ним попросту. Если батюшка начинал буянить, он его бесцеремонно укрощал побоями.

Но как могло относительно развитое острогожское общество так долго терпеть среди своего чинного и степенного духовенства этого беспутного гуляку? К сожалению, у нас часто так: погорячатся, пошумят и в заключение ко всему привыкнут. О Симеоне Сцепинском сожалели, даже отваживались ходатайствовать за него, делали отцу Николаю разные каверзы, но в заключение устали сожалеть, перестали возмущаться и уже без злобы продолжали только при случае глумиться над недостойным попом.

Зато на самого Сцепинского нанесенное ему оскорбление произвело неизгладимое впечатление и гибельно отразилось на его здоровье. Лет пятнадцать спустя, когда я был уже в Петербурге, ему, пожалуй, и вернули с избытком все, что перед тем отняли. Антоний умер, Николай был отрешен от должности благочинного, а Сцепинский в ней восстановлен. Но ни сил, ни здоровья ему уже не могли вернуть: он умер пять лет спустя, всего пятидесяти лет от роду.

Острогожск и внешним видом превосходил большинство тогдашних уездных городов. Он, правда, никогда не отличался живописной местностью. Расположенный на слегка возвышенном берегу Тихой Сосны, он окружен болотом, сплошь поросшим тростником. Не знаю, как теперь, но в былое время из него делали полезное употребление: он, за недостатком леса, шел на топливо и на покрышку домов.

Городок с двумя пригородными слободами, Лушковскою[68] и Песками, раскидывался довольно широко. Его прорезывали прямые улицы, обстроенные довольно опрятными деревянными и отчасти каменными домами — у более богатых не без претензий на изящество, в виде более или менее удачных архитектурных затей. По крайней мере, так было до пожара, который в 1822 году истребил две трети города.

Да, в мое время Острогожск, действительно, имел привлекательный вид, но — увы! только в хорошую зимнюю или летнюю пору. Осенью и весной зато этот чистенький, веселенький городок буквально утопал в грязи. Его немощеные улицы становились непроходимыми, среди них, как в месиве, барахтались пешеходы и завязали волы с возами. Немало было у нас толков о сооружении мостовой. По этому поводу даже затеялась переписка с губернскими властями. Дума ассигновала нужные деньги. Переписка тянулась годы, а от денег скоро и след простыл. Город тем временем выгорел, и дело о мостовой кануло в вечность: ее там и по сих пор нет. Да теперь Острогожску и не до мостовой. Он очень обеднел, его умственнный уровень понизился, и он больше ничем не отличается от самых заурядных уездных городов наших.

Невеселое было мое вступление в Острогожск. Я явился туда, потерпев крушение в заветном моем желании, а семью свою застал материально раззоренною и нравственно убитою. Отец был мрачен. Дело, на которое он рассчитывал, не состоялось. Он оставался без заработка, и семья его бедствовала. Кроме того, он носил в сердце глубокую рану — страсть к Юлии Татар-

чуковой. Эта романтическая страсть была для него источником невыразимых мук. Даже у матери моей не хватало духу его порицать. Она ему сострадала и с редким самоотвержением старалась его утешать.

Непосильным бременем оказывалась еще и тяжба с Бедрягой; она требовала постоянных забот, напряженной деятельности, справок с законами и непрерывного писанья бумаг. Из острой, потрясающей тревоги она превратилась в хроническое беспокойство, поглощавшее и время, и труд. Нужды семьи тем временем росли: она в мое отсутствие увеличилась новым членом — сестрой Надеждою.

У отца, что называется, руки опустились. Ему лишь изредка удавалось что-нибудь зарабатывать в тех случаях, когда ему заказывали настрочить прошение в суд или заготовить какой-нибудь акт. Ничтожная плата мгновенно поглощалась той или другой неотъемлемой нуждой.

Неудачи, неудовлетворенная страсть отца делали его все раздражительнее, и он подчас жестоко срывал на домашних накипавшие у него в сердце тоску и досаду. Весьма вероятно, что тревожное состояние духа, притупляя его проницательность и невольно отражаясь на сношениях с людьми, и было главной причиной, почему отец за это время не мог пристроиться ни к какому делу.

Не знаю, что сталось бы со всеми нами, как пережили бы мы это тяжелое время, если б не мужество нашей матери и не ее великодушное отношение к своему удрученному мужу. Видя его изнемогающим, она приняла на свои женские плечи и ту часть обязанностей в семье, которая, по общему ходу вещей, выпадала на его долю, а именно: взяла на себя заботу о дневном пропитании. Она воспользовалась доверием к себе всех знавших ее, и стала предлагать себя в посредницы там, где нуждались в купле или продаже подержанных вещей. Ее безусловная честность была хорошо известна в городе, и ей охотно поручали такого рода дела. Вознаграждение, какое она получала за свой комиссионерский труд, и было долгое время главной, если не единственной, доходной статьей у нас.

Я был крайне поражен видом нашей бедности. Она во всем проглядывала: в тесном помещении, в убогой одежде, в неусыпном труде матери, которая проводила дни в странствовании по городу с товаром, а ночью — в починке детских рубищ при тусклом мерцании каганца.

Мною овладело страстное желание помочь ей. Но что мог я сделать? Быть у нее на посылках, рубить за нее дрова и таскать воду на кухню? В этом я и упражнялся исправно, но ни ее, ни наше общее благосостояние от того не увеличивалось. Отцу предлагали определить меня куда-то сельским писарем. Я и на то был готов, но отец не согласился. Он, не без основания, боялся, чтобы я там не заглох умственно и не был навсегда оторван от будущности, в которую он, вопреки обстоятельствам, упорно продолжал верить для меня.

В заключение нас выручило нечто просто невероятное: мне, четырнадцатилетнему мальчику, систематически прошедшему лишь курс уездного училища, предложены были уроки! Положим, чтение — в последнее время менее беспорядочное и более серьезное — значительно расширило круг моих познаний. Но познания эти, не пройдя через горнило благотворной школьной рутины и не проверенные официальным испытанием, давали мне мало нравственного и никакого материального права на учительскую деятельность, особенно там, где не было недостатка в более зрелых педагогах с вполне узаконенным положением.

Успех мой в данном случае может быть объяснен только духом оппозиции, вообще сильным тогда в острогожском обществе, и который, вызывая недоверие к правительственным учреждениям, заставлял избегать и официальных учителей.

В Острогожске, как и в других подобных ему городах, было уездное училище и даже относительно хорошо обставленное, то есть в числе его преподавателей не было ни пьяниц, ни круглых невежд. Но ученье там шло из рук вон плохо. Поглощенным борьбой за существование учителям было не до выработки рациональных систем обучения. Они ограничивались исполнением самых необходимых требований своего звания и по совести их нельзя было корить за то.

Странно, что состоятельная часть острогожского населения, вообще чуткая к общественным нуждам и в других случаях охотно шедшая им навстречу, оставалась равнодушною к интересам народного образования. Я объясняю это тем, что главные радетели о благе нашего города, дворяне, проникнутые духом своей касты, гнушались уездного училища, как места, где их потомство могло сталкиваться с детьми и купцов, и мещан, и даже крепостных. Имея средства воспитывать своих сыновей дома, до поступления в более привилегированные учебные заведения, например гимназии, и выписывать гувернеров из столиц, они пренебрегали равно училищем и учителями. Последние от того, само собою разумеется, не совершенствовались и утрачивали кредит даже в глазах купцов и более состоятельных мещан, так что те, в свою очередь, предпочитали искать преподавателей на стороне. Вот каким образом выбор некоторых из них и пал на меня.

В кругу, где жил мой отец, на меня давно перестали смотреть, как на ребенка. Задумчивый вид заставлял меня казаться старше моих лет, а жизнь среди чужих отлично вышколила меня и научила сдержанности. А тут еще заговорило во мне и самолюбие. Меня обуяло дерзкое и ни с чем не сообразное в моем положении стремление руководить другими и подчинять себе чужую волю. Что же касается знания, я действительно не уступал в нем любому из уездных учителей, а молва еще преувеличивала «мою ученость».

Все это, взятое вместе, должно быть, и навело богатого купца Ростовцева на мысль предложить мне занятия с его двумя сыновьями, из которых один был десяти лет, а другой только годом моложе меня. Мне следовало пройти с ними полный курс уездного училища.

Дети оказались хорошими, прилежными и уже отчасти грамотными. Мои занятия с ними пошли легко и успешно. Добряк Ростовцев неоднократно выражал мне свое удовольствие, которому, в заключение, дал осязательную и особенно желанную для меня форму двадцатипятирублевой ассигнации. Это было под самый праздник Пасхи.

Боже мой, что сталось со мной! Я не чувствовал под собой ног, возвращаясь домой с этим сокровищем. Я то и дело ощупывал его в кармане и — должен покаяться — воображал себя героем, спасителем семьи и реорганизатором нашего домашнего очага. Но, увы, гордость моя мгновенно осела, лишь только я переступил за порог нашего жилья и увидел, как многого там недоставало. Мечты, по обыкновению, не выдержали столкновения с суровой действительностью. На этот раз, однако, последняя имела свою светлую сторону, и я утешился. Мой заработок помог нам встретить праздник Пасхи согласно традиционным обычаям, отступление от которых всегда составляет горе для коренных малороссиян.

Все в нашем краю, даже самые бедные, напрягают последние силы, чтобы весело и обильно провести этот «праздников праздник» и хоть на неделю отрешиться от тех нужд и забот, которые гнетут их остальное время года. И вот, моя мать могла не хуже других спечь кулич, по-нашему пасху, из чистейшей крупичатой муки, со специями, по вкусу отца. Было куплено два фунта сахару и осьмушка чаю, а сестры и братья мои заново одеты...

Да, мне нетрудно было утешиться! И так сильно было впечатление, полученное мною от праздничного настроения моей семьи в эту Пасху и от впервые пробудившегося сознания собственной силы, что я вдруг сразу перестал чувствовать себя ребенком. Детство, по самой силе вещей, беззаботное, даже в неприглядной среде, как моя, осталось навсегда позади: я очутился на рубеже новой жизни, где мне предстояло много тяжелого, но где, говорю с признательностью, я имел и свою долю успеха.

XIV. Мои острогожские друзья и занятия

Прошло два года. Я приобрел репутацию хорошего учителя. У меня было много учеников и целая школа детей обоего пола, собиравшихся в доме бургомистра, купца Пупыкина[69]. Главное и, вероятно, единственное достоинство моего преподавания заключалось в том, что я не заставлял детей бессмысленно затверживать уроки наизусть, а прежде всего старался пробудить в них охоту и интерес к учению. Помимо этого, у меня не было никакой обдуманной

системы, никаких педагогических приемов. Многие из моих учеников были мои однолетки, но мне удавалось с ними ладить, и дело таким образом шло у меня, по крайней мере, гладко.

Вознаграждение мое, конечно, не могло вполне обеспечить нашу семью, но оно служило большим подспорьем и, во всяком случае, избавляло от крайней нужды. На меня смотрели уже как на взрослого, хотя мне только что минуло шестнадцать лет. Я считался чуть не особою в нашем муравейнике. Со мной искали знакомства. Меня ласкали в интеллигентном кружке города. Мною не брезгали такие влиятельные лица, как: купец Василий Алексеевич Должиков, предводитель дворянства Василий Тихонович Лисаневич[70], дворянин Владимир Иванович Астафьев[71], купец Дмитрий Федорович Панов[72], смотритель училища Федор Федорович Ферронский[73], протоиерей Сцепинский, соборный священник Михаил Подзорский.

Никого из них уже нет на свете, но память о них жива в моем сердце. Их теплому участию, гуманному забвению моего гражданского ничтожества, их снисхождению к моим юношеским, часто невоздержанным стремлениям и, наконец, великодушному содействию и отрезвляющему влиянию обязан я тем, что не изнемог в борьбе с судьбою, не утонул, так сказать, в самом себе, в бездне бесплодного самосозерцания, не утратил веры в добро, в людей, в самого себя. Я жил в их среде. Их общество было моим. И теперь, на склоне лет, проходя мысленно совершенный мною с тех пор длинный путь, я с умилением и благодарностью вспоминаю, как много обязан им. Они первые протянули мне руку помощи и помогли подняться на те ступени общественной лестницы, где я, наконец, мог безнаказанно считать себя человеком.

Но не многие из этих друзей моих и благодетелей могли похвалиться благоустройством собственных дел и своего внутреннего мира. Щедро наделив их умом и качествами сердца, природа не позаботилась поместить их в соответственную их наклонностям среду. Их честные натуры не могли мириться с бюрократическою грязью и крепостническим произволом — этими двумя язвами их современного общества. В них закипал протест, а рядом гнездилось сознание полного бессилия изменить к лучшему существующий порядок вещей. Отсюда внутренний разлад, который прививал им как бы не свойственные их общему характеру черты и оригинальные особенности — иногда достойные пера Диккенса или карандаша Гогарта.

Вот хоть, например, Астафьев. Старого дворянского рода, он принадлежал к аристократам уезда. Высшее образование он получил в Петербурге, где у него были связи, и там же начал службу, которая по всему обещала ему блестящую карьеру: он всего двадцати четырех лет уже был коллежским асессором. И вдруг, без всякой видимой причины, бросил он службу, связи и скрылся в родную провинциальную глушь.

Там его приняли с распростертыми объятиями и избрали в предводители дворянства. Красивый, остроумный, светски-развязный, он яркой звездой засиял на сереньком фоне провинциального захолустья и стал производить жестокие опустошения в сердцах уездных барышен. Одна, и увы! самая некрасивая, страстно влюбилась в него. Истощив все усилия понравиться, она прибегла к последнему средству — к великодушию победителя — и поведала ему о своей страсти.

Барышня обладала значительным состоянием; Астафьев уже спустил свое. Тронутый признанием, а еще больше приданым девушки, но не желая обманывать ее, он прямо сказал ей: «Я не прочь быть вашим мужем, но любить вас не могу. Решайте сами, стоит ли вам за меня идти». Барышня нашла, что стоит. Брак был заключен и оказался не из самых несчастных[74]. Астафьев, разумеется, не был нежным мужем, но по доброте своей не мог быть и жестоким к беззаветно преданному существу. Зато с приданым жены он обошелся уже совсем бесцеремонно.

Тесные рамки провинциальной жизни скоро оказались узкими для широкой натуры Астафьева. Общественная служба так же мало удовлетворяла его, как и государственная. Он был враг неясных положений. Ему претила всякая фальшь, а ее не обобраться было при отправлении предводительских обязанностей и в столкновениях с губернскими властями. Неспособный кривить душой, он предпочел удалиться от дел. Им овладела безысходная тоска, и он предался разгулу. Скоро и от состояния его жены, как прежде от собственного, не осталось следов.

Мое знакомство с ним состоялось гораздо позже. Ему уже стукнуло пятьдесят, он успел овдоветь и жил бездетным бобылем. Он был ходатаем по тяжебным делам и зарабатывал настолько, что мог жить прилично и с комфортом. Наружность его и манеры, несмотря на бурно проведенную молодость, сохраняли еще следы светского лоска. Он был мягок, приветлив, очень начитан и прекрасно говорил, несмотря на сиплый голос — следы прежних и настоящих попоек. Он знал много анекдотов о деятелях времен Екатерины и рассказывал их не без соли. Свободное от хождения по делам время Владимир Иванович проводил в разъездах по уезду, от одного помещика или хуторянина к другому. Его везде охотно принимали.

И вдруг для доброго, умного, тонко образованного Астафьева наступали периоды глубокого падения: он пил запоем. Периоды эти всегда являлись в определенное время и имели правильное течение. С наступлением их Владимир Иванович запирался у себя дома, почти никого не принимал и ни днем, ни ночью не расставался с бутылкою. Но проходил известный срок, и Астафьев, точно отбыв непроизвольную повинность, принимал свой обычный образ и являлся тем, чем был в действительности: честным, благородным, немножко гордым и изысканно любезным.

Впрочем, он и в припадках жестокого недуга сохранял привычки человека хорошего тона. Он в таких случаях обыкновенно лежал в постели, посреди вполне приличной обстановки. Комната его была, как всегда, щегольски прибрана. На столике возле кровати в обычной симметрии красовались безделушки: ящички, табакерки, статуэтки. На другом столе лежали книги, бумаги, письменные принадлежности. Нигде ни пылинки. Сам он не представлял ничего отталкивающего: он никогда не напивался до полной потери сознания и не утрачивал своей благовоспитанности. Пьяный Астафьев только как бы дополнял Астафьева трезвого: он становился живее, остроумнее, многоречивее, глубокомысленно рассуждал, философствовал, все время прищелкивая в такт пальцами.

В городе все знали, но охотно прощали ему несчастную слабость. Да она в сущности нисколько и не уменьшала его цены. От нее не страдали ни его опытность, ни знание света и людей, ни тонкий такт, ни здравое, беспристрастное суждение. Все это были сокровища, которыми, при его безграничной доброте, все могли беспрепятственно пользоваться, не меньше чем и кошельком его, — и пользовались. Бедный, славный чудак!

Другой очень близкий мне человек — смотритель училища, Федор Федорович Ферронский, мог быть поистине назван многострадальным. Ему приходилось на триста рублей ассигнациями содержать большую семью: жену и пятерых детей — двух девочек-подростков и трех сыновей, в том числе одного идиота. Жена его, умная, добрая, в свое время красивая, уже более десяти лет страдала неизлечимою болезнью, которая приковывала ее к постели. Все семейство, за исключением одного невменяемого члена, было милое и благовоспитанное. Старший сын, Никандр, состоял учителем в низшем классе, или отделения, училища и получал всего полтораста рублей.

Не понимаю, как все они существовали, особенно под конец каждого месяца, когда истощалось жалованье. В доме бывало хоть шаром покати: ни хлеба, ни денег. А больная мать семейства нуждалась и в тарелке бульона, и в чашке чаю, и в лекарстве. Жалко было тогда смотреть на старика Ферронского. Добрые люди, чем могли, помогали ему, но сами они были большею частью бедняки.

В отчаянии, не зная буквально, чем утолить голод семьи, старик в заключение прибегал к займу из казенного сундука — всегда, конечно, с твердым намерением при первой возможности вернуть взятое. Но возможность никогда не представлялась, и бедному старику много раз грозила опасность попасть под уголовный суд. Его всякий раз выручал из беды почетный смотритель, Сафонов, который перед ревизией из своего кармана пополнял казенный недочет. Изредка отцу или сыну набегали частные уроки, и тогда им относительно свободнее дышалось.

Училище, во главе которого стоял Ферронский, было в плохом состоя-

нии — как и все казенные учебные заведения до 1833 года, когда император Николай Павлович пожаловал им новые штаты и вверил управление министерством народного просвещения Уварову[75]. Мы говорили выше о недочетах в Острогожском уездном училище и о причинах его упадка. Штатный смотритель тут был ни при чем: он, напротив, являлся главным страдательным лицом. Он был одним из лучших людей, каких я когда-либо знавал, — человек с таким трезвым, просвещенным умом, с такими ясными воззрениями на жизнь и на общество, с таким, наконец, благородством сердца, что можно бы и в наше прогрессивное время пожелать побольше таких не только штатных смотрителей, но и директоров высших учебных заведений.

Оба Ферронские были очень расположены ко мне. Молодой, несколькими годами старше меня, при дюжинном уме отличался замечательной даровитостью. У него была счастливая наружность, звучный, певучий голос и редкая способность к подражанию: из него мог бы выйти отличный актер. Он и мечтал о сцене, но, лишенный энергии, не сумел выбиться из колеи, в которую его первоначально втолкнула судьба. Он до конца жизни без успеха пробавлялся учительством.

И эти-то люди, при всей своей убогости, распространяли вокруг себя столько тепла и любви, что их хватало не только на собственную семью, но и на многих, еще более обездоленных, чем они сами. Так было и со мной. Они меня принимали у себя, ласкали, снабжали книгами. И это в то самое время, как я, так сказать, стоял у них на пути и отбивал хлеб моими учительскими подвигами. Между тем старшему Ферронскому ничего не стоило утопить меня, и ему даже представлялся удобный случай. Но об этом после.

Было у меня еще одно дружеское семейство — Должиковых. Глава его, Василий Алексеевич, вспоминается мне теперь как самый выдающийся человек в нашем краю. Все в нем поражало, не исключая и наружности. По виду никто не признал бы в нем русского купца, типические черты которого обыкновенно так резко бросаются в глаза. Вот он, каким я увидел его в первый раз на одной из острогожских улиц. Он шествовал — именно шествовал, а не шел, этот величественный старец, с целым каскадом седых волос вокруг красивого, с тонким профилем, лица — прямой, крепкий, как мощный дуб, выросший на сочной малороссийской почве. И теперь еще помню, как забилось у меня сердце: точно передо мной воочию явился один из героев идеального мира, в котором я вращался до одурения. Я с каким-то суеверным страхом и восторженным изумлением следил за ним глазами, пока он не скрылся за угол, и потом весь день не мог прийти в себя.

Василий Алексеевич Должиков учился в харьковском коллегиуме, откуда вынес, кроме знания латинского языка, и еще кое-какие сведения. Но откуда взял он этот благородный тон, этот замечателыний такт, эти величественные манеры и вид мудреца, спокойно и сознательно совершающего свой путь

в жизни? Толкуйте после того о преимуществах будто бы прирожденных той или другой касте!

Меня он пригрел и приручил, как никто. Редкий день не бывал я у него. Перед ним легко и свободно раскрывалась моя душа. Он, этот всеми уважаемый старик, так превышавший меня годами, опытом и гражданскими заслугами, всегда терпеливо и участливо выслушивал мой пылкий и часто задорный лепет.

Василий Алексеевич был либерал и прогрессист, хотя ни он, никто другой тогда этих слов не употребляли. Он ненавидел рабство и жаждал коренного изменения в нашем государственном строе, сочувствовал либеральному движению в Европе, скорбел о неудачных попытках итальянских патриотов и радостно приветствовал первые порывы к свободе в Греции. Я не отставал от него — по части энтузиазма, конечно, а не осмысленности взглядов и стремлений. После одной из бесед с ним, воодушевленный последними вестями из Греции, я провел ночь в сочинении проекта воззвания к восставшим грекам от имени их героя — вождя Ипсиланти. На следующее утро я прочел воззвание Василию Алексеевичу. Он с простодушием юноши увлекся моей мечтой и, в свою очередь, предлагал разные дополнения и изменения к моему проекту.

А как хороши были наши беседы в загородном саду Должиковых! Василий Алексеевич сам его распланировал, насадил и с любовью следил за каждым деревом и кустом. Сад находился недалеко от Острогожска. В летние и весенние вечера мы часто отправлялись туда с ним вдвоем, располагались на траве под молодым дубком или яблонью — и куда, куда только не заносились в мечтах! Я, по обыкновению, углублялся в лабиринт запутанных отвлеченностей, а он с тактом выводил меня на путь трезвой действительности и исторической правды. В заключение добрый Василий Алексеевич вспоминал, что шестнадцатилетний юноша с ненасытным желудком никогда не отказывается от приправы духовной пищи земными плодами, и снабжал меня на возвратный путь разнообразными произведениями своего сада — смотря по времени года.

Должиков был одно время городским головой в Острогожске и успел сделать много полезного. Он особенно заботился об улучшении быта беднейших жителей. Кому была нужда в помощи или защите, тот никогда не прибегал к нему напрасно. Зато и любили же его бедные и угнетенные! Но среди собственного купеческого сословия у него было много врагов. Неласково смотрели на него и губернские власти: он с ними был в открытой оппозиции, ратуя за интересы города. В конце концов эти две темные силы — купеческий и чиновничий люд — соединились, чтобы сломить его. С помощью клеветы и разных каверз им удалось притянуть Должикова к суду. Он должен был сложить с себя звание головы, но не смирился и, когда отчаялся в правосудии воронежских и рязанских судей, производивших его дело, перенес последнее в Москву.

Семья Должиковых представляла картину редкого домашнего счастья.

Жена Василия Алексеевича, Прасковья Михайловна, была точно нарочно для него создана. В ней любящее сердце шло об руку с тонким, удивительно здравым умом. Сдержанная, немного холодная, даже величавая в обращении, она с первого взгляда производила то впечатление, что к ней нелегко подступиться. И, действительно, она не давала даром своего расположения, была разборчива в выборе не только друзей, но и знакомых. Если же вы раз получали доступ в ее дом, то всегда уже находили там самый радушный и искренний прием. Разговор с ней был не только приятен, но и поучителен. Усеянный блестками юмора и оригинальных мыслей, он доставлял истинное наслаждение.

В доме и в семье Прасковья Михайловна распоряжалась властно, но никогда не злоупотребляла своею первенствующею ролью. В ее хозяйстве все делалось тихо, спокойно, точно само собой, без торопливости и суеты, без вечных выговоров и наставлений, с одной стороны, и тайного или явного ропота — с другой. У ней не было крепостных слуг, хотя она, по примеру других богатых купцов, могла бы иметь их, записывая на чужое имя. Но ей служили лучше, усерднее, честнее, чем любой из завзятых помещиц, окруженных толпою холопов.

Дочерей она воспитала в уважении семейных преданий и обязанностей. Они не умели болтать по-французски, но при содействии и руководстве умной матери достигли достаточного развития, особенно старшая, которая много и со смыслом читала. Младшая любила музыку, и ей дали средства развить свой вкус. Третья дочь в мое время была еще ребенком.

Из пяти сыновей Должиковых[76] два были уже взрослые. Старший, Александр, заведовал делами внутреннего хозяйства и управлял пивоварнею, которая снабжала пивом всю губернию. Младший, Михаил, занимался внешними делами. Он вел торговлю, ходил по присутственным местам и был в частых разъездах, в Воронеже, Рязани, Москве. Он тоже страстно любил музыку, изучал ее и даже в Москве пользовался репутацией хорошего скрипача. Я больше сходился с Михаилом: он был живее и общительнее. Брат его весь ушел в хозяйственные заботы.

После долгих судебных мытарств старик Должиков восторжествовал над совокупными кознями врагов и пристрастных судей. Он был оправдан от всех обвинений по превышению власти и самоуправству и, к великому удовольствию острогожских граждан, с почетом восстановлен в звании головы. Но день победы оказался роковым для него. Взволнованный, он произносил речь, в которой излагал программу своей будущей деятельности. Он с увлечением говорил о нуждах города, перечислял его средства, настаивал на необходимости отвести приличное помещение под училище, немедленно приступить к сооружению мостовой и так далее. Он разгорячился и не заметил, что все время стоял на сквозном ветру. Возвратясь домой, он почувствовал себя нездоровым, слег и на седьмой день умер от нервной горячки. Ему было всего 60 лет.

Общество таких людей, их ласка, гостеприимство еще больше подстрекали во мне стремление к самообразованию. Но удовлетворять его я мог только одним чтением, которому теперь предавался уже с большим смыслом и даже подчинил его известной системе. Я не только читал, но и делал выписки из читанного, писал о нем свои рассуждения.

Книгами меня наперерыв снабжали друзья и покровители. Их было много у Сцепинского, Подзорского, Должикова и Панова — почти исключительно серьезного содержания. Романы к этому времени утратили для меня свою прелесть: я успел пресытиться ими, и ум мой искал более существенной пищи. Я и нашел ее, например, в «Созерцаниях природы» Боннета[77], в «Метафизике и логике» Христиана Баумейстера[78], в толстотомных юридических исследованиях Юсти, в «Духе законов» Монтескье и т.д. Сильно занимала меня, между прочим, «История моего времени» Фридриха Великого[79], который и стал на время моим любимым героем.

Сведения по части всеобщей истории я почерпал из Роллена[80], в переводе Тредьяковского, и из Миллера[81]. Русскую историю я плохо знал. У меня не было для изучения ее других источников, кроме учебника, принятого тогда в средних учебных заведениях[82].

Но не все книги, которые до меня доходили, были одинаково доступны моему все-таки плохо дисциплинированному уму. Так было, между прочим, с «Историей философских систем» Галича[83], вышедшей в 1818 году. Я получил ее от Ферронского и с жадностью набросился на нее, полагая, что она сразу раскроет мне всю глубину человеческой мудрости. Но, увы! Книга эта, по сжатости и способу изложения, мало доступна и людям, гораздо лучше подготовленным, чем был я, к усвоению себе философских умозрений. Немудрено, если я становился в тупик перед многими из ее параграфов и, как оглашенный, напрасно стучался в двери закрытого для меня храма.

Вот в таких-то случаях особенно восставала передо мной, во всей своей чудовищной наготе, несправедливость моего общественного положения. Оно закрыло мне доступ в гимназию и продолжало закрывать дальнейшие пути к знанию, к свету. А непокорный ум не переставал тем временем вызывать передо мной соблазнительный мираж университета.

Как могло это быть, особенно после пережитого опыта с гимназией — я сам не знаю. Но в сердце моем постоянно таилась искра надежды, что в конце концов он от меня не уйдет, этот желанный, по-видимому, недоступный университет. Впрочем, искра эта редко разгоралась до степени ясного сознания. Она где-то глубоко тлела, и меня всего чаще посещали минуты мрачного отчаяния. Я поникал головой, тоска сжимала сердце...

Нет, никто и ничто не может передать тех нравственных мук, путем которых шестнадцатилетний юноша, полный сил и, надо сказать, мужества, дошел до мысли о самоубийстве и в ней одной нашел успокоение. Она светлым

лучом запала мне в душу и сразу подняла мой дух. «Нет, — сказал я себе, — так не годится: этому не бывать! Пусть я не сам себе господин, пусть я ничто в глазах людей и их законов! У меня все же есть одно право, которого никто не в силах лишить меня: это право смерти. В крайнем случае я не премину воспользоваться им. А до тех пор — смело вперед!»

Я добыл пистолет, пороху, две пули: из всех родов смерти я почему-то предпочел смерть от пули. С этой минуты я успокоился. В меня вселилась новая отвага: я был под защитой смерти, и ничто больше не страшило меня.

Но, так сказать, поставив себя вне унижений, каким могли подвергнуть меня люди, я сделался горд и самонадеян. Не без улыбки, но и не без горького сознания потерянных иллюзий, вспоминаю я теперь мое тогдашнее настроение духа. Оно вполне выразилось в двух изречениях, которыми я поспешил украсить мой портрет, около этого времени написанный по желанию моей матеря. Писал с меня доморощенный художник, по прозванию Зикран. Долго возился он, особенно с глазами, которые никак не давались ему. Неоднократно посылал он меня с ними к черту, наконец, объявил, что портрет готов. Тогда его находили похожим, но он, к сожалению, пропал — всего вероятнее, сгорел во время пожара, несколько лет спустя истребившего добрую половину Острогожска.

Зикран изобразил меня с раскрытой тетрадью моего дневника. На одной из страниц тетради красовался девиз: «Жить с честью или умереть», на другой — «Мудрость есть терпение». Бедный, самоуверенный юноша! Он вырос, созрел, и жизнь, конечно, посбила с него спеси, но преждевременная самостоятельность оставила в нем следы сильного упорства, которое, если и помогло ему добиться желаемого, зато часто было и камнем преткновения на его пути.

Под влиянием этих высокомерных мечтаний у меня даже сложилась в голове апология самоубийства, которую я и изложил в форме сочинения, озаглавленного: «Голос самоубийцы в день страшного суда». Я был страстно привязан к матери и ей посвящал результат моих глубоких размышлений. Вот она, измученная, простирает ко мне руки и молит, чтобы я пощадил себя ради нее. Но я излагаю ей причины моей решимости, и она сама благословляет меня на страшный подвиг. «Ты прав, бедное дитя! — рыдая, восклицает она. — Иди с миром! Люди тебя на мгновение пригрели за тем только, чтобы потом сильнее сокрушить. Иди же к Господу! Он милосерднее людей: Он простит тебя за то, что ты у Него одного искал света и правды. Иди! Я сама сошью тебе саван, омою его слезами и сама, украдкой от всех, подготовлю тебе могилу: да никто не надругается и над прахом твоим!»...

Не совладав с Галичем и, таким образом, потерпев крушение на почве чистого разума, я бросился в другую крайность, а именно: стал искать света в мистицизме. Последний около этого времени — между 1818-м и 1820 года-

ми — проник и в наше захолустье, где даже нашел себе много приверженцев. Увлекались им и некоторые из моих приятелей. Они старались и меня «просветить», для чего снабжали соответственными книгами.

Казалось бы, что с моим пылким воображением, моей впечательностью и склонностью к чудесному, книги эти должны бы были произвести сильное на меня впечатление. На деле вышло иначе: вереница фантастических призраков, вызванных ими, так сказать, проскользнула мимо моего ума, нисколько не задев его своим фосфорическим блеском. В самую шаткую пору детских и юношеских лет я, правда, любил все мрачное, таинственное, но оно щекотало у меня только одно воображение. Ум все время оставался холодным и даже как бы критически относился к тому, что всецело поглощало фантазию. Так было и теперь.

Я с жаром принялся за чтение мистических книг. От доски до доски прочел я «Ключ к таинствам природы» Эккартгаузена и — ничего не отпер им. Да вряд ли и кто-нибудь другой мог отпереть, так как тайны природы слишком крепко заперты, а ключ, предлагавшийся для их открытия, на самом деле был простым заржавленным гвоздем, не способным ничего открыть. Далее прочел я всего «Угроза Световостокова» Юнга-Штиллинга и его же «Приключения души по смерти». Над наивно-благочестивым кривляньем «Угрозы» я даже дерзал подсмеиваться, а над «Приключениями души» просто соскучился.

«Жизнь» Юнга-Штиллинга больше заинтересовала меня: он был, как и я, бедняк, однако успел сделаться ученым и известным. Тем не менее, я с недоверием к нему относился: он мне казался шарлатаном, который морочил людей, уверяя, будто видел то, чего не видел никто, и знает то, чего никто не знает. Закончил я свои мистические исследования «Сионским Вестником»*, но не мог одолеть больше трех номеров его.

Какими ясными, убедительными представлялись мне, после всех этих блужданий в потемках, простые, реальные истины евангельского учения! Я не хочу сказать, чтобы в то время уже сознал всю глубину скрытой в них мудрости. Нет, я не вдавался ни в какие рассуждения по этому поводу. Вера моя была чисто детская: сначала я верил просто потому, что научился этому на коленях у матери, а позднее, в описываемое время, жизнь и проповедь Христа получили для меня особый, личный смысл, который и был моим якорем спасения среди обуревавшего меня подчас ожесточения против людей и моей злой судьбы. Когда я взирал на лик Спасителя в одном из приделов нашей соборной церкви, мне постоянно слышался его кроткий призыв: «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы». Что же: пусть люди злы и несправедливы, у меня есть Заступник, есть верный приют, где я могу укрыться от всякой злобы и гонений. Он, всеблагий и премудрый, не оттолкнет меня

* Ежемесячный «Журнал нравственно-христианский», издаваемый в 1806 и 1817—1818 гг. известным мистиком А.Ф. Лабзиным.

и тогда, если, изнемогая под непосильным бременем, я самовольно предстану перед Него!

Зато внешние религиозные обряды я исполнял вяло и не всегда охотно. Причина тому была, вероятно, в примере окружавших меня. Все эти Астафьевы, Должиковы, Пановы, зараженные свободомыслием Вольтера и энциклопедистов, пренебрегали церковными обрядами. И, хотя ни один из них ни разу не коснулся в моем присутствии вопроса о своих или моих религиозных верованиях, тем не менее, они не могли скрыть своего равнодушия к формальной стороне их. Непосредственное чувство, однако, часто влекло меня в церковь, особенно, когда пели певчие или богослужение совершал величественный Симеон Сцепинский. Помню также чувство тихой торжественности, нисходившее на меня в страстной четверг, при чтении двенадцати евангелий в Ильинской церкви одним простым, неученым священником. Он читал без всяких возгласов, но с таким умилением и сочувствием к тому, что читал, что невольно и присутствующим сообщал чувство, которое воодушевляло его самого.

XV. Мои верные друзья. Генерал Юзефович. Смерть отца

В нашем семейном быту произошли перемены. Косвенным поводом к тому была смерть Григория Федоровича Татарчукова. Молодая жена его еще за год до смерти мужа переселилась в Москву, к матери, вместе со своею малолетнею дочкою. После Татарчукова осталось довольно значительное имение. Наследниками его, кроме вдовы с дочерью, были еще два сына от первого брака. Из двух дочерей, о которых я упоминал выше, одна умерла в девушках, еще при жизни отца, другая, вышедшая за Белякова, была выделена раньше.

Сыновья покойного ненавидели мачеху и были, не в отца, корыстолюбивы. Им во что бы то ни стало хотелось устранить Юлию от наследства, и они бессовестно воспользовались для того ее неопытностью. Молодой вдове с дочерью грозило полное разорение, когда она, наконец, решилась прибегнуть к защите человека сведущего и честного, который помог бы ей выпутаться из расставленных ей сетей. Но где найти такого человека? Он, пожалуй, и был у нее под рукой, в лице моего отца. Но она знала его страсть к себе и долго колебалась обратиться к нему. В заключение, однако, пришлось отложить в сторону щепетильность. Юлия написала моему отцу письмо, в котором умоляла взять от нее доверенность и поспешить в Богучар, спасать ее и дочернино достояние. Рыцарский дух отца мгновенно пробудился, и он с восторгом ухватился за случай оказать любимой женщине услугу. Немедленно отправился он на поле битвы и так умело, так ловко повел дело, что Юлия не замедлила получить сполна все принадлежавшее по праву.

Но этим не кончились заботы о ней моего отца. Из слободы, подлежавшей разделу, следовало еще выселить доставшихся вдове крестьян и устроить

их на новом месте, т.е. основать новое поселение. Это на неопределенное время затягивало разлуку отца с семьей, без которой ему всегда хуже жилось. Поклонение очаровательной вдове доставляло обильную пищу его фантазии, но не давало ничего сердцу, которое и в печалях, и в уклонениях своих всегда инстинктивно обращалось за поддержкой и утешением туда, где был неиссякаемый источник их, — в сочувственном сердце великодушной жены. Так было и теперь. Отец не вынес одиночества, хотя и посвященного заботам о благе возлюбленной, и поспешил вызвать семью в Богучарский уезд, где сам пребывал. Мать тотчас собралась в путь и вместе с младшими детьми водворилась в возникавшем селе, которое, в угоду помещице немецкого происхождения, было окрещено Руэталем[84], что, впрочем, оправдывалось красивым затишьем, где находилось местечко. Меня же отец не хотел отрывать от моих учительских занятий, и я остался в Острогожске один.

Тем временем в нашем городе произошло событие, которое, внеся в него новый общественный элемент, и для меня было источником новых, свежих впечатлений. Звезда Наполеона закатилась. Кровавая драма, смутившая покой Европы, приходила к развязке на острове Св. Елены. Наши войска возвращались, после длинного ряда подвигов, вкусить заслуженного отдыха. Их размещали по разным губерниям и городам империи. Очередь дошла и до Острогожска. В один прекрасный день весной 1818 г. его сонные улицы оживились, запестрели знаменами и мундирами, огласились конским топотом и звуками военной музыки. Навстречу героям высыпали толпы не только городских обывателей, но и окрестных хуторян, крестьян, съехавшихся и сбежавшихся с разных сторон полюбоваться невиданним зрелищем и приветствовать необычных гостей. Им охотно отводили помещение, и лучшая часть общества широко раскрывала двери своих домов на побывку офицерам.

Квартировать в Острогожске и его окрестностях была назначена первая драгунская дивизия, состоявшая из четырех полков: Московского со штабом, Рижского[85], Новороссийского[86] и Кинбурнского[87], прибывшего несколько позже. С водворением их у нас наш скромный уголок преобразился. В нем закипела новая жизнь, и пробудились новые интересы. Офицеры этих полков, особенно Московского, где в штабе был сосредоточен цвет полкового общества, представляли из себя группу людей, в своем роде замечательных. Участники в мировых событиях, деятели не в сфере бесплодных умствований, а в пределах строгого, реального долга, они приобрели особенную стойкость характера и определенность во взглядах и стремлениях, чем составляли резкий контраст с передовыми людьми нашего захолустья, которые, за недостатком живого, отрезвляющего дела, витали в мире мечтаний и тратили силы в мелочном, бесплодном протесте. С другой стороны, сближение с западноевропейской цивилизацией, личное знакомство с более счастливым общественным строем, выработанным мыслителями конца прошлого века, наконец, борьба за великие

принципы свободы и отечества, — все это наложило на них печать глубокой гуманности — и в этом они уже вполне сходились с представителями нашей местной интеллигенции. Немудрено, если между ними и ею завязалось непрерывное общение. И я не был отринут ими, напротив, принят с распростертыми объятиями и братским участием. Они видели во мне жертву порядка вещей, который ненавидели, и под влиянием этой ненависти как бы смотрели на меня сквозь увеличительные очки — преувеличивали мои дарования, а с тем вместе и трагизм моей судьбы. Отсюда отношение их к бедному, обездоленному мальчику носило характер не одного участия, но и своего рода уважения. Люди вдвое, втрое старше меня и неизмеримо превосходившие меня знанием и опытом, водились со мной, как с равным. Я был постоянным участником их бесед, вечерних собраний и увеселений. Они брали меня с собой на парады; я ездил с ними на охоту, а с одним из ближайших приятелей я даже ходил, когда он бывал дежурным, ночью осматривать посты.

Все это меня занимало и мне льстило, но не убаюкивало во мне тревог за будущее. Я жил двойною жизнью — беззаботной юности и отчаяния: легкомысленно предавался минутным утехам, но с преждевременной зрелостью горького опыта не упускал из виду того, что могло ожидать меня дальше, за пределами настоящей, относительно светлой, полосы в жизни. Раздраженное самолюбие подстрекало с новым жаром мечтать о дальнейших и более прочных успехах и тем нетерпеливее относиться к тяготевшему надо мной игу. Мои воздушные замки непомерно росли, но соответственно зрела и крепла во мне мысль о самоубийстве: рухнут мои замки — и я погибну под их развалинами...

Как бы то ни было, а сближение мое с этими людьми дало новый толчок моему развитию и значительно расширило мой умственный горизонт. Они, между прочим, впервые познакомили меня с новейшими произведениями отечественной литературы. Все мои сведения по этой части до сих пор вертелись исключительно около Ломоносова, Державина и Хераскова с его «Россиадой» и «Владимиром». С Ломоносовым я познакомился еще в раннем детстве, слушая бродячих слепых певцов, которые, ходя по хуторам и слободам за подаянием, распевали: «Хвалу Всевышнему Владыке потщися дух мой воспевать» и другие духовные стихотворения этого автора. Но о текущей изящной литературе я не имел никакого понятия. И вдруг какая масса новых впечатлений! Как отуманенный ходил я после офицерских вечеринок, где всегда не последнюю, а часто и главную роль играло чтение. Иные из офицеров отлично декламировали, иногда целые драмы. Тут я в первый раз услышал «Эдипа в Афинах» Озерова и познакомился с произведениями Батюшкова и Жуковского, которые тогда только что появлялись в свет. Мы буквально упивались их музыкой и заучивали наизусть целые пьесы, например: «Мои Пенаты», «Умирающий Тасс», «На развалинах замка в Швеции», или отрывки из «Певца во стане русских воинов» и т.д. У многих были заведены тетрадки, в которые они

вписывали изречения или отрывки из прочитанного и почему-либо особенно заинтересовавшего их.

Около этого времени передо мной промелькнула личность, которая, немного спустя, вместе с несколькими другими, имела решающее влияние на мою судьбу, но сама пала одною из главных жертв в мрачной трагедии, разыгравшейся при вступлении на престол императора Николая I. В Острогожске ежегодно бывала ярмарка, на которую вместе с другим товаром из Воронежа привозили и книги. Я, с одним из приятелей, не преминул заглянуть в лавочку, торговавшую соблазнительным для меня товаром. Там, у прилавка, нас уже опередил молодой офицер. Я взглянул на него и пленился тихим сиянием его темных и в то же время ясных глаз и кротким, задумчивым выражением всего лица. Он потребовал «Дух законов» Монтескье, заплатил деньги и велел принести себе книги на дом. «Я с моим эскадроном не в городе квартирую, — заметил он купцу, — мы стоим довольно далеко. Я приехал сюда на короткое время, всего на несколько часов: прошу вас, не замедлите присылкою книг. Я остановился (следовал адрес). Пусть ваш посланный спросит поручика Рылеева»[88]. Тогда имя это ничего не сказало мне, но изящный образ молодого офицера живо запечатлелся в моей памяти. Я больше не встречал его в нашем краю. Да он и уехал скоро оттуда, женился и вышел в отставку. Я свиделся с ним опять уже в Петербурге и при совсем другой обстановке.

Наш офицерский кружок вскоре увеличился группою других, только что произведенных в офицеры, молодых людей. Нельзя сказать, чтобы они внесли в него что-нибудь новое и свежее. Прямо со скамьи кадетских корпусов, где в то время невысоко стояла наука, они были уже не чета своим старшим и более бывалым товарищам. Они, впрочем, добросовестно несли свои служебные обязанности, но свободное время проводили в более или менее сильных кутежах. Добрые малые, они и со мной свели дружбу, приглашали на свои пирушки. Вот когда отсутствие моего отца или вообще какого бы то ни было руководителя могло гибельно отразиться на моих привычках. К счастью, я, между прочим, питал просто физическое отвращение ко всякого рода излишествам. Присутствуя на пирушках, и я тоже, конечно, прикасался губами к пуншевой чаше и выпивал бокал-другой пенистого донского. Но делал это как мальчишка-лакомка, еще не вышедший из возраста, когда любят сласти. Опьянение же претило мне еще и в силу моих идеальных воззрений на достоинство человека и того самолюбия, которое было бичом моей юности, но в то же время и уздой, воздерживавшей меня от падения.

Но этими двумя типами — героев двенадцатого года и добрых ребят — еще не исчерпывались типы военных, квартировавших в Острогожске. Между ними существовал еще третий тип, служак старого закала, заматерелых в рутине, отважных не только в бою, но и в мирное время, в рукопашной расправе с подчиненными. Обращение их с солдатами было, мало сказать, жестокое, —

варварское. К счастью, у нас было немного таких отцов-командиров. В моей памяти их сохранилось два: командир лейб-эскадрона Московского драгунского полка, Трофим Исеевич Макаров, и командир запасного эскадрона того же полка, капитан Потемкин.

Особенно хорошо помню я Макарова. Огромного роста, с лицом, изборожденным морщинами, с хмурым взглядом из-под густо нависших бровей, он одною наружностью своею приводил в трепет подчиненных. Отличительной чертой его, говорят, была храбрость, но храбрость своеобразная, спокойная, без порывов и увлечений, всегда и везде ровная, если можно так сказать, систематическая. По свидетельству товарищей, он обыкновенно первый шел в атаку, но при этом ни на минуту не терял хладнокровия, отчего удары его всегда были метки. В чине всего штабс-капитана, он имел Анну на шее и Владимира с бантом. Так же хладнокровно, чтоб не сказать равнодушно, без тени негодования или вспышки гнева, расправлялся он с солдатами за самые ничтожные проступки, карая их палками, розгами, фухтелями, а то и просто зуботычинами. Дисциплина от этого нисколько не выигрывала: она и без того безукоризненно соблюдалась в наших войсках. Значит, дело тут было не столько в результате, сколько в принципе, от которого куда как солоно приходилось иным. Непостижимо, откуда денщик Макарова и эскадронный вахмистр Васильев набирались физических сил — не говорю о нравственных, буквально забитых, — чтобы переносить истязания, которым они, в качестве самых приближенных к капитану лиц, чуть не ежедневно подвергались. И при всем том, странно сказать, а Трофим Исеевич вовсе был не злым человеком. Он даже, при случае, проявлял и сердечную теплоту, и гуманность. Возьмем для примера хоть его отношения ко мне, проникнутые таким добродушием, даже баловством, какое трудно было бы предположить в этом и с виду звероподобном муже. При встрече со мной он, слегка осклабившись, ласково трепал меня по плечу, зазывал к себе; брал меня на охоту; ссужал лошадью для верховой езды. Но в обращении с солдатами он был закоренелый рутинер, держался старинных преданий и простодушно верил, что без палки с ними нельзя. Этому, конечно, немало содействовало полное отсутствие в нем даже элементарного образования. Не знаю, из какого он был звания и учился ли где-нибудь, только он едва умел с грехом пополам подписывать свое имя.

Вот капитан Потемкин, тот уже был положительно зол и ни для кого не делал исключений. Жестокость, которая у Макарова была скорей следствием невежества и дурно понятых обязанностей, у Потемкина была самородная, глубоко заложенная в его собственной натуре. Он предавался ей со своего рода сладострастием и точно наслаждался, когда, по его приговору, до полусмерти забивали и засекали несчастных солдат. А, между тем, он принадлежал к так называемому хорошему обществу и по уму и по образованию стоял неизмеримо выше Макарова. Остальные офицеры полка с негодованием смотрели на образ

действий обоих капитанов и явно держались от них в стороне. Но ни презрение товарищей, ни увещания начальника, доброго, рыцарски-благородного полковника Гейсмарна[89], на них не действовали. Прибегать же для обуздания их зверства к более крутым мерам нельзя было, так как они все-таки действовали в пределах закона.

Положение мое в кругу штабных офицеров скоро еще больше управилось. На меня обратил внимание сам главный начальник первой драгунской дивизии, квартировавшей в Острогожске, генерал-майор Дмитрий Михайлович Юзефович[90]. Чтобы вполне понять, насколько это новое обстоятельство еще возвысило меня в глазах моих сограждан, надо вспомнить, каким престижем в те времена пользовалось звание военного генерала.

Генерал времен николаевских и последних лет царствования императора Александра I — это был своего рода особый тип. Он пользовался беспримерным значением во всех сферах нашей общественной и административной жизни. Не было в государстве высокого поста или должности, при назначении на которую не отдавалось бы преимущество лицу с густыми серебряными или золотыми эполетами. Эти эполеты признавались лучшим залогом ума, знания и способностей даже на поприщах, где, по-видимому, требуется специальная подготовка. Уверенные в магической силе своих эполет, и носители их высоко поднимали голову. Они проникались убеждением своей непогрешимости и смело разрубали самые сложные узлы. Сначала сами воспитанные в духе строгой военной дисциплины, потом блюстители ее в рядах войск, они и в управлении мирным гражданским обществом вносили те же начала безусловного повиновения. В этом, впрочем, они только содействовали видам правительства, которое, казалось, поставило себе задачею дисциплинировать государство, т.е. привести его в такое состояние, чтобы ни один человек в нем не думал и не действовал иначе, как по одной воле. В силу этой, так сказать, казарменной системы, каждый генерал, какой бы отраслью администрации он ни был призван управлять, прежде всего и больше всего заботился о том, чтобы наводить на подчиненных как можно больше страху. Поэтому он смотрел хмуро и сердито, говорил резко и при малейшем поводе и даже без оного всех и каждого распекал.

Нельзя сказать, чтобы генерал-майор Юзефович близко подходил под тип этих генералов-распекателей. Но отличительные свойства последних до того вошли в нравы, что генерал, вполне свободный от них, тогда был просто немыслим. Димитрий Михайлович недаром принадлежал к числу борцов за свободу России и Европы. Он вынес из столкновения с Западом немало гуманных идей и сдержанность обращения, вообще малоизвестную его сверстникам. Когда союзные войска вступили во Францию, он был назначен генерал-губернатором Нанси и оставил там отличную память по себе. Но, умея применяться к обстоятельствам и, в силу своего ума и образования, обуздывать

природные влечения, он все же не был лишен деспотической жилки, и это хотя редко, но прорывалось и в личных его, и в служебных отношениях. Возлюбив кого-нибудь, он осыпал его знаками своего внимания, но являлся ничтожный повод, возникало легкое недоразумение, и обращение его становилось небрежно холодным. Главною чертою его было честолюбие, в начале карьеры тонкое и сдержанное, но под конец до того разыгравшееся, что оно и было причиною его нравственного крушения.

Когда я знал его, ему было лет сорок пять, не больше. Высокий рост, умное, весьма оживленное лицо, быстрая речь и повелительный жест делали из него внушительную фигуру. На шее у него красовался Георгиевский крест, с которым он никогда не расставался. Другие же ордена, Анны 1-й степени и Прусского Орла, он надевал только в высокоторжественные дни, на парады и молебствия. Многосторонне образованный, он очень любил литературу, следил за всеми новыми ее явлениями, выписывал все русские журналы и газеты, не исключая и каких-нибудь плохеньких «Казанских Известий», и все, сколько-нибудь замечательные, вновь выходившие книги. В свободные часы, по вечерам, он любил читать вслух, в кругу близких, произведения новейших поэтов, начиная с Державина и до Мерзлякова, Батюшкова, Жуковского. Его интересовала всякая новая мысль, радовал и всякий счастливый стих, удачное выражение, оборот.

Димитрий Михайлович и сам вдавался в авторство, но, кажется, ничего не печатал, исключая одной, и то переводной с французского, статейки, помещенной в издававшемся тогда в Харькове «Украинском Вестнике». Она предназначалась для альбома одной милой молодой девушки, Зверевой, которая вместе с матерью жила недалеко от Харькова в поместье, куда иногда заезжал погостить Димитрий Михайлович. Он уважал старушку и был влюблен в дочь, на которой желал бы жениться. Но этому препятствовало то, что у него уже была жена. Он как-то странно на ней женился в ранней молодости и теперь тщетно старался развестись с ней. Рассказывали, что она была без всякого образования и очень глупа. Но ее никто не знал, так как она безвыездно жила где-то в отдаленной деревне.

В Острогожске генерал Юзефович жил с сестрой своей, Анной Михайловной, и ее дочкой, девочкою лет десяти. С некоторых пор к ним присоединилась еще другая племянница генерала, Мария Владимировна. То была дочь его брата, страдавшаго ипохондрией и предпочитавшего жить одиноким в деревне. Не знаю, каким путем дошли до генерала слухи обо мне, только в один прекрасный день я был приглашен к нему для переговоров о занятиях с его племянницами. Димитрий Михайлович вошел, окинул меня орлиным взглядом, промолвил пару слов и скрылся, предоставляя дальнейшие объяснения сестре. Анна Михайловна со мной долго и обстоятельно беседовала. Она с тонким женским тактом совсем обошла меня и выведала все, что ей надлежало

знать. В конце концов меня нашли пригодным для дела, которое хотели мне поручить, и я немедленно начал занятия с двумя девочками по русскому языку и по истории. Мои шестнадцать лет не оказались препятствием к тому. В этом еще раз сказалось предубеждение против казенных учителей в нашем краю. Человек умный, как Юзефович, сам правительственное лицо, и тот в крайнем случае предпочел им мальчика-недоучку.

Как бы то ни было, я сделался учителем в доме генерала и даже встал там твердою ногою. Ученицы полюбили мои уроки, хозяйка возымела ко мне безграничное доверие, и, что всего замечательнее, мною заинтересовался сам генерал. Вознаграждение я получал небольшое. Но Димитрий Михайлович, кроме того, еще одевал меня и нанимал мне, по соседству, небольшую квартирку.

Мало-помалу я сделался у него своим человеком. К моим учительским занятиям присоединились другие, по части библиотеки. Она была у генерала довольно обширная, но в беспорядке. Я делал ей опись и без устали рылся в книгах. Димитрий Михайлович, получая газеты и журналы, делал на них заметки. Я должен был их описывать в особую тетрадь и дополнять собственными комментариями — с какою целью, не знаю. Вообще Димитрий Михайлович, в период своего благоволения ко мне, не раз облекал меня оригинальными полномочиями. Так, однажды он позвал меня в свой кабинет и вручил толстую тетрадь из прекрасной веленевой бумаги.

— Вноси сюда, — сказал он, — все, что я буду говорить и приказывать, и сопровождай это своими замечаниями, не стесняясь, если они не всегда будут в мою пользу. С этого времени ты состоишь лично при мне, моим библиотекарем и журналистом.

В другой раз он отдал мне начало своего сочинения «О славе и величии России» и приказал продолжать его. Сочинение отличалось и в те даже времена редкой высокопарностью и, судя по множеству помарок и изменений в слоге, стоило автору больших усилий.

Но я не хотел или не мог тогда этого видеть и, повинуясь воле моего покровителя, рьяно пустился вслед за его широковещанием и риторическим парением, предварительно выразив, однако, сомнение в возможности подняться на одну высоту с ним. И, действительно, я не смог. Под влиянием моей склонности идеализировать все, что почему-нибудь говорило моему сердцу или воображению, я возвел на пьедестал и Димитрия Михайловича. Он мне представлялся великим историческим деятелем, и я считал дерзостью признавать в нем недостатки или идти за ним следом, хотя бы даже по его приглашению. На самом же деле все было гораздо проще. За недостатком ясного представления, в чем именно полагал он славу и величие России, генерал запутался в лабиринте напыщенных фраз и предоставил мне его оттуда вывести. Я же простодушно принял его вызов за чистую монету и, в свою очередь, расправил крылья, но они меня не сдержали: пришлось отказаться от непосильной задачи. Очевид-

но, я был ниже роли, которая предназначалась мне. Но это на первых порах еще не испортило моих отношений с генералом: он еще долго продолжал ко мне благоволить и осыпать меня знаками своего внимания.

Гораздо проще и теплее относилась ко мне сестра генерала. Анна Михайловна была еще молода — лет двадцати семи, восьми. Ее нельзя было назвать красивою, но она привлекала выражением ума и доброты на миловидном лице, а обращение ее было проникнуто какой-то особенной задушевной простотой, невольно вызывавшей на откровенность. Она воспитывалась в Петербурге, в Екатерининском институте, и с большим оживлением вспоминала время, которое там провела. Она часто рассказывала о нравах и обычаях институток, об их занятиях, забавах и учителях и особенно лестно отзывалась об их общем любимце, преподавателе русской словесности, И.И. Мартынове[91]. Он был впоследствии директором департамента в министерстве народного просвещения и известен в ученом мире переводом греческих классиков. Увлекаемая благосклонностью ко мне, Анна Михайловна иногда проводила параллель между популярностью Мартынова среди институток и расположением ко мне моих острогожских учениц. Она, шутя или серьезно, пророчила мне блестящую педагогическую карьеру. Ни ей, ни мне, однако, не приходило в голову, что судьба действительно готовила мне некоторый успех в стенах того самого заведения, где подвизался Мартынов, и по его же предмету.

Я в самом деле был счастлив с моими ученицами. Не говорю о других, но и дочь Анны Михайловны, умная и способная, но преизрядная дурнушка, до того пристрастилась к моим урокам, что ее приходилось даже удерживать от излишнего усердия. Как теперь, чувствую на себе острый взгляд ее быстрых глазок, когда она, склонив голову набок и поджав губки, слушала мои объяснения. Двоюродная сестра ее, Марья Владимировна, или, как ее все называли, Машенька, далеко уступала ей в способностях и в прилежании. Зато она была прелестна собой. И после немного видел я женщин с такой свежестью и с таким блеском красоты. Она едва начинала выходить из детства и представляла очаровательную смесь ребяческого простодушия с первыми проблесками сознания женского достоинства. Если бы сравнение молодой девушки с распускающеюся розою уже не было и прежде избито, его следовало бы изобрести для Машеньки. Оно невольно приходило на ум при виде ее матово-белых щечек с легким розовым оттенком, который, при малейшем движении души, вспыхивал ярким румянцем и разливался по всему лицу, по шее и по рукам. Еще особую прелесть сообщала ей тень задумчивости, лежавшая в ее взгляде и в углах тонкой дуги рта. Машенька была очень чувствительна. Мне не раз приходилось подмечать, как у нее дрогнут губки, а на ресницах повиснет слеза. Эта задумчивость, в связи с непочатой свежестью ее детского личика, и трогала, и вызывала на размышления. Да и нельзя сказать, чтобы у Машеньки не было причин задумываться. Родители ее жили в деревне и мало думали о

воспитании дочери. Детство ее прошло между отцом-ипохондриком и матерью, доброю и умною, но чахоточною. Наконец, ее взял к себе дядя и впервые озаботился ее образованием. Но ему некогда было постоянно следить за ней, и он сдал ее на руки сестре. Анна Михайловна, во всех других отношениях достойная женщина, в этом случае оказалась ниже самой себя. Она была страстная мать, а дочери ее природа отказала даже в самой заурядной миловидности: отсюда ее раздражение против хорошенькой Машеньки. Она завидовала ей и, во избежание невыгодных сравнений для своего детища, держала племянницу в стороне. Таким образом, бедная Машенька и в доме дяди оставалась одинокою. Тут, кстати или не кстати, выступил на сцену я. Сначала она меня дичилась и бросала на меня из-под длинных ресниц недружелюбные взгляды. Я был для нее учитель, существо несимпатичное, которое должно было, думала она, внести в ее и без того невеселую жизнь новый элемент скуки и принуждения.

Я, со своей стороны, не без трепета приступал к занятиям с ней. Такой ученицы у меня еще не бывало. Всего годом моложе меня, она, со своей расцветающей красотой и с дремлющим умом, казалась мне, ошалелому от романов, спящей царевной, разбудить которую был призван я. Во мне заиграло воображение, и я задался мыслью расшевелить ум и сердце Машеньки. Увы! первое так и осталось мечтой, а второе дало мне мимолетное и далеко не полное удовлетворение. Машенька скоро убедилась, что я не сухой педагог, а живой, увлекающийся юноша, который, при всей напускной важности и требовательности, на какую его обязывал учительский долг, способен и сочувствовать, и, по возможности, облегчать ей труд. Строгий и сдержанный вид маленькой женщины уступил в ней место детской доверчивости. Она сделала меня поверенным своих маленьких тайн и огорчений. А я, смотря по обстоятельствам, то ласково утешал ее, то с важностью ментора читал ей наставления.

Но мало-помалу в нас зародилось чувство более горячее и требовательное, чем братская приязнь, которою мы, однако, продолжали обманывать себя. Предоставленные самим себе — Анна Михайловна никогда не присутствовала при наших уроках, — не знаю, как далеко зашли бы мы в нашей неопытности и какой исход имела бы в заключение эта опасная игра, в которую уже начали замешиваться и пламенные взгляды, и нежные рукопожатия. Но тем временем наступил отъезд из Острогожска генерала. Димитрий Михайлович не хотел больше подвергать Машеньку случайностям своей военной кочевой жизни и поместил ее, для окончания образования, в харьковский институт. Горестно было наше расставание; мы знали, что никогда больше не свидимся. Наш последний урок прошел в слезах и горьких сетованиях на нашу судьбу. Под конец мы не выдержали, бросились в объятия друг друга и обменялись первым и последним поцелуем. Машенька уехала, а я вдогонку ей написал длинную прощальную элегию, конечно, в прозе, которую, в качестве наставника, постарался испестрить возвышенными сентенциями и поучениями.

Этим и кончился первый романтический эпизод моей жизни. Он бледен, скажут. Пусть так, но, за отсутствием более ярких радостей в моей трудовой и полной лишений юности, и он был светлым лучом, воспоминание о котором и до сих пор греет меня.

Новое обстоятельство скоро еще больше скрепило мои отношения с генералом Юзефовичем. Отец покончил дела с Юлией Татарчуковой и вернулся из Богучара. Он расстался со своей доверительницей, как только перестал быть нужен ей. Впрочем, сам отец подал главный повод к тому. Его романтическая страсть к молодой вдове постоянно росла и, наконец, приняла размеры, которые начали уже серьезно грозить ее покою. Устроив ей гнездо, неугомонный обожатель Юлии задумал и сам поселился в созданной им Аркадии, хотя бы для того только, чтобы беспрерывно наслаждаться лицезрением своего божества. Молодая женщина не согласилась. Между ними произошла ссора, и они расстались, на этот раз уже навсегда — она, негодуя на дерзкий план своего поклонника, а он, унося с собой глубокую рану отвергнутой любви.

Генерал Юзефович, между тем, давно желал заручиться моим отцом для ведения собственных дел. Он поспешил воспользоваться настоящей минутой и предложил ему заняться тяжебным делом по его имению в Полтавской губернии, в Пирятинском повете, как тогда назывались малороссийские уезды. Отцу, таким образом, предстояла новая разлука с семьей; ему надо было ехать на самое место производства дела, в вотчину генерала, Сотниковку. Он вообще не любил тяжебных дел, особенно сомнительного свойства, каким позднее и оказалось поручаемое ему теперь. Генерал тягался с крестьянами за землю, которую, кажется, отнял у них не совсем законно. Как бы то ни было, а тогда отец еще ничего об этом не знал и, чтобы не остаться без хлеба, согласился еще раз окунуться в ненавистный ему тяжебный омут. Он уехал в Сотниковку, а Димитрий Михайлович взялся, в его отсутствие, заботиться о всей нашей семье. И, действительно, он так устроил мать, что она, по крайней мере на время, была избавлена от нужды.

Мало того, несколько месяцев спустя он, снисходя к желанию отца повидаться с кем-нибудь из домашних, отправил меня к нему. Генерал с редкою заботливостью снарядил меня в путь, взял на себя все дорожные издержки и, ввиду моей неопытности, для большой безопасности дал мне в провожатые одного почтенного унтер-офицера. Отца я застал отягощенного делами и в сильной тоске. К сердечным страданиям, к скуке одиночества теперь присоединилось еще щемящее чувство недовольства самим собой за легкомысленно взятую на себя ответственность по делу, в правоте которого он начал разочаровываться. Свидание со мной, однако, значительно освежило его, и я с ним расстался, не подозревая, что видел его в последний раз.

Матери недолго пришлось пользоваться относительно беззаботным существованием под крылом Юзефовича. Два месяца спустя после моей поезд-

ки в Полтавскую губернию мы получили известие о смерти отца. Он умер в Пирятине, после пятидневного недомогания. Судьба до конца не смягчилась к бедному страдальцу. Он умер, удрученный сознанием бесплодности своих трудов. Чужие руки закрыли ему глаза. Присутствие близких не смягчило горечи его последних минут. Бедный, бедный отец! На что послужили ему способности, благородство чувств и честность поступков? Все это было в нем исковеркано, придавлено средой и обстоятельствами. Можно ли винить его в том, что он не превозмог своей судьбы, не всегда умел противиться страстям? Нет, пусть ищут героев, где хотят, но не в русском крепостном человеке, для которого каждое преимущество его натуры являлось новым бичом, новым поводом к падению. А отец мой до последнего вздоха сохранил настолько уважения к своему попранному человеческому достоинству, что и в позоре своего положения не опозорил себя ни одним низким делом, ни одной бесчестной мыслью.

XVI. В Ельце. Чугуев

Известие о смерти отца дошло до нас через генерала Юзефовича. Он постарался, насколько мог, смягчить этот новый удар нашей бедной матери. Он и себя приобщал к нашему горю, говорил, что лишился в покойном незаменимого помощника; обещал по-прежнему заботиться о его семье.

Странное обстоятельство предшествовало смерти отца. Между сложными и запутанными явлениями человеческой жизни встречаются такие, которые в простодушных людях вызывают невольное расположение к суеверию. Так было и с моею матерью. Ей, незадолго перед тем, приснился сон, в котором она до конца жизни не переставала видеть пророческий смысл. И в самом деле, он удивительно совпал с последующими событиями ее жизни. Ей снилось, что она с отцом и со мной куда-то едет в телеге. Местность незнакомая. Я сижу рядом с ней; отец, на облучке, правит лошадью. Вдруг небо точно вспыхивает, над нами раздается оглушительный треск грома. Отец мгновенно исчезает. Испуганная лошадь бьется и грозит опрокинуть телегу. Мать в ужасе. Но я хватаюсь за возжи и восклицаю: «Не бойтесь, мы доедем, куда нам надо: я буду править». Два дня спустя пришла весть о смерти отца, и мне действительно надо было взять в свои еще слабые руки управление нашим семейным мирком и вести его дальше по пути жизни.

Наступил 1820 год. Генерал Юзефович был назначен командовать вместо драгунской первой конно-гвардейской дивизией. Последняя квартировала в Ельце, куда Димитрий Михайлович и должен был немедленно отправиться. Он стал и меня звать с собою. Привязанность к нему и к его сестре, с одной стороны, с другой — выгоды семьи, которой я теперь был единственным кормильцем, заставили меня согласиться. Мать, как ни тяжела была для нее эта новая разлука, однако, сознала основательность моего решения и не противи-

лась моему отъезду. Да я и ехал не на край света! Но не так легко обошлось дело с моими острогожскими друзьями. Я и не подозревал, что был такой важной особой в их глазах. Кружок, в котором я вращался, и особенно родители моих учеников заволновались. На меня посыпался град упреков. Доставалось и генералу за то, что он меня «похищал», только ему, конечно, за глаза, меня же открыто укоряли за измену городу, так радушно приютившему меня. Я был озадачен, огорчен, уже готовился взять назад слово, данное генералу, но тот распорядился по-военному: мигом поднялся всем домом и увлек меня за собой, не дав времени одуматься.

Итак, я очутился в Ельце. Генералу было отведено прекрасное, обширное помещение — целый дом одного из богатейших купцов в городе, Желудкова. Елец тогда слыл одним из лучших уездных городов. Он был хорошо обстроен. В нем насчитывалось немало каменных зданий, между прочим, двадцать две церкви, и почти не слыханная в те времена роскошь — он мог похвалиться каменной мостовой. Внешним видом Елец, что и говорить, значительно превосходил мой милый Острогожск, но зато в такой же мере уступал ему по внутреннему содержанию и складу в нем жизни. В Ельце, как в городе исключительно торговом — он вел обширную торговлю крупичатой мукою, — почти не было дворян. Местную аристократию составляли купцы, которые преследовали одну цель — наживы. Таким образом, все соревнование между ними ограничивалось щегольством друг перед другом, изворотливостью и плутовством, как лучшими средствами для достижения этой цели. Чиновничество соперничало с ними и в стремлении к наживе, и в искусстве обогащаться; оно повально брало взятки и обкрадывало казну. Запевалой здесь, как и подобало при таких условиях, было первое в городе чиновное лицо — городничий. Какой-то отставной полковник, без ноги, он, что называется, драл с живого и с мертвого и пользовался соответственным почетом среди подобных себе. Нравы всех горожан вообще были старинного склада, наивно-грязные и грубые: в них не было места ни общественным, ни семейным добродетелям. Женщины там, по примеру бабушек, все еще безобразили себя белилами и румянами.

Набожность у этих людей не шла дальше сооружения домашних киотов с бóльшим или меньшим количеством икон да соблюдения постов, не исключавших, впрочем, обжорства жирными стерлядями и расстегаями. Проходя мимо церкви или встречаясь с покойником, они широким знамением креста осеняли себе лоб и чрево, но, завидев попа, усердно отплевывались.

Но все это не исключало, по крайней мере среди купцов, ни своего рода добродушия, ни исконного свойства славян — гостеприимства, которые и являлись искупительными чертами в характере этого невежественного, закоренелого в старинных предрассудках общества. Только гостеприимство у них было тоже своеобразное, под стать их общему тону. Созывал богатый купец к себе гостей, угощал их обедом на славу; а затем приказывал запирать в доме

ворота. Начиналась попойка. Никто из гостей не мог уйти домой и волей-неволей должен был напиваться до потери сознания. Не угостить или не угоститься, таким образом, считалось невежливостью и горькой обидой.

Впрочем, и здесь, как везде, правило было не без исключений. Из общей распущенности и самодурства выделялось несколько купеческих же семей, смягченных не образованием, конечно, которому не было доступа в это торговое гнездо, а своими собственными, природными, более утонченными вкусами и наклонностями. К числу таких, между прочими, принадлежали семьи одного очень богатого почетного гражданина, Кононова, и нашего хозяина, Желудкова. В их нравах была некоторая сдержанность, а в домашней обстановке — стремление к порядочности и комфорту. У обоих были под городом дачи с роскошными парками и оранжереями. Там задавались генералу пышные обеды, на которые и меня приглашали с его семейством. Здесь уже, само собой разумеется, не было ни попоек, ни каких других излишеств: все обходилось чинно, прилично, «по-благородному». Впрочем, для нас и в других домах делались изъятия. И гости, и хозяева побаивались генерала, который не без величия держал себя с ними. Для него ворота всегда стояли настежь, и настоящее раздолье начиналось только с его удалением.

Обязанности мои в доме генерала Юзефовича теперь не ограничивались уроками с одною дочкою Анны Михайловны. Мне поручено было воспитание еще трех племянников, которыми, с переездом в Елец, увеличилось их семейство. Это были братья Машеньки. Отец их, страдавший, как я уже говорил, ипохондрией, тем временем совсем сошел с ума и скоро умер. Двое из этих мальчиков не представляли из себя ничего особенного, и дело у меня с ними пошло как по маслу. Зато третий, Ксенофонт, ленивый и непокорный, подчас даже буйный, стоил мне немалых забот. На него не действовали ни строгость, ни ласка. Более опытный педагог, вероятно, сумел бы с ним справиться, но я, сам еще почти мальчик, решительно не знал, что с ним делать. Этот бедный Ксенофонт был в течение некоторого времени единственным шипом среди приятных ощущений моего настоящего положения.

Вообще житье мое в Ельце распадается на два периода. Первый и, как все хорошее, кратчайший принадлежит к числу лучших моих воспоминаний. Прошло первое впечатление разлуки с Машенькой и с другими милыми моему сердцу; улеглось огорчение, вызванное негодованием против меня друзей, и я на время почувствовал себя почти счастливым. Мать моя с младшими детьми была, в известной мере, обеспечена. Сам я ближе прежнего стоял к предмету моего поклонения. Димитрий Михайлович был тогда героем всех моих фантазий. Он казался мне олицетворением всевозможных доблестей. Я безусловно верил ему и в него. Да, и добр же он был ко мне в это время! С переездом в Елец я жил не только в его доме, но и на равной ноге с членами его семьи. Вокруг меня была атмосфера довольства, тепла и изящества, под влиянием

которой мог беспрепятственно продолжаться процесс моего нравственного и физического роста. Димитрий Михайлович беспрестанно вызывал меня на разговоры и, по-видимому, сочувствовал самым неумеренным моим мечтам. Немудрено, если я расцвел, стал смелее, развязнее, одним словом, поднялся духом, — ненадолго, однако, и горько заплатил за эти минуты счастливого самозабвения. Та же рука, которая подняла мой дух, с новой силой и сокрушила его опять.

Я уже не раз упоминал о моих авторских вожделениях. Здесь, в Ельце, где все так льстило моему самолюбию, они разыгрались с новою силою. Я даже затеял написать роман во вкусе «Новой Элоизы» Ж.-Ж. Руссо[92]. Мне недавно привелось прочесть это произведение в плохом переводе какого-то Потемкина[93], а также «Эмиля», переведенного какою-то Елисаветою Дельсаль[94]. Обе книги произвели на меня глубокое впечатление, и я, недолго думая, принялся подражать первой из них. Я попеременно писал и рвал написанное. Исписал много бумаг и столько же изорвал. Дело, очевидно, не ладилось. Но я не отставал и иногда целые ночи просиживал над этою глупостью, которая, говорю теперь с удовольствием, так и осталась неконченою. Подстрекателем моим и в этом случае был все тот же Димитрий Михайлович. Он, правда, еще ни строчки не прочел из написанного мною, но всегда знал, что у меня на мази. В свободное время, за вечерним чаем, он любил расспрашивать меня о том, что я делаю, что пишу, даже что думаю, и всегда с одобрением относился ко всем моим затеям. И вдруг, какая перемена! Я с особенным одушевлением поверял ему свои планы. Генерал слушал, опустив голову. Внезапно губы его искривила насмешливая улыбка, и с них, вместо обычного привета, сорвалось едкое замечание: напрасно, дескать, заношусь я так высоко, не имея на то ни нравственных, ни материальных прав. У меня в глазах потемнело: что это, злая шутка или горькая правда? Я был глубоко уязвлен, но ненадолго. Острая боль от неожиданного удара уступила место томительному колебанию. Непогрешимый, в моих глазах, генерал, конечно, был прав, я не только бесправный, но и бездарный. Все мои заветные стремления и мечты — одна игра самолюбия. Хорошо же: никто с этой минуты не будет больше вправе упрекать меня в том. Я сгреб в охапку свои книги и бумаги, бросился в кухню и с размаху швырнул все это в пылающую печь, к великому изумлению повара-француза.

Этим подвигом на время как бы истощилась моя энергия. Утомленный нравственно и физически, я впал в апатию. Но генерал поспешил меня и из нее вывести. За вечерним чаем, в тот же день, он продолжал с непонятным упорством издеваться надо мною. Я долго молчал и все больше и больше проникался сознанием своего ничтожества. Но Димитрий Михайлович становился все злее и ядовитее. Тогда и я ожесточился и довольно резко заметил: «Вперед меня уже не станут упрекать ни за безрассудные стремления, ни за занятия, которые мне не к лицу; я сжег свои книги и бумаги». Генерал нашел мои слова

дерзкими, а поступок глупым, сделал мне строгий выговор и велел уйти. Один в своей комнате, я почувствовал себя глубоко несчастным. Падение с идеальных высот, где я все это время усиленно витал, было слишком стремительно; оно и оглушило меня и разбередило старые раны. Немного спустя, проснулось самолюбие и помогло мне овладеть самим собой и своим положением. Но в первую минуту я не мог думать ни о чем, кроме печального столкновения с Димитрием Михайловичем. Восторженная любовь к нему вспыхнула в моем сердце со всею силою последней вспышки потухающего огня. Я забыл и свое оскорбление, и свой гнев и жаждал только одного — примирения с моим кумиром. При первой встрече же на следующий день я высказал Димитрию Михайловичу нечто в этом роде. Он выслушал меня холодно и отпустил неудовлетворенным.

С этих пор между ним и мною встала стена. Генерал больше мною не занимался и смотрел на меня исключительно, как на учителя своих племянников. А я заперся в самом себе и в отправлении своих обязанностей. Мы, по-видимому, оба взаимно разочаровались, и каждый вернулся в свою сферу. Ни я сам, никто из окружающих не могли дать себе отчета в том, что произошло. Мне и теперь это неясно, если не отнести всего этого на счет первых приступов злого недуга, который вскоре в нем развился. Но это одна догадка, и Димитрий Михайлович имел, может быть, для охлаждения ко мне какие-нибудь веские, но мне неизвестные причины.

Зато обращение со мной Анны Михайловны оставалось по-прежнему сердечным и дружеским, даже, если можно так сказать, с оттенком новой теплоты, и так было до конца моего пребывания в доме Юзефовича. Но особенно драгоценно было для меня ее участие в первый момент моего отчуждения от Димитрия Михайловича, когда я очутился в хаосе самых разнородных чувств. Мне так хотелось верить в себя, в правоту и законность моих намерений, так не хотелось терять доверия к тому, чье мнение еще вчера было для меня законом. Постепенно все это, конечно, улеглось, природные влечения взяли свое, и с помощью всесильного во мне рычага — самолюбия — я опять вошел в ту нравственную и умственную колею, из которой был выбит. У меня на полке, вместо сожженных, появились новые книги. Опять наросла кипа исписанных бумаг. Снова фантазия стала рисовать миражи будущих успехов, и я зажил прежнею двойною жизнью. Нет, думалось мне, я не склоню малодушно головы. Ополчись на меня хоть целый легион генералов, а я возьму свое или... если нельзя жить с честью — умру. Девиз под моим портретом, казалось, теперь огненными буквами врезался в моем мозгу.

Все это вихрем носилось в моей голове, но уже не шло дальше страниц моего дневника. Только что пережитый опыт сделал меня осторожным. Однако судьба, по-видимому, не хотела ожесточить меня: она вскоре послала мне нового друга, сердечная связь с которым у меня и по сих пор не порвана. Из

Москвы приехал еще один племянник генерала — у него их был много — старший сын его умершего брата. Он только что кончил там курс в благородном университетском пансионе. В Елец он прибыл незадолго до смерти своего отца и затем остался в доме дяди, намереваясь поступить в одни из командуемых последним полков. Это был молодой человек, всего несколькими годами старше меня, но образованный и с печатью хорошего тона, налагаемого известным положением в обществе. Но в характере его, в чертах лица и в способе выражения проглядывала своеобразная резкость, которая истолковывалась иными в смысле высокомерия и заносчивости. Ничто не могло быть ошибочнее. Михайло Владимирович[95] был само благородство, простота, а сердце имел не только доброе, но и нежное. Мнимая заносчивость его была не иное что, как юношеская отвага. Он был проникнут ею, горел и рвался на подвиг, который сразу бы, на самом пороге жизни, уже облек его в достоинство зрелого мужа. Но где найти удобный случай? И вот в ожидании такого Михайлу Владимировичу не терпелось ознаменовать себя, по крайней мере, дуэлью. Задор его в этом отношении иногда не был лишен комизма. И раз он, действительно, чуть не наскочил на дуэль. Михайло Владимирович был страстно предан своему дяде: он по справедливости гордился его умом, характером, служебным значением и воинскою доблестью. И вдруг до него доходят слухи, что какой-то офицер когда-то, где-то непочтительно отзывался о генерале. Воспылать гневом и послать дерзкому вызов было делом одной минуты. Но, увы! Никто никогда и не думал покушаться на честь уважаемого генерала. Слухи о том оказались чьею-то выдумкой, а не то и глупою шуткою, с целью подразнить молодого Юзефовича. Таким образом casus belli[96] исчезал сам собой. Пришлось сложить оружие и, за невозможностью постоять за дядю, утешиться мыслью о его твердо устоявшейся репутации среди общества офицеров. Михайло Владимирович так и сделал.

Наша дружба с ним завязалась чуть не с первой встречи и, чем дальше, тем теснее становилась. Нас соединяли общность вкусов и сходство в умственном складе. Оба одержимые недугом идеализма, мы до сих пор и в окружающем мире, и в самих себе тщетно искали удовлетворения своим непомерным требованиям. Теперь нам показалось, что мы друг в друге нашли желаемую точку опоры. Мы одинаково увлекались героями и древнего, и нового мира и с дерзостью и неопытностью молодости сами немножко метили в них. Разлад между моим внутренним миром и моими внешними обстоятельствами внушал молодому Юзефовичу глубокое участие ко мне — остальное дорисовывало его пылкое воображение.

Не меньше сходились мы и в нашем пристрастии к литературе. Сколько приятных, чудных часов провели мы вместе, читая и обсуждая то или другое произведение, не исключая и злополучных «Эмиля» с «Новой Элоизой», которых я опять где-то добыл. Нас никто не тревожил ни в наших занятиях, ни

в дружеских беседах. Генерал, как я уже говорил, вовсе перестал заниматься мною. Впрочем, ему и не до того было. Он часто отлучался на смотр полкам своей дивизии, а все остальное время посвящал составлению какого-то проекта. Он еще в Острогожске занимался им и теперь намеревался скоро представить его государю. Таким образом, мы с молодым Юзефовичем были предоставлены самим себе и своей дружбе.

Скверная вещь самолюбие! Без него плохо, с ним горе. Замешалось оно и в нашу дружбу и если не испортило ее, то только благодаря безграничной доброте и терпимости моего друга. Дело в том, что я был очень беден. Небольшое жалованье мое целиком отсылалось моей матери: его едва хватало на пропитание ее с четырьмя малолетними детьми. Я же, имея у генерала стол и квартиру, во всяком случае был избавлен от крайней нужды. Вначале она и совсем не давала себя знать, но понемногу стала проглядывать в одежде, и в заключение гардероб мой пришел в самое жалкое состояние. Верхнее платье еще кое-как держалось, благодаря оставшемуся после отца, которое и позволяло мне довольно прилично являться среди людей. Зато белье мое представляло сплошную массу дыр. Я, было, попробовал вооружиться иглой и кое-как заштопывать или зашивать жалкое подобие моих рубах. Но скоро это оказалось невозможным, и я бросил иглу. Впрочем, я мало обращал внимания на это: горю нечем было пособить, следовательно, о нем и думать не стоило. Но за меня подумал другой. Мой Михайло Владимирович Юзефович как-то проведал о моей нужде и вздумал предложить мне свою помощь. Его отец был большой щеголь, и после него осталась куча платья и поношенного белья. Мой друг отобрал часть того и другого и просил меня воспользоваться этими вещами — для него самого лишними. Казалось бы, чего проще, при близости наших отношений. Но я вздумал оскорбиться. Моя гордость возмутилась подарком, за который я не мог ничем отдарить. Там уже нет дружбы, думал я, где есть зависимость одного от другого, а я зависел бы от того, чье благодеяние принял. Бедность мою я сносил с полным равнодушием, и она не могла в моих глазах служить извинением. Наотрез и не без горечи отверг я предложенный мне подарок. К счастью, Юзефович был до конца великодушен. Он сумел войти в мое положение и хотя с сожалением, но без досады принял мой отказ. Отношения наши нисколько не пострадали. Мы продолжали по-прежнему вести задушевные беседы, поверять один другому свои воззрения на жизнь и на человека, читать новые литературные произведения в журналах, которые генерал выписывал в изобилии, и восхищаться красотой дочери стряпчего, звездой, сиявшею среди елецких барышень.

Кстати, о стряпчем, ее отце. Это был ловкий делец. Он занимался больше частными, чем казенными делами, и всякой правдой и неправдой нажил себе преизрядное состояние. Два сына его воспитывались в Москве, в университетском пансионе, вместе с Юзефовичем, и вместе с ним приехали в Елец.

Один из них был малый простой и недалекий, другой — болтун и франт, с претензиями на салонный тон. Жена стряпчего и мать предмета наших с Юзефовичем восторгов была бойкая бабенка провинциального пошиба. Несмотря на ее отцветающую красоту, генерал не побрезговал ею и свободные от службы часы обыкновенно посвящал беседе с ней наедине. Муж смотрел сквозь пальцы на проделки своей дражайшей половины, рассчитывая, что дружба ее с генералом и для него не останется бесплодною. Расчет оказался верен. Димитрий Михайлович не остался у него в долгу и за приятные часы с женой наградил мужа орденом Св. Анны третьей степени. И до сих пор не могу без отвращения вспомнить восторга рогоносца и его хвалебных и благодарственных гимнов «знаменитому сановнику».

В доме генерала Юзефовича была еще одна личность, с которою я состоял тоже в приятельских отношениях. Молодой человек, очень красивый, тонко образованный, с мягкими, изящными манерами, Алексей Иванович Лаконте занимал странное положение там и вообще представлялся личностью загадочной. Он перед тем служил в военной службе, даже участвовал в походе против французов, в качестве вольноопределяющегося, но был уволен без чина, за недостатком каких-то документов. Едва ли он не был чьим-то сыном любви. Француз по фамилии и по изысканной любезности и тонкости обращения, он говорил и писал по-русски так, как в то время у нас говорили, а тем более писали немногие. У него был приятный голос, и он часто услаждал наш слух пением модных романсов, которые передавал со вкусом и экспрессией под аккомпанемент гитары. С его красивого лица никогда не сходила тень грусти, и это меня особенно к нему привлекало. Неопределенность его положения и самое покровительство генерала, видимо, тяготили его, но он или не хотел, или не знал, как выбиться на свободу...

Вообще в отношениях этих трех лиц: генерала, Анны Михайловны и Лаконте, говорили, существовала какая-то тайна. Ходили даже такого рода слухи, будто Димитрий Михайлович, человек пылкий и в молодости неукротимый, одно время сильно увлекался своею собственною сестрою, но теперь прочил ее за Лаконте, которому и дал у себя убежище с этой целью. Так или иначе, во всяком случае не легко разобраться в этой путанице слухов, сплетен, а может быть, и клеветы. Общество везде на них падко, а провинциальное — тем более. Юзефовичи к тому же занимали слишком видное место в том мире, где вращались, и потому служили предметом особенно оживленных толков и догадок. В бытностью мою в доме Юзефовича ничто ни разу не выдало передо мной их тайны, если таковая существовала, и я не подозревал, что живу среди таких пылких страстей.

Внезапная холодность ко мне Димитрия Михайловича, надо отдать ему справедливость, не распространилась на мою мать. Он понял, как тяжела была для недавней вдовы разлука с сыном, и дал ей возможность повидаться с ним.

Он выписал мою мать в Елец и выдал на ее путевые издержки сумму, из которой она нашла возможность еще уделить часть на возобновление моего гардероба. По отъезде ее я мог считать себя богачом: у меня было четыре новые рубашки.

Из числа многих лиц, с которыми мне привелось столкнуться за это время, особенно живо врезалась у меня в памяти фигура тогда полковника Лепарского[97]. Кто не знает теперь имени этого благородного деятеля? Призванный стеречь в Сибири сосланных туда декабристов, он сумел внести в отправление тяжелой и щекотливой обязанности массу добра и гуманности, нимало не поступясь при этом своим долгом. Если правительство, назначая его на этот пост, имело великодушное намерение облегчить участь несчастных, оно вполне достигло цели. В Ельце Лепарский был уже не молод, но бодр и свеж. Он командовал Новгородсеверским конно-егерским полком, под начальством генерала Юзефовича. Трудно себе представить личность более симпатичную. Он весь дышал добродушием: оно проглядывало в его рослой, полной фигуре, сияло на его широком с седыми усами лице, звучало в тихой, размеренной речи, задушевный тон которой невольно вызывал доверие. Он и тогда уже отличался каким-то особенным сердечным уменьем соглашать важное значение начальственного лица с кротостью и поистине отеческой заботливостью о подчиненных. Зато они и были преданы ему душой и телом.

Тем временем проект генерала Юзефовича был кончен и отправлен в Петербург, а затем и сам автор вызван туда для личных объяснений. Проект предлагал распространение чугуевских поселений на три уезда Воронежской губернии: Острогожский, Старобельский и Бирюченский. Смутные, зловещие слухи об этом носились еще во время пребывания Юзефовича в Острогожске, где, собственно, и составлялся проект. Мирные жители этого благословенного края были крайне смущены ими. Они кое-что знали об аракчеевских порядках в военных поселениях и, главное, наслышались о терроре в Чугуеве. Что могло побудить генерала предложить правительству такую непопулярную и жестокую меру? Одно честолюбие разве, которое все сильнее и сильнее в нем разыгрывалось и в заключение помутило ему ум и сердце.

Как бы то ни было, а проект Юзефовича встретил благосклонный прием в Петербурге. Димитрию Михайловичу поручили озаботиться его исполнением. Центром и образцом для предполагавшихся в проекте новых поселений должен был служить Чугуев, и генерал получил предписание предварительно взять его под свое начальство. Он прямо из Петербурга, не заезжая в Елец, проехал к месту своего нового назначения, а семейству велел тоже немедленно собраться в путь и ехать туда же.

В конце апреля, ровно год спустя после нашего переселения в Елец, отправились мы в Чугуев. Ехали мы медленно, часто останавливались, между прочим, три дня в Острогожске. Я опять свиделся с матерью и с друзьями, гнев

которых к этому времени успел остыть, и они приняли меня с распростертыми объятиями. Затем мы гостили в Харьковской губернии у помещицы Зверевой, почтенной старушки, к дочери которой, как сказано выше, был неравнодушен наш пылкий генерал, и, наконец, уже недалеко от Чугуева провели несколько дней в слободе Салтовой, имении богатых помещиков Хорват.

Ни самого Хорвата, ни жены его уже не было на свете, и их единственная дочь владела всем огромным состоянием их рода. Она была прелестная молодая девушка. Жила она в оригинальной обстановке: одна, хозяйка в великолепном доме, со старушкой-гувернанткой и пожилым священником, другом ее родителей, который учил ее закону Божию. Пребывание в Салтове оставило во мне розовое воспоминание. Роскошь и изящество там мельчайших подробностей были под стать красоте хозяйки. Все в ней и около нее ласкало взор. Она была так пленительно проста; ее глаза смотрели так открыто и приветливо, что меня, лишь только я взглянул на нее и обменялся с нею парой слов, точно спрыснули живой водой. Сердце мое или, вернее, воображение, вспыхнуло, как порох, я пришел в восторженное состояние и, что называется, расходился. Должно быть, я был в ударе: говорил без умолку, и меня охотно слушали. Милая хозяйка поощряла меня то взглядом, то улыбкой и каждое утро награждала свежим букетом роз, которые сама собирала на ранней прогулке в саду и вязала в пучок. Немало трунила надо мной по этому поводу Анна Михайловна, но я не унимался.

Быстро прошли эти светлые дни, и мы в половине мая прибыли в Чугуев. Каким безотрадным показался он после свежих впечатлений, вывезенных из Салтова. На нем лежала печать уныния и неумолимой аракчеевской дисциплины. Все в нем было перевернуто вверх дном. Везде суматоха, перестройка и возведение новых зданий. Прокладывались новые улицы, старые подводились под математические углы; неровности почвы сглаживались: не говоря уже о горах и пригорках, была срыта целая гора, с одной стороны замыкавшая селение. Но все это еще только начиналось или было доведено до половины. Вполне готовым стоял только один небольшой деревянный дворец на случай приезда государя. В нем пока и поселился генерал.

Дворец был расположен на живописной высоте, с которою с другой стороны граничило поселение. Она террасами спускалась к светлому и тихому Донцу, а на них разводился парк, который обещал быть роскошным, судя по громадным работам, производившимся под надзором искусных инженера и садовника.

Но над всем этим носилась мрачная тень воспоминаний о страшных жестокостях, произведенных здесь Аракчеевым[98] незадолго до назначения генерала Юзефовича. Главное население Чугуева состояло из казаков. Когда до них дошла весть о намерении обратить их в военных поселенцев, между ними произошли смуты. Аракчеев, как известно, шутить не любил: в данном

случае он явился настоящим палачом. Насчитывали более двадцати человек, насмерть загнанных сквозь строй. Других, забитых до полусмерти, было не счесть. Ужас, как кошмар, сдавил в своих когтях несчастных чугуевцев.

Мне, после приятной салтовской интермедии, показалось, что я попал в кромешный ад. Да и трехдневное пребывание мимоездом в Острогожске разбередило во мне старый мой недуг, тоску по родине, которая в Ельце только дремала, а теперь пробудилась со всей силой. Сначала я еще находил некоторое утешение в участии моих добрых друзей, Анны Михайловны, Лаконте и особенно Михаила Владимировича Юзефовича. К тому же у меня завелись и новые приятные знакомства. Упомяну из них об адъютанте генерала, вступившем в его штаб в Чугуеве, Андрее Федосеевиче Раевском[99]. Весьма образованный молодой человек, он был автор стихотворений, печатавшихся в тогдашнем «Вестнике Европы», и переводчик военного стратегического сочинения эрцгерцога Карла[100], который в то время, вместе с генералом Жомини[101], пользовался большой популярностью среди военных.

Скоро прибыл сюда еще вызванный генералом из Петербурга чиновник его особой канцелярии, Флавицкий, тоже очень милый и образованный человек. Мы часто сходились по вечерам и вели оживленные разговоры — всего чаще о литературе. Димитрия Михайловича я видел только за обеденным и за чайным столом. Он был очень занят и жил почти вне дома. Я продолжал попрежнему давать уроки его племяннице и племянникам.

Но мало-помалу и занятия, и участие друзей перестали оказывать благотворное влияние на расположение моего духа. Лютая тоска буквально съедала меня и в заключение свалила с ног. Я тяжко заболел и если не умер, то только благодаря уходу за мной Михайла Владимировича. Но, выздоровев физически, я не выходил из состояния нравственной истомы. Меня тянуло домой, к своим. Чугуевский воздух казался мне отравленным, и одно влияние родины, думалось мне, может спасти меня. Наконец, я решился просить генерала, чтобы он уволил меня от должности, теперь непосильной. Он разгневался и сначала и слышать не хотел о моем отъезде, но потом постепенно смягчился и согласился отпустить меня — и не с пустыми руками. Я с облегченным сердцем стал собираться в путь.

Между тем в характере Димитрия Михайловича стали проявляться странные симптомы. Знавшие его только в Чугуеве принимали их за природные свойства его натуры. Но более близкие люди и те, которые раньше имели с ним сношения, с тревогой замечали в нем резкую перемену. Он становился сух и суров в обращении и все чаще и чаще подвергался вспышкам беспричинного гнева. В поступках его проглядывала непоследовательность, а в речах — бессвязность. Все это долгое время объяснялось излишком труда и забот. Странности и несообразности проскакивали даже в приказах по дивизии, которые печатались в вывезенной им из Петербурга типографии. Они отлича-

лись непомерной витиеватостью и часто не согласовались с сущностью дела. Помню я один приказ его около этого времени. Дело шло о каком-то легком нарушении дисциплины одним из младших офицеров. «Поручик (такой-то)», стояло в приказе, «впал в грех». Следовало нечто вроде проповеди или поучения, и все заключалось трогательным увещанием «не грешить вперед». Все удивлялись, но никто еще не предвидел приближавшейся катастрофы.

Отъезд мой состоялся в половине июня. Несмотря на страстное стремление домой, я с глубокой грустью расстался с моими дорогими друзьями: Анною Михайловною, Лаконте и молодым [М.В.] Юзефовичем. С первыми двумя я простился навеки, с последним мы свиделись и возобновили дружбу лет двадцать пять спустя. Он был уже помощником попечителя Киевского учебного округа, а я — профессором в Петербурге и, как говорится, лицом влиятельным в министерстве народного просвещения...

XVII. Опять в Острогожске

Мать не ожидала меня и тем больше обрадовалась. Застал я ее, по обыкновению, в тяжелых заботах. Мое скромное жалованье, дойдя до нее, всегда быстро истощалось, и ей, до следующей получки, приходилось пробавляться собственным трудом. Теперь я возвращался с 300-ми рублями в кармане, и радость свидания таким образом усугублялась для нее еще и материальным облегчением. Эта сумма давала и мне возможность немного отдохнуть и осмотреться до приискания новых занятий.

Острогожские друзья тоже ласково приняли меня. Только число их уменьшилось на весь военный персонал. Московский драгунский полк, с которым я так сжился, был переведен в другой город, а к нам, вместо него, назначен на постой Каргопольский. Дивизией командовал генерал Загряжский[102], и в его штабе у меня не было знакомых. Зато городские приятели оказались все налицо.

Оправясь с дороги, следовало подумать о том, чем жить вперед и как прокормить семью. Но что мог я придумать нового, кроме прежней учительской лямки? Я и взялся за нее опять. К счастью, ни ученики мои, ни родители их не забыли меня, и теперь, когда я вернулся, без труда простили мне мою эмиграцию в Елец. Очень немногие из прежних уроков отошли от меня, да и те с избытком заменились новыми. Учеников скоро набралось столько, что я мог открыть у себя в доме школу. Я работал усердно, мать неутомимо помогала мне, и мы, при скромности наших требований, могли считать себя почти довольными. Да, если б над нами не стряслась новая беда!

Я, конечно, имел большую заручку в покровительстве городских властей, но положение мое, тем не менее, было непрочно. Меня только терпели, а я, собственно говоря, не имел никакого права учить, тем более заводить школу.

Если мне это до сих пор сходило с рук, то только благодаря присущей нашему обществу готовности при всяком случае обходить закон. Но могла ежеминутно явиться другая сила, враждебная той, которая поддерживала меня, и одним толчком опрокинуть мое крохотное благосостояние. Самый успех мой мог только ускорить это, и так случилось на самом деле.

Штатный смотритель, Ферронский, и его сын, Никандр, учитель в низшем классе уездного училища, были, как я уже говорил, одними из лучших друзей моих, и с их стороны мне нечего было опасаться. Но ими не исчерпывался весь училищный штат, и между казенными учителями были такие, которые менее терпеливо относились к моему вторжению в их область. Один из них особенно косо смотрел на меня. Моя конкуренция оскорбляла его, а мой успех поднимал в нем желчь. Он давно негодовал втайне и ухватился за первый случай поднять на меня гонение явно.

В уездном училище происходил годичный акт. Обычную в таких случаях очередную речь произносил мой противник. Он выбрал темою различные способы воспитания. Развивая свой предмет, он вдруг разразился злою филиппикою против самозваных учителей, невесть откуда являющихся бродяг, которые дерзко врываются в ряды официальных преподавателей и только морочат добрых людей, и далее, с такими прозрачными намеками, что личность обличаемого ни для кого не осталась тайною. Оратор, очевидно, хотел меня напугать и уронить в общественном мнении.

Речь его, однако, произвела совсем иное впечатление, чем он ожидал. Ее нашли неприличною, а меня жалели как жертву зависти. Сам я был глубоко огорчен, но не столько обидою, нанесенною мне, сколько сознанием горькой правды, послужившей к ней поводом. Что я в самом деле, как не бродяга и самозванец, в том обществе, где он, мой противник, — равноправный член и законный представитель умственных интересов? Нет, не его надобно винить, а мою злую судьбу! Все это я глубоко чувствовал и старался объяснить тем, которые выражали мне сожаления о случившемся.

Но как ни был я проникнут этою мыслью, я, однако, не мог покорно склонить головы под ударом. Мне следовало бороться и за себя, и за близких моих. При всем расположении ко мне острогожского общества событие это могло иметь для меня печальные последствия. Речь учителя, по заведенному порядку, была представлена в дирекцию. Там она получила характер доноса и могла возбудить дело, от которого круто пришлось бы и не мне одному. Чего доброго, и старик Ферронский мог поплатиться за свою великодушную терпимость. Надо было предупредить двойную беду. Мои доброжелатели посоветовали мне съездить в Воронеж и лично объясниться с недавно назначенным туда директором училищ Петром Григорьевичем Бутковым[103]. Особенно настаивал на этом наш уважаемый предводитель дворянства Василий Тихонович Лисаневич, самый влиятельный из моих покровителей. Он знал Буткова в Пе-

тербурге и даже находился в приятельских с ним отношениях. Отправляя меня теперь к нему, он дал мне рекомендательное письмо, в котором не поскупился на похвалы.

О новом директоре носились хорошие слухи. Говорили, что он умен, образован и с большими связями в столице. Это ободряло меня, но я все же не без трепета явился к нему.

Читая письмо предводителя, Бутков бегло взглядывал на меня. Мой скромный вид, должно быть, не возбудил в нем подозрений, и ходатайство Лисаневича оказало свое действие. Петр Григорьевич ласково обошелся со мной, много и участливо расспрашивал о моих обстоятельствах, о том, где я сам учился и как теперь учу других. Отпуская меня, он сказал:

— Формального, письменного разрешения преподавать я не могу вам выдать. Но, пожалуйста, успокойтесь и продолжайте по-прежнему учить. Я в самом скором времени собираюсь обозревать мою дирекцию, буду в Острогожске и тогда лично устрою ваше дело так, чтобы вперед вас больше не беспокоили. Другу моему, Лисаневичу, я сам напишу, а вы поезжайте с Богом домой и передайте Ферронскому все, что от меня слышали.

Месяца два спустя Бутков, действительно, приехал в Острогожск. Его встретили единодушным ходатайством обо мне. Мало того, ему представили оформленную бумагу с засвидетельствованием общего уважения горожан к моему характеру и поведению. «Такой-то, — стояло в бумаге, — оказал себя во всех отношениях человеком честным, благородным, достойным всякого внимания и похвалы, и соблюдением священнейших обязанностей христианина и гражданина заслуживает всеобщую доверенность. Дан 1821 года, декабря 11-го». Следовали подписи.

Эту бумагу я и теперь храню с глубокой признательностью к добрым людям, которые не только не покинули меня в беде, но еще вывели из нее с почетом.

Больше всех хлопотали Лисаневич и Ферронский. Впрочем, и директор не делал затруднений. Ферронский как смотритель училища получил публичное приказание и вперед мне не препятствовать в занятиях по школе. Добрый старик искренно радовался такому обороту дела.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы все это было очень законно, но и не преступно, однако же. Нарушение буквы закона в настоящем случае не вредило обществу, а только устраняло частное зло. Много лет спустя судьба опять свела меня с Петром Григорьевичем Бутковым — и где же? В стенах Академии наук, где мы оба были членами и даже заседали рядом. Он тогда был уже очень стар и сначала не признал во мне бедного неоперившегося юношу, который когда-то являлся к нему просителем. Я ему напомнил о его добром деле, и между нами завязались искренние, товарищеские отношения, которые не прекращались до его смерти.

Не знаю, были ли тогда люди добрее или судьба, желая уравновесить зло, лежавшее в основе моего положения, чаще других наталкивала меня на таких, только их в самом деле особенно много выпало на мою долю — по крайней мере, в молодые годы. Вот и самый гонитель мой не замедлил выказаться в совсем другом свете, чем в начале нашего знакомства. Человек честный, неглупый и вообще порядочный, но гордый и нетерпимый, он искренно считал меня самонадеянным шарлатаном, вредным для общества. Убедясь в противном, он охотно сознался в ошибке и сам протянул мне руку. Он даже сделался моим горячим сторонником и уже ни словом, ни делом больше не пытался мне вредить. Таким образом, я избавился от единственного врага, которого имел в Острогожске.

Да, избавился от врага и вышел победителем из ложного положения — но надолго ли? Меня терзала мысль, что право все же не на моей стороне, и я могу не сегодня-завтра опять стать жертвою новых враждебных случайностей. Да и самое дело, о непрочности которого я скорбел, разве оно удовлетворяло меня? Я честно трудился для пропитания себя и своей семьи, но ведь это был только долг мой, а не цель и задача целой жизни. Стремление вырваться из пут и, наконец, встать на твердую почву становилось все неудержимее. Страстные порывы к свободе, к знанию, к широкой деятельности подчас обуревали меня до физической боли. Сердце замирало от желания, голова шла кругом от усилий найти выход к свету. А выход был, я не сомневался и, как ни странно, а соответственно нетерпению, меня охватившему, росли и мои надежды — на что? Я сам не давал себе отчета, но все чего-то ждал, что непременно случится и выведет меня на настоящий путь. Одним словом, я, как говорится, верил в свою звезду — и верил с безумным упорством. Ведь, вот, думалось мне, если б Наполеон, еще в военной школе, кому-нибудь сказал, что надеется быть императором, его, конечно, перевели бы в сумасшедший дом. Я не Наполеон, но зато и претензии мои скромнее. Я не о короне мечтаю, а всего об университетской скамье: она одна сияет мне под лучами моей звезды, к ней одной направлены все мои помыслы...

Но в данную минуту надо мною тяготели два ярма, одно тяжелее другого: ярмо крепостного состояния и нищеты. Как сбросить их? Как прежде всего достичь желанной свободы? Одной веры в свою звезду недостаточно, твердил я себе: надо действовать, идти вперед на свет, которым она манит. И вот мне пришла в голову дикая мысль. Я вздумал пресечь зло у самого корня, и это — с помощью того, в чьих руках была моя судьба. Короче, я решился писать к графу [Д.Н.] Шереметеву и попросить у него свободы для того, чтобы окончить образование, зачатки которого он мог видеть в этом самом письме.

Не могу сказать, чтобы, приступая к этому, я серьезно верил в успех. Мне кажется, я действовал только для очистки совести. Я сознавал, что пускаю ладью свою в беспредельное море случайностей и полагаюсь при-

том только на «авось». Мои слабые данные на успех заключались в слухах о доброте графа да в расчете на его молодость. Он еще не успел зачерстветь, утешал я себя. Он прекрасно воспитан под наблюдением такой благодушной особы, как императрица Мария Федоровна. Он учился гуманитарным наукам, истории; конечно, почерпнул оттуда уроки благородства, великодушия и проникся сознанием своего высокого значения, как наследник знаменитого рода. Не может быть, чтобы все это не сообщило ему известной широты взгляда и не сделало его способным сочувствовать человеку, который ищет свободы с целью образовать себя. Да и какой материальный ущерб могло принести ему увольнение одного ничтожного мальчика из полутораста тысяч подвластных ему людей? В заключение я просил у графа позволения явиться к нему лично, чтобы на словах подробнее изложить ему мое дело.

Но граф Шереметев, как я узнал после, был очень ограничен. Все, чего я мог бы ожидать от него, даже не вдаваясь в идеализацию, было решительно ему недоступно. Он не знал самого простого чувства приличия, которое у людей образованных и в его положении иногда с успехом заменяет более прочные качества ума и сердца. Его много и хорошо учили, но он ничему не научился. Говорили, что он добр. На самом деле он был ни добр, ни зол: он был ничто и находился в руках своих слуг, да еще товарищей, офицеров кавалергардского полка, в котором служил. Слуги его бессовестно обирали; приятели делали то же, но в более приличной форме: они прокучивали и проигрывали бешеные деньги и заставляли его платить свои долги.

Сам граф был крайне апатичен и не способен даже наслаждаться своим богатством. Один только случай известен из его личного мотовства. Он [был близок] с танцовщицею Истоминою, и та, как говорят, стоила ему более трехсот тысяч рублей. Но это была ничтожная сумма в сравнении с тем, что похищали у него приближенные. Наконец, даже его огромное состояние поколебалось. Слухи о том дошли до его высокой покровительницы, и она склонила графа вверить управление своими делами какому-нибудь честному и умному администратору. Такого нашли в лице бывшего профессора Царскосельского лицея и позже директора департамента иностранных исповеданий Куницына. Выбор оказался удачный. Новый поверенный графа уплатил значительную часть лежавших на его имуществе долгов и остановил поток безумных издержек. К сожалению, смерть помешала ему довести до конца так хорошо начатое дело. Однако главное было сделано и достояние графа спасено.

Помимо этого, Куницын еще известен как ученый и общественный деятель.

Прошло два месяца. Ответа на письмо не было. Я вторично написал. Тогда последовала резолюция, которую мне сообщили через алексеевское вотчинное правление 17-го января 1821 года. Она поражала роковою категоричностью: «Оставить без уважения». Вот все, чего я добился.

Итак, участь моя, по-видимому, была решена навсегда. Казалось бы, как не прийти в отчаяние? Но я точно и не ожидал другого от моей попытки. Неудача меня огорчила, но не убила вконец моих надежд. В гордом сознании моего человеческого достоинства, мне не верилось, чтобы я, действительно, был обречен навсегда остаться в руках другого человека, да еще умственно и нравственно ничтожного. Настоящая неудача, шептал мне внутренний голос, еще не есть, не может быть последним словом моей судьбы, не время еще, значит, и прибегать к последнему средству уйти от нее. Вся сила теперь в моем втором девизе: «Терпение есть мудрость». Буду же терпеть до полной утраты надежд, до полного истощения веры...

Волнуемый этими мыслями, я жил в постоянном возбуждении, в чаду которого мне днем и ночью мерещился университет — и непременно Петербургский — в виде сияющего огнями храма, где обитают мир и правда...

Но ничто в моей внешности не выдавало моих тайных мук и честолюбивых желаний. По виду я оставался скромным учителем, как будто даже помирившимся со своей незавидной долей. Один дневник был моим поверенным. Перебирая теперь листы его, сколько следов подавленных слез нахожу я в нем, но и какой избыток жизненных сил, веры в неизбежное торжество добра и правды! Последняя оскудела от столкновения с опытом, но тот же опыт, с течением времени, оживил ее опять в ином, очищенном виде — в применении уже не к земным нашим нуждам, а к тем вечным, непреложным законам правды и добра, источник которых за пределами земного.

Занятия мои шли своим чередом. Школа моя процветала, и я попрежнему пользовался расположением острогожских граждан. Всего чаще бывал я у Ферронского и Должиковых, у Сцепинского и Лисаневича. Я в полном смысле слова был у них своим человеком. Не меньше ласкал меня и Астафьев, когда приезжал в город. Он всегда вносил новое оживление в наш кружок. Последний около этого времени увеличился новым членом, который занял в нем не последнее место. Это был недавно назначенный к нам в Острогожск городничий, Гаврило Иванович Чекмарев[104]. Он когда-то служил в военной службе и участвовал в походах, о чем свидетельствовал глубокий шрам от сабельного удара на его лице. Но он, еще задолго до двенадцатого года, вышел в отставку с чином майора.

Гаврило Иванович был светски образован. Он несколько гордился своим старым дворянским родом, и только расстроенное состояние принудило его снизойти до скромной роли городничего в уездном городе. Впрочем, у него было худшее горе — болезнь горячо любимой жены. У Чекмаревых было двое детей. Старший из них, семилетний Ваня[105], не замедлил поступить в число моих учеников.

У Гаврилы Ивановича была одна замечательная особенность, почти выходившая из границ вероятия, а именно: состоя городничим, да еще в видном и

богатом городе, он совсем не брал взяток. Между тем он получал всего триста рублей жалованья и какой-то микроскопический доходец со своего тамбовского разоренного гнезда. Таким образом, ему нелегко было бы сводить концы с концами, если бы не явилось к нему на помощь все то же несравненное острогожское общество. Оно оценило усердную и бескорыстную службу Чекмарева и, помимо казенного, определило ему еще от себя дополнительное содержание, конечно, без всяких официальных формальностей. Город, таким образом, являлся достойным своего городничего. Оба жили в тесной дружбе и оказывали друг другу взаимные услуги.

Чекмарев и меня пригрел. Первоначально приглашенный к нему в дом в качестве учителя, я вскоре превратился там в общего баловня. Сам городничий, жена его и дети смотрели на меня, как на родного. Я жил в нескольких шагах от них и не знаю, чей дом был больше моим: их или мой собственный.

Назначению к нам Чекмарева предшествовало следующее событие. До него острогожским городничим был Григорий Николаевич Глинка[106], тоже из отставных военных. Этот был буйного нрава. Пользуясь протекцией своих братьев, известных Сергея и Федора Глинок[107], он не стеснялся в обращении с мелкими и небогатыми горожанами, давал полную волю своему языку и рукам, безжалостно облагал их взятками и в заключение сжег бóльшую часть города. Случилось это так. С целью сорвать крупную взятку с одного мещанина, владетеля жалкой лачуги, он навязал ему, в виде постоя, полковую пекарню. Домишко был, конечно, деревянный, крыт камышом и стоял в центре города. А пекарня требовала непрерывной и усиленной топки печей. Закон прямо запрещал отводить квартиры для пекарен в густонаселенных частях города. Но что значил закон для нашего лихого городничего!

Время было летнее. Стояла засуха. Печь в доме никогда не отдыхала. Бедный хозяин не знал покоя, ожидая, что вот-вот она лопнет, и тогда несдобровать ни ему, ни соседям. Он слезно молил городничего перевести от него пекарню в более безопасное место. Тот, пожалуй, и соглашался, но под условием такой взятки, которая была решительно не под силу бедному домовладельцу. День за днем печи все больше и больше накалялись и, наконец, не выдержали: в пекарне действительно вспыхнул пожар. Лето было на половине, день знойный, но ветреный. Огонь быстро охватил соседние здания и потоком разлился по улицам города. Гасительные снаряды у нас ограничивались четырьмя испорченными трубами. Обыватели ничего не могли сделать для прекращения пожара, который в заключение истребил больше трехсот домов на лучших улицах. Добрая треть Острогожска обратилась в груду развалин, из которых он, по крайней мере на моих глазах, уже не мог подняться. Дом, где я жил, на мое счастье, уцелел, хотя и мы немало набрались страху и не избегли потерь.

Преступление городничего было слишком явно, чтобы скрыть его. Но, верно, у него в самом деле были сильные покровители: он ничем не поплатил-

ся, а только был переведен городничим же в другой город, а именно в Бобров. Тогда-то нам вместо него дали Чекмарева. Мы выиграли, но не бобровцы, которым выпало, по пословице, отведать в чужом пиру похмелья. Не напоминает ли это басню Крылова о щуке, которую судьи, за ее провинности, приговорили утопить в реке?

Большим утешением были для меня в это время письма, которые я аккуратно получал от моих чугуевских друзей. Они заключали столько ума и доброты, дышали таким участием ко мне, что дни их получки всегда были для меня настоящими праздниками. Но письма эти имели для меня еще и другой смысл: они являлись как бы звеном, соединявшим меня с тою средою, от которой я был оторван, но куда стремился всеми помыслами. Скоро, однако, и это звено порвалось. Над моими друзьями разразился удар, который положил конец и моим сношениям с ними.

В конце июня 1821 года я получил от Анны Михайловны скорбное письмо. Она извещала меня, что брат ее, Димитрий Михайлович, сошел с ума. «Увы!», писала она, «тот, от которого зависела судьба всех нас, сирот, а наипаче моя судьба, с Люлею, потерял совершенно рассудок и сделался для нас уже полумертвым... Я некоторым образом привыкла к горестям», продолжала она, «но это несчастье обратило меня в истукана. Я только и могу у всех спрашивать: что мне теперь делать, бедной сироте?» Затем следовали некоторые подробности. Государь оставил за Димитрием Михайловичем звание дивизионного командира, полное содержание и столовые деньги. Вся семья ехала в Киев, а оттуда собиралась на леченье в Карлсбад. Лаконте писал о том же. Странности генерала, которых и я был свидетелем, еще довольно долго принимались близкими за раздражение от усиленных занятий по службе. На самом деле они были зловещими предвестниками умопомешательства. Теперь это последнее объяснялось непомерным честолюбием генерала и тем внутренним разладом, который оно в нем поселило. Едва ли аракчеевская система военных поселений на самом деле приходилась ему по душе. Но желание во что бы то ни стало отличиться заставило его поступиться своими убеждениями и пренебречь внушениями просвещенного ума и благородного сердца. Отсюда колебания, недовольство собой и окружающими и в заключение катастрофа. Нельзя ли, однако, все это объяснить гораздо проще, а именно: наследственным недугом, жертвою которого уже раньше сделался родной брат его? Как бы то ни было, а в Димитрии Михайловиче Юзефовиче погибла высокодаровитая личность, заслуживающая более подробной и беспристрастной оценки. Я же, по моим личным отношениям к нему, могу только с благодарностью о нем вспоминать. Он недолго страдал и умер, не доехав до Карлсбада.

Еще два-три письма получил я от Анны Михайловны, уже из полтавского имения покойного генерала, Сотниковки. Раза два писали мне и молодой Юзефович с Лаконте, потом замолкли. В настоящую минуту я о них ничего

не знаю. Но где бы они ни были, живые или мертвые, они остаются для меня одними из лучших людей, каких я когда-либо знал, и лучшими друзьями, каких я когда-либо имел.

XVIII. Заря лучшего

Прошел 1821 год. Близился к концу и 1822-й. Мне минуло восемнадцать лет. В положении моем ничто не изменилось. Не было даже намека на возможность перемены когда-нибудь. Между тем ни для кого не заметно зрело событие, которое должно было приблизить меня к цели.

В 1820-х годах в России почти повсеместно учреждались библейские общества. Цель их состояла в распространении книг Священного Писания, преимущественно Евангелия. В это время был переведен на русский язык весь Новый Завет, а из Ветхого — Псалтирь и изданы вместе со славянским текстом.

Учреждение библейских обществ совпало у нас или, вернее, было вызвано политическим событием, которое видело в них полезное орудие для своих специальных целей. Вслед за низвержением Наполеона в Европе, как известно, образовался так называемый Священный союз из трех государей: прусского, австрийского и русского. Предлогом к нему выставляли стремление упрочить благо народов при твердом намерении этих государей царствовать в духе христианского братства. На самом деле у него была другая тайная цель.

Созданный Меттернихом[108] союз имел в виду противодействовать идеям, возбужденным французской революцией, т.е. парализировать движение народных масс к свободе, к обузданию феодального произвола, к установлению великого начала, что не народы существуют для правителей, а правители для народов. Это был настоящий заговор против народов. Не пренебрегая никакими средствами, союз призвал к себе на помощь и религию или, вернее, ту часть ее, которая была с руки ему, а именно: проповедь о смирении и повиновении. Обходя идею братского равенства, составляющую главную суть учения Христа, он недобросовестно держался только буквы известных истин, которые, взятые в отдельности, всегда могут быть по произволу искажены. Так поступали обскуранты всех времен. Они пользовались религией как средством для отупления умов с целью лишать их всякой инициативы и повергать в прах... Вспомним только, как действовали папы и как до сих пор действуют французские клерикалы и ультрамонтаны. А у нас разве еще не свежо воспоминание о временах Руничей[109] и Магницких[110]?

Император Александр I был человек с честными намерениями и возвышенным образом мыслей, но ума неглубокого и шаткой воли. Такого рода люди всегда искренно расположены к добру и готовы его делать, доколе им улыбается счастье. Но возникают на их пути трудности — а это неизбежно, — и они теряются, падают духом, раскаиваются в своих прежних широких и благих

замыслах. Роль их требует великих дел, а им отказано в органе, посредством которого те совершаются, — в характере. Люди эти, не выходя из посредственности, пригодны для обыкновенного порядка вещей, но не для ответственного положения, когда являются блюстителями народных судеб и руководителями событий, от которых зависит благо целых обществ.

Известно, какой переворот произошел в императоре Александре Павловиче после первых неудач, встретивших его либеральные поползновения. Даже сердце его охладело к России, лишь только оказалось, что ее грубые нравы, невежество, административные неурядицы не могут быть переработаны так скоро, как бы ему того хотелось по его добрым, но легкомысленным планам. Он отказался от реформ, которые перед тем сам признавал нужными и полезными, — отказался потому, что они требовали систематической твердой политики, не смущающейся ни трудностями, ни первоначальными неудачами. Вступая в Священный союз, он наивно верил, что достаточно провозгласить великие христианские истины, чтобы люди стали добрыми, возлюбили правду и мир, чтобы между ними установилось согласие, уважение к закону, а чиновники перестали грабить казну и народ. Он, конечно, был честнее Меттерниха, по крайней мере сознательно не делал из религии орудия политических интриг. Однако, по странному самообольщению, видел в ней личную союзницу, которая сеяла в сердцах людей нравственность для того, чтобы ему легче было управлять ими. Вот почему он так благосклонно смотрел на возникавшие у нас библейские общества и даже поощрял их деятельность под руководством главного учредителя их, князя Александра Николаевича Голицына[111].

Но, оставив в стороне ухищрения, нельзя отрицать, что основная идея библейских обществ была сама по себе симпатична. Стремясь к поднятию нравственного уровня народа, она косвенно вела еще и к распространению среди него грамотности. Отсюда сочувствие и деятельная поддержка, встреченная этими обществами среди просвещенных людей всех классов общества. В России беспрестанно открывались новые отделы его, именуемые «сотовариществами», центральное управление которых находилось в Петербурге, в руках князя А.Н. Голицына.

Такой интеллигентный город, каким был Острогожск, само собой разумеется, не захотел отстать от других. Первыми зачинщиками этого дела в нашем краю были богатые помещики. К ним охотно присоединились зажиточные граждане, и дело пошло в ход. Сумма, необходимая для открытия нового сотоварищества, была быстро собрана, и самое открытие состоялось в конце 1822 года. Председателем был избран Владимир Иванович Астафьев, а секретарем — не кто другой, как я!

Это было большим почетом для меня: ведь я ни по званию, ни по летам, ни по состоянию не представлял никаких для того данных. Многие, более достойные и даже чиновные из членов сотоварищества, охотно взяли бы на себя

эти обязанности и были бы польщены, если бы выбор пал на них. Должность секретаря, правда, не приносила никаких материальных выгод: она была безвозмездная. Но по подбору лиц, участвовавших в товариществе, и по роли, какая среди них выпадала на долю секретаря, она казалась видною для провинциального честолюбия.

Вот этот-то почет и представлялся мне и близким моим самой существенною частью выбора, павшего на меня. Никто не подозревал, что существенное еще впереди, а это только первый шаг к нему.

Я с жаром принялся за отправление новых обязанностей. Они как нельзя больше соответствовали тогдашнему настроению моего духа. Идея нравственности лежала в основе всех моих идеалов, и трудиться во имя ее казалось мне высшим благом. Герои Плутарха по-прежнему наполняли мою голову, а сердце только и видело свет в евангельских истинах и утешительных обещаниях. Воображение мое расходилось и опять унесло за черту реального. Деятельность сотоварищества приняла в моих глазах размеры гражданского подвига, и я, допущенный к участию в нем, чтоб оправдать оказанное мне доверие, обрекал себя чуть не на подвижничество. Мое восторженное отношение к делу, в действительности очень скромному, на этот раз никого не удивляло. Все мы в нашем провинциальном простодушии не видели ничего дальше целей и намерений, воодушевлявших нас самих, и, за недостатком настоящего дела, тешили себя мнимыми подвигами.

Понятно, мы не жалели средств и, между прочим, в большом количестве выписывали издания центрального библейского общества, платя наличными деньгами по 1 рублю за экземпляр Евангелия и по 50 коп. за Псалтирь. Необходимые суммы составлялись из членских взносов. Затем мы уже от себя рассылали книги по приходам, где они предлагались желающим: кто хотел и мог, в свою очередь, платил за них деньги, другие получали даром.

В этих новых занятиях и в прежних моих, учительских, прошло еще больше года. Но вот настал вечно памятный для меня день — 27-го января 1824 года. Это был день первого общего собрания нашего сотоварищества. Его хотели обставить как можно торжественнее. Из уезда съехалось много помещиков. В залу заседания собрались почетные горожане и все главные чиновные лица. Я выступил перед собранием с отчетом, который составил к этому дню, о действиях и материальных средствах товарищества, а в заключение прочел речь собственного изделия*. Я говорил о высоком значении религиозных истин, открытых нам Евангелием, о благотворном влиянии их на частную и общественную нравственность и коснулся пользы, какую могут принести в этом смысле соединенные усилия просвещенных граждан посредством распространения книг св. писания.

* Напечатана в «Отчете отделения русского языка и словесности Имп<ераторской> Академии Наук за 1877 г.».

Мне теперь кажется, что все достоинство моей речи заключалось в искреннем увлечении и юношеском пыле, с каким я ее произнес. Это подкупило слушателей, большинство которых к тому же было ко мне дружески расположено. Последовал взрыв энтузиазма, и мне была сделана настоящая овация. Собрание единодушно постановило представить мою речь главному президенту библейских обществ в России, министру духовных дел и народного просвещения, князю А.Н. Голицыну, и ходатайствовать о позволении напечатать ее.

Не знаю, питали ли мои друзья, приходя к этому соглашению, какие-нибудь надежды на мой счет. Но на меня оно произвело действие живительного луча. В сердце закралось предчувствие близкого необычайного решения моей участи. «Теперь или никогда, думал я; если этот случай пройдет бесследно — тогда всему конец». Я от волнения лишился сна, аппетита, бродил как тень, нигде не находя покоя.

Так длилось около месяца. Затем пришло письмо от князя Голицына на имя Астафьева. Князь писал, что «с большим удовольствием прочел доставленную ему речь, которая свидетельствует не только об учености и таланте автора, но и о благородном образе его мыслей». При этом князь просил доставить ему следующие сведения: «кто автор речи, какого он звания, возраста и имеет ли семейство?» Товарищество поспешило дать на все удовлетворительные ответы.

Вельможе, располагающему средствами делать добро, нетрудно снизойти к положению бедняка, который попадается на глаза, и помочь мимоходом. Но протянуть руку помощи человеку угнетенному, с твердым намерением навсегда извлечь его из бездны незаслуженного позора — на это нужна большая стойкость в добре и характере. Князь Александр Николаевич Голицын был искренно добр и благороден. Случай со мной показался ему достойным внимания, и он не побрезгал заняться им среди массы более важных государственных и своих личных забот. А заняться надо было безотлагательно и употребить на это ряд усилий. Мимолетным великодушным порывом тут ничего нельзя было сделать. Но князь был не из тех, которые легко остывают и ограничиваются одним голословным участием. Получив требуемые сведения, он уже сам от себя обратился к графу [Д.Н.] Шереметеву. Он в лестных выражениях отзывался о моих способностях и настаивал на необходимости дать им должное развитие, чтобы они могли быть употреблены на пользу общую. Одновременно князь писал вторично и Астафьеву: он извещал его о том, что вошел в личные по моему делу сношения с графом.

Переговоры, сношения, заявления длились до апреля, а в конце этого месяца — меня вызвали в Петербург! Деньги на проезд я должен был получить из Алексеевки. Сумма не определялась: от меня зависело предъявить мои требования. В графской конторе мне советовали пошире воспользоваться предоставленным правом, так чтобы и мать моя не осталась в убытке от моего

отъезда. Странные люди! Они не могли взять в толк, что мы искали только свободы и ничего больше, как свободы. Милости графские легли бы на нас таким же гнетом, как и власть его. Но таково развращающее влияние рабства: у нас долго не считали стыдом обирать помещиков и казну.

Весть о вызове меня в Петербург мигом облетела Острогожск и привела его в такое движение, как будто дело шло о важном общественном событии. Не говорю уже о добрых друзьях, о тех, кто знал меня лично, но и слышавшие только обо мне радовались за меня, как за родное детище, и заранее сулили мне полный успех. Никто и не думал удерживать меня или упрекать в легкомыслии, как в то время, когда я собирался в Елец: напротив, все подстрекали не терять времени, пользоваться случаем и ехать как можно скорее.

А я сам? Трудно передать словами те разнородные ощущения, которые вдруг нахлынули на меня. Вот он, давно ожидаемый просвет! Набежавшая волна готова была поднять меня и унести в желанный, но неведомый мир. Передо мной открывалась даль широкого горизонта. Я точно вырос и ощущал горделивую радость. Но тут же рядом возникал тревожный вопрос: а что же дальше? Граф Шереметев уже выказал по отношению ко мне мелочность своей души. Тронет ли его великодушное участие ко мне других? А, наконец, у самого покровителя моего хватит ли энергии, чтобы отвоевать мне свободу, несмотря на все трудности и препятствия, с которыми ему придется бороться?

Такие и подобные этим сомнения подчас жестоко осаждали меня. Правда, что я, с легкомыслием молодости, спешил их отгонять. Главное, успокаивал я себя, добраться до Петербурга, — а это уже такое место, где устраиваются всевозможные судьбы. Моя звезда теперь там сияет и недаром зовет меня туда. Потом и радость, и сомнения, все страхи и надежды вдруг утопали в одной всепоглощающей тоске от предстоящей разлуки — разлуки со всем, что было мне дорого и близко, что до сих пор составляло отраду и смысл моей жизни. В эти минуты жестокой тоски я с избытком искупал ту эгоистическую радость, которая в другие минуты поднимала меня до небес. На одном из прощальных в честь мою вечеров, а именно у Ферронских, я помню, как я буквально изнемог под напором всех этих ощущений. Собрались ближайшие друзья. Они с увлечением толковали об ожидавшей меня перемене, выражали надежды на блестящую будущность, которая будто бы мне предстоит в Петербурге. Я молча слушал их добродушные речи. Меня бросало то в холод, то в жар, и вдруг я залился слезами. Рыдания душили меня. Собеседники примолкли. Никто не пытался утешать меня. Все инстинктивно поняли, что должен был я чувствовать в эти минуты, когда сумрак невозвратного прошлого готовился навсегда скрыть от меня все до сих пор дорогое, а впереди едва-едва начинала мерцать заря неизвестной будущности.

Еще угнетала меня мысль о моей бедной матери и о беспомощных малютках, моих братьях и сестрах. Я был их единственной опорой. Мысль эта не

давала мне покою. Бывали минуты, когда мне казалось, что, уезжая, я нарушаю все заповеди сыновьего долга и любви. Я в отчаянии метался, не зная, что придумать. Наконец, решился поверить свои тревоги и сомнения отцу Симеону Сцепинскому. Он терпеливо выслушал меня и с важностью, которая так шла к его статной фигуре, сказал: «Любезный Александр, твои чувства понятны и похвалены, но ты не должен сворачивать с пути, на который тебя зовет судьба. Иди и не оглядывайся назад. Все великие начинания сопряжены не только с пожертвованиями своих выгод, но и с насилием своему сердцу. Бог сохранит твою мать, как хранил ее, когда ты был так мал, что не мог заботиться о ней, а сам составлял предмет ее забот. Думать теперь о чем другом, кроме того, что зовет тебя вперед, было бы — мало назвать ошибкою — преступлением».

Слова эти положили конец моим колебаниям, но не горю.

Пока все приготовлялось к моему отъезду, товарищество возложило на меня поручение собрать по уезду сведения о ходе нашего дела. Сведения эти я должен был потом, при письменном донесении сотоварищества, лично представить князю А.Н. Голицыну.

Таким образом, мне пришлось напоследок еще раз проехаться по тем местам, которые я так любил, и увезти с собой на дальний север живое воспоминание о благодатном юге. Стояли последние дни апреля (1824 г.), ясные, тихие, благоухающие. Я жадно вглядывался в прелестные места, расположенные по берегам или по соседству с тихим Доном и Калитвой, вслушивался в речи добродушных малороссиян, которые везде принимали меня с обычным гостеприимством и ласкою: я знал, что если не навсегда, то, во всяком случае, надолго покидаю их. Особенно памятен мне прием в доме богатого помещика Лазарева-Станищева[112], угостившего меня, как говорится, на славу, и другой — в скромном приюте калитвинского священника, молодого и образованного, беседа с которым доставила мне не менее существенную духовную пищу.

Я вернулся в Острогожск, освеженный прогулкой, придуманною для меня предусмотрительными друзьями, и мог уже с большим самообладанием относиться к предстоявшей мне перемене.

Последняя неделя моего пребывания в Острогожске прошла в каком-то вихре прощаний, дружеских напутствий, пожеланий, благословений. Настал и день отъезда. Дом мой с утра представлял оживленное зрелище. Он не мог вместить всех, пришедших в последний раз пожать мне руку. Посетители толпились в горнице, в сенях, на улице. А когда я вышел садиться в кибитку, то не мог пробраться к ней. Ей приказали двинуться шагом, а я медленно шел за ней, окруженный домашними, в центре пестрой и шумной толпы. Кибитка едва ползла, ее к тому же ежеминутно останавливали: то из того, то из другого дома выходили хозяева с кульками, узелками, пакетами и все это нагружали в повозку, мне на дорогу. Тут были и жареные птицы, начиная с цыплят до гусей и индюшек, целые окорока ветчины, всевозможных величин и начинок пироги,

варенья в банках, бутылки с наливками и т.д. Кто-то сунул между подушками целую бутыль сладкого морсу...

Но вот и воронежская застава, за которой уже начиналась бесконечная полоса большой дороги. Не помню, как очутился я в кибитке, как проехал первые версты. Я был в оцепенении, ничего не сознавал, и только в ушах звенел, нестерпимой болью отзываясь в сердце, последний оклик — вернее, стон моей матери, да руки судорожно сжимали деревянный крестик, которым она меня благословила в последнюю минуту...

Но от великого до смешного один шаг. Колеса дребезжали, ямщик усердно погонял лошадей. Вдруг ухаб, кибитка нырнула и благополучно вынырнула, но толчок сбросил меня с сиденья. Я очутился на дне повозки под ворохом провизии, которою она была набита. Бутыль, остроумно скрытая в подушках, со звоном вылетела и обдала меня струей красного сладкого морса. Пришлось сушиться, расчищать место, и эти мелкие заботы привели меня в себя.

Я выглянул из кибитки. Мой милый Острогожск уже скрылся из виду. Но никогда ничто не вытеснит его из моей памяти. То добро, которое я в нем встретил, должно лечь в основе моих дальнейших сношений с людьми. Какие бы козни ни ожидали меня от них впереди, я не утрачу веры в человеческое сердце, в его способность любить и благородно чувствовать. Эту веру вселили в меня мои острогожцы, и она не покинет меня до конца.

XIX. В Петербурге. Борьба за свободу

Я выехал из Острогожска в первых числах мая 1824 г., а в Петербург приехал 24-го. Ехал я на так называемых *долгих*[113]. В первый день добрался только до Воронежа, где должен был остановиться для выправки свидетельства об окончании курса в уездном училище. Рассчитывал пробыть в Воронеже часа три-четыре, а пробыл целые сутки. Мои бывшие учителя Морозов, Грабовский и штатный смотритель Соколовский устроили мне проводы, оставившие во мне такое же светлое воспоминание, как и острогожские. Эти простодушные добряки считали мою карьеру уже упроченною и бескорыстно радовались успеху, которого сами не знали в жизни. Но, увы! Тут же, рядом, при первой улыбке счастья, представилась мне и оборотная сторона человеческого сердца. Директор воронежской гимназии, Былинский[114], некогда не пустивший меня на порог своего дома, теперь, узнав, что я вызван в Петербург «самим министром», поспешил явиться ко мне, «засвидетельствовать свое почтение» и попросить «не забывать его среди почестей и удовольствий, ожидавших меня в столице». Впрочем, я и за то был благодарен ему: он тем самым доставил мне случай не совсем безуспешно походатайствовать у него за моего доброго старика Ферронского.

Дальше, за Ельцом, начинались уже незнакомые мне места. Все поража-

ло новизной, и нельзя сказать, чтобы всегда приятно. После каждой ночевки, чуть не после каждой станции, я плотнее кутался в шинель. Ландшафт бледнел с каждыми днем, а вместе и мои мечты. Чувство одиночества сказывалось все сильнее среди этой чуждой природы, где наш южный радостный май являлся таким угрюмым и нагим. Ко всему этому присоединялась страшная усталость. Дороги везде были сквернейшие, а бревенчатая мостовая, от Москвы до Петербурга, буквально могла вытрясти душу из тела.

Таким образом, я вступил в Петербург далеко не героем-победителем, каким воображали меня мои провинциальные друзья и те, которые предусмотрительно уже спешили заискивать во мне. Дело клонилось к вечеру. Я отправился прямо в дом графа Шереметева, по Фонтанке. Там меня ожидало помещение с чиновниками канцелярии. Я говорю чиновниками, потому что занятия, положение и оклады служивших в графской канцелярии ничем не уступали казенным. Меня приютили в хорошей, чистой горнице вместе с двумя столоначальниками. Вообще мне был оказан вежливый, даже радушный прием, но с сильным оттенком любопытства. Здесь уже знали обо мне через переписку князя Голицына с молодым графом и интересовались дальнейшим ходом моего дела. Следующий день я весь отдыхал, а затем явился в канцелярию для знакомства с главными начальниками ее, или, как они назывались, экспедиторами. Их было два: Мамонтов[115], по финансовой части, и Дубов[116], по другим отраслям администрации графских имуществ. Характер их дальнейших отношений ко мне тотчас определился. Искренняя простота, с какою меня встретил Мамонтов, сразу внушила мне доверие к нему и надежду на его помощь, когда та понадобится. Зато Дубов, рассыпавшийся в приторных любезностях, с первых же слов обнаружил в себе врага.

Никогда еще, кажется, безусловная зависимость от чужой воли, присущая тому противоестественному и безнравственному порядку вещей, с которым я вступал в борьбу, не представлялась мне так назойливо-осязательно, как в том относительно мелочном обстоятельстве, что я не мог явиться к вызывавшему меня князю Голицыну без предварительного разрешения графа Шереметева. Мамонтов взялся выхлопотать мне его.

Но пока я, как жук или муравей, тянулся к свету по кучам мусора, в высших общественных сферах произошло передвижение, грозившее гибелью и тем немногим шансам на успех, какие у меня были. В городе разнесся слух об интригах, вследствие которых князь Голицын будто бы лишился милостей государя. Говорили, что он уже больше не министр, что его разжаловали в главноуправляющие почтовым ведомством. Его значение, таким образом, сильно падало в глазах толпы: мне скоро пришлось в том убедиться.

Я долго старался не верить зловещим слухам. В канцелярии уверяли, что и надпись на доме князя, по Фонтанке: «Министр народного просвещения и духовных дел» уже заменена другою: «Главноуправляющий почтовым

департаментом». Я захотел удостовериться собственными глазами — и удостоверился. Едва вышел я на набережную реки, золотые буквы еще свежей, очевидно, только что выведенной надписи острыми иглами вонзились мне в глаза. Боже мой! Только голодный, если бы у него вдруг вырвали из рук кусок хлеба, который он уже подносил ко рту, мог бы понять то чувство отчаяния и бессильной ярости, внезапно охватившее меня. Чего еще ждать? Легкая зыбь на Фонтанке так заманчиво рябила в глазах... Я с неимоверным усилием отвел от нее глаза и с понурой головой вернулся в свой угол. Настала страшная бессонная ночь. Я метался, как в горячке, и лишь утром настолько овладел собою, что пришел к заключению: не прибегать к решительным мерам, пока не услышу из уст самого князя Голицына, может ли он и хочет ли еще заняться мною.

Долго Мамонтов безуспешно добивался для меня позволения явиться к князю Голицыну и, наконец, добился, только сославшись на поручение, которое я имел от острогожского библейского сотоварищества.

— Пусть идет! — процедил сквозь зубы граф. Потом, помолчав, с усмешкою прибавил: — Князю теперь не до него!

Его сиятельство мерило других по собственной мерке и не предполагало ни в ком, а тем более в опальном царедворце, чувств более гуманных, чем те, которыми был сам воодушевлен. Но он ошибся в расчете, и этой ошибке я в значительной мере обязан своим спасением.

Охотно или неохотно было дано позволение, я поспешил воспользоваться им. Князь Голицын проводил лето в Царском Селе, вместе с двором. Первоначальные слухи об его опале к этому времени смягчились. Теперь говорили, что, хотя обстоятельства и заставили его отказаться от министерского портфеля, он, тем не менее, по-прежнему пользовался расположением высочайших особ и особенно императрицы Марии Федоровны.

Я выехал в Царское Село на заре, 8-го июня. Несмотря на дошедшие до меня последние успокоительные слухи о собственных делах князя, я находился в крайнем смущении. Вид грандиозной императорской резиденции, среди лабиринта липовых и дубовых аллей, вконец уничтожил меня, провинциала. Я показался себе из рук вон слабым и одиноким. Бледный, худой, одетый острогожским портным, я был похож на захудалого семинариста, а никак не на отважного борца за собственную честь и независимость.

Князь помещался в одном из дворцовых павильонов. Дорогу к нему мне показал первый попавшийся сторож. Робко вошел я в приемную его сиятельства. Там заседал седенький старичок — камердинер. Он так ласково принял меня, так охотно пошел доложить обо мне, что я мгновенно почувствовал облегчение. Две минуты спустя я был в кабинете князя. Истый провинциал, я не иначе представлял себе вельможу, министра, как в блеске и величии его сана, со всеми атрибутами подавляющего превосходства. И вдруг — передо мной другой старичок, в простом сером сюртуке, с более утонченным лицом

и манерами, но не менее почтенным и добродушным видом, чем первый. Он окинул меня пытливым взглядом, потом, с ласковой улыбкой, движением руки пригласил в глубь комнаты.

— Очень рад с вами познакомиться, — мягко заговорил он, — но не потревожили ли вас таким внезапным вызовом? Я думал, что человеку с вашими способностями не место в глуши, и мне захотелось открыть вам путь к более широкой деятельности. Только как же это? Вы так молоды, вам надо еще учиться.

— Я сам только об этом и мечтаю, ваше сиятельство, — в волнении отвечал я, — получить настоящее серьезное образование!.. Ведь я прошел только одно уездное училище.

— Но скажите, — снова начал он, — как могли вы, такой еще молодой и без всяких средств, приобрести уже столько познаний и выработать себе литературный язык?

— Я читал все, что мне попадало под руку, делал выписки...

Ободренный участием князя, я, как говорится, излил перед ним душу. Я забыл вельможу, сановника, видел только умного, доброго, опытного человека, который меня слушал с явной симпатией и готов был протянуть мне руку помощи.

— Во всем этом, — сказал он, когда я кончил свою исповедь, — видна воля Божия. Вы должны последовать ее указаниям. Наш век полон тревог и волнений, и мы все должны, по мере сил, содействовать благим результатам. Для этого необходимы люди даровитые и просвещенные. Вы должны присоединиться к ним, но не прежде, как созрев в мыслях и в знании. Вам непременно надо пройти университетский курс.

— Но как этого достигнуть в моем положении, без подготовки...

— Ну, мы обо всем этом позаботимся. Я напишу графу, чтобы он не только вас уволил, но и дал вам средства окончить образование. А пока я познакомлю вас еще с одним человеком, который тоже принимает в вас живое участие. Молитесь и надейтесь!

Он написал несколько строк и отдал мне; потом позвал ласкового камердинера и поручил ему препроводить меня к г-ну Попову[117], жившему тут же, по соседству.

Попов принял меня благосклонно, много толковал о расположении ко мне его сиятельства и о своем собственном сочувствии. Но при всем том, какая разница в приемах этих двух людей! Задушевная простота князя заменялась у Попова напускною любезностью. В нем было что-то сухое и холодное, а в его дружеских уверениях звучала если не фальшивая, то, во всяком случае, равнодушная нота. На его неподвижном лице не было и тени той изящной мягкости, той сердечной теплоты, которая сквозила в каждом слове и движении князя. Всего неприятнее поразили меня его глаза: тусклые и безжизненные, они поч-

ти постоянно смотрели вниз, а устремленные на вас, вгоняли внутрь всякое поползновение к откровенности. Не знаю, был ли на самом деле таким Попов, но на меня он произвел удручающее впечатление.

Зато свидание с князем точно спрыснуло меня живой водой. От сердца отлегло. Я уже бодро, с поднятою головой, шел по парку, который раньше утром нагнал на меня такое уныние. Теперь я мог любоваться и нежным пушком на деревьях, и группами залитой цветом сирени, и зеркальной поверхностью озера с величаво скользившими по нем лебедями, и пестрым ковром цветников перед дворцом. Обратный путь в Петербург тоже показался мне и короче, и приятнее: я на все смотрел сквозь призму оживших надежд. День был ясный. Я ехал по гладкому, как скатерть, шоссе. Мимо мелькали подернутые легкой зеленой дымкой пашни, опрятные домики колонистов, кудрявые купы ив и березок. В воздухе, пропитанном запахом молодой листвы, было что-то бодрящее и тело, и дух. При всем моем предубеждении против угрюмой северной природы, я весь отдался обаянию этого чудного дня, одного из редких, какими нас дарит петербургская весна.

Я уже воображал себя одной ногой в университете. Но судьба скоро доказала, что не намерена баловать меня легким успехом. Князь Голицын исполнил свое обещание и написал графу письмо о моем посещении и убедительно просил дать мне свободу. Письмо осталось без ответа. Молодой кавалергардский поручик не удостоил соблюсти простой вежливости в отношении к человеку почтенному, который по летам годился ему в отцы, а по заслугам, конечно, мог рассчитывать на большее внимание.

Тучи на моем горизонте опять сгустились. Не знаю, чем внушил я такую антипатию одному из графских клевретов, вышеупомянутому Дубову. Всего вернее, он хотел прислужиться графу и предложил ему легкий способ от меня отделаться, а именно: без дальнейших церемоний спровадить меня в Алексеевку с запретом куда бы то ни было вперед отлучаться, или же, в крайнем случае, отправить школьным учителем в одну из подмосковных вотчин. Уже и день моего отъезда был назначен, но от меня все это тщательно скрывалось с целью застать врасплох. К счастью, один из моих канцелярских друзей еще вовремя меня предупредил. Я в отчаянии опять бросился к князю Голицыну: в нем одном видел я спасение. Он около этого времени переехал из Царского Села на Каменный остров, и мне нетрудно было до него добраться. Но на самом пороге его дома новое, неожиданное препятствие.

— Его сиятельство собираются к государю и сегодня никого не принимают, — отвечал камердинер на мое заявление, что я желаю видеть князя Александра Николаевича.

Но, верно, его поразил мой растерянный вид, потому он вслед затем нерешительно прибавил:

— Что вы... Разве уж так нужно? Нельзя отложить?

— Отложить, чтобы все пропало! — запальчиво воскликнул я. — Это значит меня убить!

Добрый старик покачал головой, помялся на месте, но в заключение махнул рукой и пошел доложить. Я не успел опомниться, как меня позвали в кабинет.

— Ваше сиятельство! — дрожа от волнения, торопливо заговорил я. — мне грозит страшная беда... — И я рассказал ему о моем случайном открытии.

Лицо князя омрачилось. Он с минуту помолчал, потом сказал:

— Успокойтесь! Даю вам слово, что сделаю все, от меня зависящее, чтобы решение это было отменено. Отправить вас назад ни с чем несообразно, во-первых, потому, что вы заслуживаете лучшего, а, во-вторых, потому, что, вытребовав вас сюда, мы лишили вас и того, что вы имели. Я сейчас же напишу графу и надеюсь, — прибавил он со значительною улыбкою, — что на этот раз он не оставит меня без ответа.

Два дня спустя я узнал, что план сбыть меня с рук в Алексеевку или куда бы то ни было оставлен. Но ему на смену явился другой и на этот раз такой почетный в глазах графских служителей, что взволновал всю канцелярию. Дело шло о том, чтобы приблизить меня к графу, одним словом, хотели пожаловать меня в его секретари. Эта блестящая мысль вошла в голову дяди молодого графа, его однофамильца, генерала [В.С.] Шереметева[118], и он упорно на ней настаивал. Доброе мнение обо мне князя Голицына и его горячее заступничество возвысили мою цену в глазах спесивых бар и усилили в них желание не выпускать меня из рук. Генерал Шереметев имел большое влияние на племянника и распоряжался его делами, как своими.

Он потребовал меня к себе, рассчитывая своим властным словом сразу положить конец моим «дерзким притязаниям». Принят я был с барской снисходительностью. Генерал старался убедить меня, что я уже достаточно учен, что учиться мне больше не следует, что я гораздо больше выиграю, не выходя из своего положения.

— Все хорошо в меру, — говорил он, — излишек в просвещении так же вреден, как и во всем другом. Я готов устроить ваше счастье, — в заключение прибавил он, — и потому советую вам ограничить ваши желания. Граф хочет оставить вас при себе секретарем. Ему нужны способные люди. Он со временем займет важные должности, и вы можете составить себе при нем наилучшую фортуну. Что же касается свободы — я решительно против нее. Люди, подобные вам, редки, и надо ими дорожить.

Узел, следовательно, еще больше затягивался. Теперь уже со мною не хотели расставаться, мною дорожили, я был нужен. То же подтвердил мне и князь А.Н. Голицын, ездивший лично объясняться на мой счет с молодым графом Шереметевым. Генерал просил его, чтобы я «хоть малое время побыл секретарем при молодом графе».

Само собой разумеется, что все это только укрепляло во мне решимость живым или мертвым вырваться из сжимавших меня тисков. Напрасно волновались мои канцелярские друзья и недруги. То, что казалось им почетом, который мог на них выгодно или невыгодно отразиться, мне представлялось новым унижением. Водить на помочах недальновидного барича и действовать за его спиной могло быть прибыльно, но мне не улыбалось. Я хотел жить и действовать на свой страх. И Дубову с компанией нечего было бояться. Предназначавшаяся мне роль была мне не по плечу, з если бы обстоятельства и заставили меня на время согласиться на нее, то уж, конечно, я не стал бы заниматься мщением. Дубову позже пришлось в этом убедиться, но пока он думал иначе и старался вдвойне мне вредить. Он приставил ко мне шпионов и сам зорко следил за каждым моим шагом. Но, на мое счастье, вся канцелярия, за немногими исключениями, вокруг него группировавшимися, была, с Мамонтовым во главе, за меня. Благодаря этому я мог успешно обманывать бдительность моих врагов.

Из всего этого видно, как медленно разрешался для меня роковой вопрос «быть или не быть». Если петля вокруг моей шеи в иную минуту и ослабевала, то в следующую затем опять крепче затягивалась. Князь Голицын не переставал обо мне хлопотать. Я время от времени к нему являлся давать отчет о своих делах и всякий раз уходил от него ободренный. Но его собственное положение настолько поколебалось, что мелкие души уже не считали для себя обязательным ему угождать. Императрица Мария Федоровна, впрочем, оставалась к нему неизменною, и он намеревался прибегнуть к ней в последней крайности. Но до тех пор надо было попробовать все средства*.

С этою целью я решился пустить в ход рекомендательные письма, которыми меня, на прощанье, снабдили мои добрые острогожцы. Одно из них было от отца Симеона Сцепинского к его товарищу по духовной академии, действительному статскому советнику И.И. Мартынову. Счеты мои с последним, однако, скоро кончились. Он забыл своего старого друга и недвусмысленно мне выразил это. Я раскланялся и ушел, чтобы больше не возвращаться.

Другого рода прием ожидал меня у родственника Чекмарева, Димитрия Ивановича Языкова, почтенного переводчика Шлецерова «Нестора» и «Духа законов» Монтескье. Он служил в министерстве народного просвещения начальником отделения и жил в так называемом Щукинском доме, в Чернышевом переулке. Димитрий Иванович пользовался репутацией отличного знатока русской истории, но всего больше — человека с благороднейшим характером. Но в наружности его и в манерах с первого взгляда было мало привлекательного. Невысокого роста, приземистый, пожилых лет мужчина, он поражал своею

* Интересующихся кое-какими подробностями взаимоотношений кн. А.Н. Голицына и Никитенка отсылаем к заметке Н.К. Шильдера — «А.В. Никитенко и кн. А.Н. Голицын в 1824 году» — «Русская Старина» 1893 г., IX.

неуклюжестью. Ходил он с низко опущенной головой, говорил мало, редко улыбался, но при всем том не производил отталкивающего впечатления. Все недостатки его угловатого лица искупались выражением добродушия, которое тотчас внушало вам к нему симпатию, и вы, несмотря на собственную сдержанность Димитрия Ивановича, чувствовали невольное влечение ему во всем довериться. Так было и со мной. Он вел труженическую, замкнутую жизнь и потому не мог мне оказать никакой практической пользы. Но в его немногих словах было столько искреннего чувства, что я и потом, в минуты уныния, всегда приходил к нему за утешением. В его молчаливом, но теплом участии было что-то в высшей степени успокоительное.

Было у меня еще третье письмо, с каким-то поручением от Владимира Ивановича Астафьева к его родственнику по жене, Кондратию Федоровичу Рылееву. Теперь я имею повод думать, что поручение это было вымышлено добрым Владимиром Ивановичем, с целью сблизить меня с этим редким по уму и сердцу человеком. Но тогда я этого не подозревал и явился к Кондратию Федоровичу не как проситель, а как посредник между ним и его острогожским приятелем.

Рылеев в то время управлял канцелярией нашей американской торговой компании и жил в компанейском доме, у Синего моста. Квартира Кондратия Федоровича помещалась в нижнем этаже. Окна ее, со стороны улицы, были защищены выпуклою решеткою. Теперь дом этот перестроен, но он долго был для меня предметом скорбных воспоминаний, и я не мог пройти мимо без сердечного волнения. Было одно окно особенно: оно выходило из кабинета, где я, познакомясь ближе с хозяином, слушал, как он декламировал свою, только что оконченную поэму «Войнаровский». Со мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире — [Е.А.] Баратынский[119].

Я не знавал другого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом, он с первого взгляда вселял предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня! Но таким я узнал его позже. Теперь же, в мое первое посещение, я, главным образом, испытал на себе чарующее действие его гуманности и доброты и, вызванный на откровенность, поведал ему всю печальную историю моих стремлений и борьбы. Он выслушал ее с большим вниманием и тут же начертал план кампании в мою пользу.

Его первая попытка, однако, оказалась неудачной. Он обратился за со-

действием к госпоже Данауровой[120], большой приятельнице графа Шереметева. Щепетильная барыня нашла неудобным «вмешиваться в такое щекотливое дело».

— Но не беспокойтесь, — сказал Рылеев, сообщая мне о своей неудаче, — мы найдем другие пути. Я уже говорил о вас с моими знакомыми из ученого мира. Они живо заинтересовались вами и хотят просить за вас графа Шереметева, а в случае отказа предложить ему выкуп. Повторяю: будьте спокойны! Есть верные надежды.

В это свидание Кондратий Федорович посоветовал мне изложить на бумаге главные черты из моего прошлого и принести ему вместе с одним из моих сочинений. Вооруженный этими документами, он стал вербовать новых союзников. Большую сенсацию, между прочим, произвела моя биография в кружке кавалергардских офицеров, товарищей молодого графа Шереметева. Рылеев был очень дружен с некоторыми из них. Они составили настоящий заговор в мою пользу и положили сделать коллективное представление обо мне графу. Всех энергичнее действовали два офицера, Александр Михайлович Муравьев[121] и князь Евгений Петрович Оболенский*[122]. Неожиданный натиск смутил графа. Он не захотел уронить себя в глазах товарищей и дал слово исполнить их требование.

Чего лучше, казалось бы. И мне так думалось. Я ожил, считая мое дело выигранным. Но дни шли, не принося перемены. В канцелярии, напротив, даже разнесся слух, что граф Шереметев, уступая требованиям дяди-генерала, готовит мне решительный отказ. Новые страхи, новое уныние!

Но заступники мои не дремали. Они собирали новые силы. Слухи о моих превратностях проникли в великосветские салоны. Мною заинтересовались дамы высшего круга. Одна из них, графиня Чернышева[123], даже взялась лично атаковать за меня графа Шереметева. Узнав о колебаниях его, она прибегла к следующей уловке.

У ней в доме было большое собрание. В числе гостей находился и молодой граф. Графиня Чернышева подошла к нему с приветливой улыбкой, подала руку и во всеуслышание сказала:

— Мне известно, граф, что вы недавно сделали доброе дело, перед которым бледнеют все другие добрые дела ваши. У вас оказался человек с выдающимися дарованиями, который много обещает впереди, и вы дали ему свободу. Считаю величайшим для себя удовольствием благодарить вас за это: подарить полезного члена обществу — значит многих осчастливить.

---

* Из слов Никитенки выходит, как будто бы кн. Е.П. Оболенский был офицером Кавалергардского полка. На самом деле, он служил в л.-гв. Финляндском полку. Однополчанами гр. Д.Н. Шереметева, единомышленными с Рылеевым, кроме А.М. Муравьева, были: И. Анненков, В. Ивашев, А. Крюков, П.Н. Свистунов и З.Н. Чернышев.

Граф растерялся, расшаркался и пробормотал в ответ, что рад всякому случаю доставить ее сиятельству удовольствие.

В самом деле положение графа было затруднительное. Не умея сам чего-нибудь сильно хотеть или не хотеть, привыкший следовать чужим внушениям, он внезапно очутился между двух огней. С одной стороны, его обычный руководитель, генерал Шереметев, и один из приближенных слуг, в лице Дубова, с другой — товарищи, великосветские дамы, общественное мнение... Кому отдать предпочтение? Кавалергарды не пропускали ни одной встречи с графом без того, чтобы не говорить ему обо мне. Бедный молодой человек не мог ступить шагу без того, чтобы не услышать моего имени. Я, в свою очередь, превратился в его тирана. На выходе, во дворце, завидев [А.М.] Муравьева и еще кого-то из товарищей, чтобы не слышать лишнего раза до смерти надоевшего ему припева обо мне, он поспешил сам предупредить их:

— Знаю, господа, знаю, — сказал он, — знаю, что у вас на уме: все тот же Никитенко!

— Ты не ошибся, граф, — отвечал Муравьев, — чем скорее ты с ним разделаешься, тем лучше.

Двадцать второго сентября товарищи графа всей гурьбой собирались к нему справлять его именины. Они не преминули воспользоваться и этим случаем, чтобы напомнить ему обо мне. Граф опять дал и на этот раз уже «категорическое и торжественное обещание отказаться от своих прав» на меня.

Тем не менее в канцелярии не делалось никаких распоряжений, которые предвещали бы близкий конец моим терзаниям. Там ничего не знали о давлении на графа моих покровителей и продолжали считать мою участь решенною отрицательно. Я, из опасения дубовских наушничеств, держал все в строгой тайне, даже от Мамонтова.

Прошли весь сентябрь и первая неделя октября. «Категорическое и торжественное» обещание графа ничем не отличилось от прежнего, простого, не обставленного такими громкими словами... Нет, никакая перемежающаяся лихорадка не может так истомить человека, как истомили меня эти переменные упадки и подъемы духа. Я не предполагал, чтобы граф мог совсем отказаться от своего слова, но недостойная игра его обещала затянуться надолго, а там... кто мог отвечать за будущее?

Я решился во всем открыться расположенному ко мне Мамонтову. Ему легче, нежели кому-либо, было вырвать у графа, вслед за обещанием, и необходимый документ с его подписью. Слушая мой рассказ о том, как граф был со всех сторон атакован, он не верил своим ушам. Он сожалел обо мне как о погибшем, а теперь вдруг увидел меня накануне победы, и я к нему обращался за окончательным ударом. Очень добрый, он был также самолюбив. Ему польстило мое обращение к нему в последнюю минуту, и он обещал свое содействие.

Настал великий для меня день 11-го октября 1824 г. Мамонтов, по обыкновению, явился утром к графу с докладом и ловко навел речь на меня. Едва произнес он мое имя, граф нетерпеливо перебил его.

— Что мне делать с этим человеком? — с раздражением заговорил он. — Я на каждом шагу встречаю ему заступников. Князь Голицын, графиня Чернышева, мои товарищи офицеры, все требуют, чтобы я дал ему свободу. Я вынужден был согласиться, хотя и знаю, что это не понравится В.С. Шереметеву.

Мамонтов стал тонко, осторожно доказывать, что голос общественного мнения сильнее единичного, хотя бы и принадлежащего лицу близкому, и потому необходимо поскорей удовлетворить первое. Главное было склонить графа, чтобы он тут же, на месте, ни с кем больше не видясь и не советуясь, приказал написать отпускную. Не без усилий, но это удалось умному, доброму Мамонтову. В заключение граф заметил:

— Однако этому молодому человеку все-таки надо хорошенько намылить голову за то, что он наделал столько шуму. Точно я не мог, сам по себе, сделать того, что теперь делаю из уважения к другим.

Мамонтов не заставил себе повторять приказания насчет отпускной. Он немедленно ее выправил и представил к подписи.

Вся канцелярия поднялась на ноги. Дела были забыты. Мои приятели толпой явились ко мне в комнату меня поздравлять и чествовать. Один Дубов держался в стороне. Жаль! Я и ему охотно протянул бы руку: его козни не удались, а я был так счастлив!

Я отказываюсь говорить о том, что я пережил и перечувствовал в эти первые минуты глубокой, потрясающей радости... Хвала Всемогущему и вечная благодарность тем, которые помогли мне возродиться к новой жизни!

Текст воспроизведен по следующему изданию:
А.В. Никитенко. Записи и дневник (1804—1877 гг.). Изд. 2-е, исправленное и дополненное по рукописи под редакцией, с примечаниями и алфавитным указателем М.К. Лемке. СПб.: Книгоиздательство М.В. Пирожкова, 1904. С. 3—128.

Примечания

1. Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742), князь, кабинет-министр при императрице Анне Иоанновне. Владел поселением на месте Алексеевки (с 1723 г.), где построил деревянную церковь во имя св. Алексия, митрополита Московского.
2. Черкасская Варвара Алексеевна (1711—1767), дочь князя А.М. Черкасского, жена графа Петра Борисовича Шереметева (1713—1788). В приданое за нею Алексеевка перешла к Шереметевым.
3. Никитенко Василий Михайлович (ок. 1782—1819), отец мемуариста.
4. Шереметев Николай Петрович (1751—1809), сын Петра Борисовича и Варвары

Алексеевны Шереметевых, меценат, основатель Странноприимного дома в Москве. В ноябре 1801 г. женился на своей крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой (1768—1803), которая умерла через три недели после рождения сына Дмитрия.

[5] Мария Федоровна (1759—1828), вдова императора Павла I, мать императоров Александра I и Николая I.

[6] Дегтярев (Дегтяревский) Степан Акимович (1766—1813), композитор и дирижер. Родился в семье крепостного графа Н.П. Шереметева. В 1803 г. освободился от крепостной зависимости и поселился в Москве.

[7] В «Русском провинциальном некрополе», составленном по картотеке Н.П. Чулкова, хранящейся в Государственном литературном музее, приведены сведения о том, что на городском кладбище в Острогожске погребена мать академика А.В. Никитенко. Она названа Надеждой Васильевной, урожденной Щербининой. Даты ее жизни на надгробном памятнике не были указаны. Становится очевидным, что атрибуция Надежды Васильевны Никитенко с матерью Александра Васильевича Никитенко является ошибочной. Известно, что картотека Н.П. Чулкова составлялась на основании сообщений местных священников, часто допускавших погрешности в описании надгробий. Можно предположить, что в данном случае речь идет не о матери, а о сестре А.В. Никитенко, Надежде Васильевне, в замужестве Щербининой. См.: Река Времен. Вып. 4. Русский провинциальный некрополь. М., 1996. С. 285—286.

[8] Вольтер (Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778), французский философ-просветитель, известный своими антиклерикальными взглядами.

[9] Сведений об Авдотье (Евдокии) Борисовне Александровой обнаружить не удалось. Имение в с. Удеревка Бирюченского уезда в начале XIX в. принадлежало штабс-ротмистру Ивану Алексеевичу Александрову (ок. 1779 — после 1835). Именно он продал Удеревку 6 июня 1814 г. братьям Николаю Ивановичу и Владимиру Ивановичу Станкевичам. И.А. Александров был женат на Александре Александровне, урожд. Фицкой. В семье были дети: Александр (род. 24.7.1815) и Николай (род. 11.10.1824). Если предположить, что речь может идти о матери Ивана Алексеевича, вдове титулярного советника Алексея Филипповича Александрова, то ее звали Прасковья Афанасьевна. В семье А.Ф. и П.А. Александровых, кроме Ивана, было еще трое сыновей: титулярный советник Семен (ок. 1762 — ?), подпоручик Борис (ок. 1768 — после 1843), подпоручик Василий (ок. 1771 — после 1837) и дочь Анна. Быть их учителем отец А.В. Никитенко не мог в силу возраста.

[10] Возможно, речь идет о генерал-майоре Спиридоне Эристовиче Жевахове (1768—1815), на тот момент ротмистре лейб-гвардии Павлоградского гусарского полка.

[11] Николай Петрович Шереметев умер 2 ноября 1809 г.

[12] Алексеев Иван Алексеевич (1751—1816), действительный тайный советник, сенатор с 1798 г., член Государственного совета с 1810 г.

[13] Донауров Михаил Иванович (1757—1817), действительный тайный советник, сенатор (1801). С 1809 г. возглавлял Опекунский совет при малолетнем графе Д.Н. Шереметеве.

[14] Нанка — сорт грубой хлопчатобумажной ткани из толстой пряжи, обычно желтого цвета.

[15] Бедряга, урожд. Татарчукова, Мария Федоровна (?—1842), вдова секунд-майора

Николая Васильевича Бедряги (1745–1811), губернского предводителя дворянства в 1795–1797 гг. Более подробно о семье Бедряг см.: Акиньшин А.Н., Ласунский О.Г. Воронежское дворянства в лицах и судьбах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Воронеж, 2009. С. 57–72.

[16] Татарчуков Григорий Федорович (ок. 1749 – ок. 1815), сын полкового судьи, отставной прапорщик. Был женат на дочери надворного советника Анне Аполлинариевне Ладыженской, затем на дочери капитана второго ранга Варваре Алексеевне Давыдовой. От второй жены были дети: Любовь (1790 – после 1813), в замужестве Белякова, Федор (1793 – ок. 1861), Елизавета (1795 – после 1813), Алексей (1796–1812/13), Владимир (1799 – после 1844).

[17] В семье Николая Васильевича и Марии Федоровны была еще рано умершая дочь Прасковья (р. 1778).

[18] Денисова, урожд. Бедряга, Клеопатра Николаевна (ок. 1777 – 1844).

[19] Денисов Логин Карпович (ок. 1766 – между 1819 и 1828), участник Отечественной войны 1812 года, генерал-майор.

[20] Бедряга Самуил Николаевич (ок. 1782–1828), статский советник.

[21] Бедряга Федор Николаевич (1779–1849), действительный статский советник.

[22] Юсти Иоганн Генрих Готлиб (1717–1771), немецкий экономист и юрист. На русский язык были переведены его книги: «Существенное изображение естества народных обществ и всякого рода законов» (М., 1770; СПб., 1802. Т. 1–2; переводчик А. Волков), Основание силы и благосостояния царств, или Подробное начертание всех знаний, касающихся до государственного благочиния» (СПб., 1772–1778. Ч. 1–4; переводчик И. Богаевский), Торгующее дворянство противу положенное дворянству военному, или Два рассуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступало в купечество» (СПб., 1766, переводчик Д.И. Фонвизин).

[23] Творения велемудрого Платона. СПб., 1780–1785. Ч. 1–3. Переводчики И. Сидоровский и М. Пахомов.

[24] Вольф (Людингаузен-Вольф) Юлия Карловна (1789 – после 1862), баронесса, в замужестве Татарчукова.

[25] Федор Татарчуков умер 28 марта 1768 г.

[26] Мать, София Елизавета, урожд. Фрайен фон Лоудон (1763–1832), и ее дочери – Вильгельмина (1787 – 1871) и Каролина (? – после 1856).

[27] Лаудон Эрнест Гидеон (1717–1790), барон, генералиссимус австрийской армии. В 1732–1739 гг. состоял на русской военной службе.

[28] Вольф (Людингаузен-Вольф) Карл Отто Александр Карлович (1793/94 – 1852), майор.

[29] Вольф (Людингаузен-Вольф) Павел Карлович (1798 – после 1882) и Карл Карлович (1801 – после 1869).

[30] Вольф (Людингаузен-Вольф) Георг Карлович (1792 – после 1854), отставной прапорщик.

[31] Ивашковский Семен Мартынович (1774–1850), филолог, профессор Московского университета (до 1835 г.), составитель греческо-русского и русско-латинского словарей.

[32] Беляков Михаил Игнатьевич (1790–1860), адъюнкт Московского университета, затем преподаватель естественной истории в Московской губернской гимназии. Автор книги «Краткое начертание ориктогнозии» (М., 1822). Ориктогнозия – устаревшее название минералогии.

[33] Донецкий Иван Петрович, окончил Воронежскую духовную семинарию в 1799 г. Священник Предтеченской церкви в сл. Писаревке, построенной в 1801 г. Николаем Васильевичем Бедрягой.

[34] Мессарош (Мессарос) Андрей Степанович (ок. 1756 – после 1826), титулярный советник, владелец имения в с. Клеповка Павловского уезда. Сын Андрей (р. ок. 1800 – 1879).

[35] Мессарош (Мессарос) Вера Андреевна (ок. 1797 – 1868) была замужем за титулярным советником Андреем Перфильевичем Срединым.

[36] Клещарев (Клещерев) Калина Давыдович (ок. 1763–1842), воронежский мещанин. По данным ревизии на 1816 г., в семье у него значились: жена Домна Ивановна (ок. 1771 – ок. 1838), дети: Мария, 18 лет, Авдотья (ок. 1800 – ок. 1865), Елена, 14 лет, Максим (ок. 1812 – после 1844) и Иван, 3 лет. Дочь Наталья в ревизской сказке не упомянута, поскольку уже была замужем.

[37] Водка, произведенная из виноградного сырья.

[38] Климентов (Климантов) Федор Иванович, учитель Воронежского уездного училища, умер 29 ноября 1816 г. (ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 14. Л. 185 об.).

[39] Радклиф Анна (1764–1823), английская писательница, основоположница жанра «готического романа». Помимо многочисленных переводов романов А. Радклиф на русский язык, в России в первой четверти XIX в. под ее именем было издано много романов-подражаний.

[40] Лафонтен Август Генрих Юлий (1758–1831), немецкий романист. Автор более двухсот романов и повестей в сентиментальном жанре. Многие его сочинения были изданы в русском переводе в первой четверти XIX в.

[41] Возможно, речь идет о сыне купца Якове Ивановиче Рындине (1804–1821).

[42] Грабовский Николай Лукьянович (ок. 1791 – после 1845), коллежский асессор, учитель математики с 1812 г., штатный смотритель Воронежского уездного училища в 1829–1842 гг. Одновременно редактор «Воронежских губернских ведомостей» в 1838–1845 гг.

[43] Морозов Александр Иванович, сын священника сл. Новой Калитвы Острогожского уезда. Учился в Воронежской духовной семинарии, окончил Петербургский учительский институт. В 1812–1820 гг. – преподаватель Воронежского уездного училища. В дневнике А.В. Никитенко упоминается в 1861 г.

[44] Соколовский Петр Васильевич (ок. 1763–1829), окончил Петербургскую учительскую семинарию. Преподаватель Главного народного училища в Воронеже с 1791 г., штатный смотритель Воронежского уездного училища с 1809 г.

[45] Сличительный словарь французского и латинского языков с российским переводом. В пользу учащегося юношества. Воронеж, 1805. См. также: Философское рассуждение о человеке и его превосходствах, содержащее в себе сравнение состояния и способностей человеческих с состоянием и способностями других животных, сочиненное на английском языке, переведенное на французский г. М.В. Робинетом, которое на российский язык переложил Петр Соколовский. Воронеж, 1800.

46 Н.Л. Грабовский перевел с французского языка книги аббата Жан Жака Филасье: «Беседы о религии» (1829) и «Историческая картина религии от сотворения мира до наших времен» (М., 1933. Т. 1–2). См. также: Грабовский Н.Л. Речь о воспитании, основанном на законе божием, произнесенная штатным смотрителем Воронежского уездного училища 4-го марта 1841 года при открытии Нижнедевицкого приходского училища. М., 1842.

47 Княжевич Дмитрий Максимович (1788–1844), писатель, публицист, попечитель Одесского учебного округа с 1837 г.

48 Львов Павел Юрьевич (1770–1825), писатель, член Российской Академии, автор книги «Храм славы российских ироев от времен Гостомысла до царствования Романовых» (Спб., 1803).

49 25 июня 1815 г. А.В. Никитенко был выдан аттестат об окончании уездного училища (поступил 1 августа 1813 г.), который сгорел при пожаре в Острогожске в 1818 г., и 26 апреля 1824 г. ему была выдана копия аттестата. См.: ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 14. Л. 50 об. –51, 192 об.

50 Антоний (Соколов Алексей Федорович; ок. 1767–1827), епископ Воронежский и Черкасский в 1810–1816 гг. Возглавлял Калужскую и Боровскую епархию в 1816–1819 гг., Подольскую и Брацлавскую в 1819–1821 гг. С 1821 г. на покое, жил в Задонском Тихоновском монастыре.

51 Мефодий (Орлов-Соколов Сергей Георгиевич; 1774–1827), архимандрит, в 1812–1826 гг. – настоятель Алексеевского Акатова монастыря, одновременно в 1812–1819 гг. ректор Воронежской духовной семинарии. В 1826–1827 гг. – епископ Нижегородский и Арзамасский.

52 Воронежским губернатором в 1812–1817 гг. был действительный статский советник Михаил Иванович Бравин (1760–1833).

53 Хитрово Алексей Захарович (1776–1854), государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор. В январе 1815 г. прибыл в Воронеж «для произведения на месте исследования об оказавшихся здесь злоупотреблениях».

54 Губернская гимназия в 1809–1822 гг. располагалась в доме купца И.С. Молоцкого на Большой Дворянской улице.

55 Биографических сведений о Михаиле Григорьевиче Ахтырском в фонде дирекции народных училищ Воронежской губернии найти не удалось. Не значится он в ревизской сказке 1816 г., поскольку не принадлежал к податным сословиям населения. Он упоминается в документах Палаты гражданского суда в 1824 г., когда жена отставного учителя музыки Наталья Калиновна Ахтырская приобрела дом в приходе Введенской церкви. См.: ГАВО. Ф. И-167. Оп. 1. Д. 59.

56 Сафоновы: Иван Алексеевич (ок. 1780 – после 1852), уездный предводитель дворянства в 1825–1826 гг., его братья коллежский асессор Павел Алексеевич, уездный предводитель дворянства в 1819–1822 гг., надворный советник Николай Алексеевич (ок. 1779 – после 1825).

57 Станкевичи: поручик Николай Иванович (1783–1838), уездный предводитель дворянства в 1816–1819 гг., его брат поручик Владимир Иванович (1786–1851), уездный предводитель дворянства в 1837–1841 гг.

58 Томилин Иван Петрович (ок. 1767 – между 1845 и 1852), отставной капитан, владелец имения в пригородной слободе Вознесеновке.

[59] Делольм Жан Луи (1740—1806), швейцарский публицист, адвокат. Его книга о конституции Англии издана на французском языке в Амстердаме в 1771 г., на английском — в Лондоне в 1775 г.

[60] Монтескье Шарль Луи де (1689—1755), французский писатель, правовед и философ. См. издания его книг: О существе законов. М., 1809—1814. Т. 1—4. Переводчик — непременный секретарь Российской академии Дмитрий Иванович Языков (1773—1845); Персидские письма. СПб., 1789; Письма персидские. СПб., 1792.

[61] Беккариа Чезаре Бонесано (1738—1794), итальянский правовед и общественный деятель, автор трактата «О преступлениях и наказаниях» (1764). Русский перевод: Рассуждения о преступлениях и наказаниях. СПб., 1803; О преступлениях и наказаниях. СПб., 1806.

[62] В 1819—1826 гг. существовало генерал-губернаторство, куда входили Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская губернии. Его возглавлял Александр Дмитриевич Балашёв (Балашов) (1770—1837), генерал от инфантерии, генерал-адъютант, министр полиции в 1810—1812, 1819 гг.

[63] Сцепенский Семен Афанасьевич (ок. 1767—1830), настоятель Троицкого собора в Острогожске в 1797—1815 гг. и с 1824 г.

[64] Подзорский Михаил Стефанович (1783—1851), священник Троицкого собора в Острогожске, в 1830—1832 гг. — его настоятель. С 1836 г. — настоятель Троицкого Смоленского кафедрального собора в Воронеже.

[65] Лебединский Петр Ефимович (ок. 1778—1856), священник Успенской церкви в Острогожске в 1801—1851 гг.

[66] Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), государственный деятель, в 1792 г. окончил Александро-Невскую семинарию, затем преподавал в ней. В 1797 г. семинария преобразована в Духовную академию.

[67] Соколов Николай Федорович (1779—1824), священник, в 1815—1824 гг. настоятель Троицкого собора в Острогожске. Умер в Воронеже.

[68] Правильно: Лушниковка.

[69] Пупыкин Матвей Иванович (ок. 1765—1835), острогожский бургомистр. Семья позднее перечислена в мещанское сословие.

[70] Лисаневич Василий Тихонович (ок.1774 — между 1854 и 1861), предводитель дворянства Острогожского уезда в 1822—1825 гг. и в 1828—1831 гг. Состоял в дружеских отношениях с К.Ф. Рылеевым, поддерживал с ним переписку.

[71] Астафьев Владимир Иванович (ок. 1774—1826), острогожский помещик.

[72] Панов Дмитрий Федорович (ок. 1761 — после 1835), по ревизии 1835 г. числился мещанином. Дед друга И.Н. Крамского, фотографа Михаила Михайловича Панова.

[73] Ферронский Федор Федорович (ок. 1771—1830), педагог. Окончил Воронежскую духовную семинарию в 1791 г. С 1792 г. — учитель Острогожского малого народного училища, в 1813—1828 гг. — штатный смотритель Острогожского уездного училища. Дети: Никандр (ок. 1801 — после 1830), губернский секретарь, Василий (ок. 1803 — после 1830), инвалид, Ираклий (ок. 1807 — после 1830), на военной службе в чине унтер-офицера, Аскитрея (ок. 1808 — после 1830), замужем за капитаном Небогиным, Наталья (ок. 1812 — после 1830).

[74] Владимир Иванович Астафьев был женат на Екатерине Васильевне, урожд. Бедряге (ок. 1768—1814).

75 Уваров Сергей Семенович (1786—1855), действительный тайный советник, министр народного просвещения в 1833—1849 гг.

76 Один из сыновей Должикова, Алексей Васильевич (ок. 1805 — после 1835) в 1835 г. был перечислен из купечества в мещанское сословие.

77 Бонне Шарль (1720—1793), швейцарский натуралист и философ. Его труд «Созерцание природы» был издан на русском языке в Петербурге в 1792—1796 гг. (Т. 1—4) и Смоленске в 1804 г. (Кн. 1—6).

78 Баумейстер Фридрих Христиан (1708—1784), немецкий философ. Его сочинения издавались на русском языке во второй половине XVIII — начале XIX вв. неоднократно.

79 Фридрих II Великий (1712—1786), король Пруссии с 1740 г. Его сочинение «История моего времени» в переводе на русский язык издано в Петербурге в 1789 и 1794 гг.

80 Роллен Шарль (1661—1741), французский историк и педагог. Его труды «Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках» (СПб., 1749—1762. Т. 10—10) и «Римская история от создания Рима до битвы Актийские, то есть по окончание республики» (СПб., 1761—1767. Т. 1—16) были изданы в переводах поэта и филолога Василия Кирилловича Тредиаковского (1703—1769).

81 Миллер Герхард Фридрих (1705—1783), российский историк немецкого происхождения. Основные его труды посвящены истории России. Сюжеты всеобщей истории раскрывал швейцарский историк Иоганн Мюллер (1752—1809), автор «24 Bücher allgemainer Geschichte», но на русский язык его труды в тот момент не были переведены. В низших и средних учебных заведениях европейская история преподавалась по переведенному на русский язык учебнику немецкого педагога Иоганна Матиаса Шрека (1733—1808) «Древняя и новая всеобщая история» и по пособию Федора Ивановича Янковича де Мириево (1741—1814) «Всемирная история, изданная в пользу народных училищ Российской империи» (пять изданий с 1787 по 1808 гг.).

82 См.: Янкович де Мириево Ф.И. «Краткая российская история, изданная в пользу народных училищ Российской империи» (девять изданий с 1799 по 1827 гг.).

83 Галич Александр Иванович (1783—1848), русский философ, профессор Царскосельского лицея, автор «Истории философских систем» (СПб., 1818—1819. Т. 1—2).

84 Правильно — хутор Руенталь.

85 Командиром Рижского драгунского полка с декабря 1816 по август 1822 г. был полковник, позднее генерал-майор Розенбаум Лаврентий Богданович. См.: Богородский А.А. Памятка из истории 11-го драгунского Рижского полка. 1709—1909 гг. Кременец, 1909.

86 Командиром Новороссийского драгунского полка с июня 1815 по август 1820 г. был полковник, позднее генерал-майор Евстафий Владимирович Кавер (1773 — после 1844), с августа 1820 по июнь 1822 г. — полковник Сергей Владимирович Зыбин (1789—1870). См.: Фохт Н.А. История 7-го драгунского Новороссийского полка. 1803—1903. Киев, 1903.

87 Кинбурнский полк прибыл в Острогожск 27 мая 1819 г., часть полка была расквартирована в г. Старобельск Харьковской губернии. Командиром полка в 1819—1827 гг.

был полковник, позднее генерал-майор Николай Васильевич Шуцкий (?–1839). См.: Прошлое Кинбурнских драгун. 1788–1796, 1798–1898/сост. штабс-ротмистр Подушкин. Ковель, 1898.

88 Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, руководитель Северного общества декабристов, один из организаторов восстания 14 декабря 1825 г. В 1817–1819 гг. служил в конно-артиллерийской роте, расквартированной в сл. Белогорье Острогожского уезда. С 1819 г. жил в Петербурге. Был женат на Наталье Михайловне, урожд. Тевяшовой (1800–1853), неоднократно приезжал в имение ее родителей, сл. Андреевку Острогожского уезда.

89 Гейсмар Федор Клементьевич (1783–1848), генерал от кавалерии, барон, командир Московского драгунского полка в 1816–1820 гг.

90 Юзефович Дмитрий Михайлович (1777–1821), генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. В 1816–1819 гг. — начальник 1-й драгунской дивизии, затем начальник 1-й конно-егерской дивизии. С 20 января 1820 г. — начальник 2-й уланской дивизии. Умер 25 сентября 1821 г. в г. Ромны Полтавской губернии.

91 Мартынов Иван Иванович (1771–1833), действительный статский советник, профессор Петербургского университета, переводчик.

92 Руссо Жан-Жак (1712–1778), французский философ-просветитель, писатель, автор романов «Новая Элоиза» (1761) и «Эмиль» (1762).

93 Руссо Ж.-Ж. Новая Елоиза, или Письма двух любовников, живущих в одном маленьком городке внизу Альпийских гор. М., 1769. Переводчик: Потемкин Павел Сергеевич (1743–1796), государственный и военный деятель, генерал-аншеф.

94 Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. М., 1807. Ч. 1–4. Переводчик Елизавета Дельсаль.

95 Юзефович Михаил Владимирович (1802–1893), публицист, действительный тайный советник. В 1840–1843 гг. — инспектор народных училищ Киевской губернии, в 1843–1856 гг. — помощник попечителя Киевского учебного округа. Председатель Киевской археографической комиссии.

96 повод для войны (лат.).

97 Лепарский Станислав Романович (1754–1837), генерал-лейтенант, комендант Нерчинских рудников с 1826 г. В 1810–1826 гг. — командир Северского конно-егерского полка, который с 1814 г. входил в состав 1-й конно-егерской дивизии. С 1817 г. полк был расквартирован в Ельце.

98 Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), государственный и военный деятель, фаворит императора Александра I, граф, генерал от артиллерии. Главный начальник военных поселений с 1817 г. В июне 1819 г. произошли волнения военных поселян в г. Чугуеве Харьковской губернии, подавленные войсками под командованием А.А. Аракчеева.

99 Раевский Андрей Федосеевич (1794–1822), майор, брат декабриста В.Ф. Раевского. Поэт, участник Отечественной войны 1812 года. Автор кн.: «Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов». М., 1822. Ч. 1–2.

100 Карл Людвиг Иоанн Йозеф Лаврентиус (1771–1847), эрцгерцог Австрийский, крупный полководец. А.М. Раевский перевел его книгу «Правила стратегии, объясненные описанием похода 1796 года в Германии» (СПб.: в тип. гвардейского штаба, 1818. Ч. 1. 228 с.).

[101] Жомини Антуан Анри, в России — Генрих Вениаминович (1779—1869), французский и русский военный писатель, барон, генерал от инфантерии (1826).

[102] Загряжский Петр Петрович (1778—1849), генерал-лейтенант, начальник 1-й драгунской дивизии в 1819—1828 гг.

[103] Бутков Петр Григорьевич (1775—1857), действительный тайный советник, член Академии наук (1841), сенатор. Директор народных училищ Воронежской губернии с февраля 1821 по апрель 1823 гг.

[104] Чекмарев Гавриил Иванович, из тамбовских дворян, жена Екатерина Александровна, урожд. Раевская (1778—?).

[105] Чекмарев Иван Гаврилович (1815—1887), генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.

[106] Глинка Григорий Николаевич (1780—1828), острогожский городничий. Умер в Новохоперске, где занимал аналогичный пост.

[107] Глинка Сергей Николаевич (1776—1847), общественный деятель, историк, публицист, издатель журнала «Русский вестник. Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт, публицист, декабрист. В описываемое время — правитель канцелярии петербургского генерал-губернатора графа М.А. Милорадовича.

[108] Меттерних Клеменс Венцель Лотар (1773—1859), австрийский дипломат, министр иностранных дел в 1809—1848 гг. Один из инициаторов создания Священного Союза. Был известен своими консервативными взглядами.

[109] Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860), государственный деятель, в 1821—1826 гг. — попечитель Петербургского университета. Заслужил репутацию обскуранта из-за своего негативного отношения к светской системе преподавания в учебных заведениях. По его инициативе из Петербургского университета были уволены профессора А.П. Куницын, А.И. Галич и др.

[110] Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844), государственный деятель, в 1819—1826 гг. — попечитель Казанского университета. Провел «преобразование» университета, сущность которого заключалась в «искоренении вольнодумства и основании преподавания всех наук на благочестии». В ходе «преобразования» были уволены большинство профессоров.

[111] Голицын Александр Николаевич (1773—1844), государственный деятель, князь, действительный тайный советник 1-го класса. Министр народного просвещения с 1816 г., министр духовных дел и народного просвещения в 1817—1824 гг., президент Русского библейского общества в 1813—1824 гг.

[112] Лазарев-Станищев Николай Семенович (ок. 1771—1849), действительный статский советник, владелец имения в с. Семейки Острогожского уезда.

[113] Езда на долгих — ехать медленно, на одних и тех же лошадях.

[114] Билинский Андрей Иванович (ок. 1783 — ок. 1851), уроженец австрийской Галиции, преподаватель латинского языка в 1812—1842 гг., исправляющий должность директора народных училищ Воронежской губернии с 1 февраля по 1 марта 1823 г. и с 7 апреля 1823 по 1 июня 1824 г.

[115] Мамантов (Мамонтов) Степан Трофимович (?—1843), крепостной служитель гр. Шереметевых. В 1820-е гг. — один из домоправителей в Петербурге. Впоследствии был отпущен на волю.

[116] Дубов Борис Васильевич (ок. 1780 — после 1854), крепостной служитель гр. Ше-

реметевых. С 1812 г. — поверенный в делах и один из домоправителей в Петербурге. В 1830 г. получил вольную и записался в купеческое сословие.

[117] Попов Гавриил Степанович (1799—1874), тайный советник, публицист, с 1818 г. — старший помощник секретаря при князе А.Н. Голицыне.

[118] Шереметев Василий Сергеевич (1752—1831), генерал-майор, представитель нетитулованной ветви рода. Внук Василия Петровича, родного брата генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. Графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву он приходился троюродным дядей.

[119] Боратынский (Баратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт. В 1819—1824 гг. — унтер-офицер Нейшлотского пехотного полка, расквартированного в Финляндии. По делам службы имел возможность бывать в Петербурге.

[120] Возможно, речь идет о дочери сенатора и опекуна Д.Н. Шереметева М.И. Донаурова, Марии Михайловне (1796/98—1848), в замужестве Жадовской.

[121] Муравьев Александр Михайлович (1802—1853), корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка с 6 апреля 1824 г., декабрист.

[122] Оболенский Евгений Петрович (1796—1865), поручик лейб-гвардии Финляндского полка, декабрист.

[123] Видимо, речь идет о Елизавете Петровне Чернышевой (1773—1828), матери сослуживца Д.Н. Шереметева по Кавалергардскому полку Захара Григорьевича Чернышева (1797—1862).

Подготовка текста и примечания: *Александр Акиньшин.*

Всю жизнь вел дневник, или Мемуары А.В. Никитенко — документ эпохи

I.

Автор «Записок» — историк литературы, деятель просвещения, журналист, мемуарист, цензор Александр Васильевич Никитенко родился 12 (24 по новому стилю) марта 1804 года в селе Удеревка Бирюченского уезда Воронежской (ранее Слободско-Украинской) губернии[1].

Отец Никитенко, Василий Михайлович, крепостной графа Н.П. Шереметева, в детстве был отправлен в певческую капеллу сановника, смог выучиться грамоте и французскому языку. Когда «спал с голоса», его возвратили на родину, в слободу Алексеевку Бирюченского уезда. Там служил старшим писарем. Выступал против произвола местной власти и богатеев, за что не раз подвергался гонениям.

Детские годы Никитенко прошли в Алексеевке под опекой родителей и бабушек и в Гжатском уезде Смоленской губернии, куда семья была выслана по распоряжению графа Шереметева. Мальчик рано выучился читать, первыми книгами были учебники истории для народных училищ, в которых в перечне древлян, полян, кривичей и вятичей поражали «странность имён», множество битв и непрерывная вражда князей[2]. В то же время проявилась и склонность к сочинительству: он писал и не отправлял письма к друзьям.

Василий Никитенко с разрешения императрицы Марии Федоровны получил право самостоятельного выбора места жительства. В 1811 году семья переезжает в слободу Писаревку Богучарского уезда, где помещица М.Ф. Бедряга предложила главе семьи должность управляющего имением. Мальчик оказался в обществе людей, которые «почерпали свои мировоззрения», «вызванные к жизни» Петром Великим и Екатериной II[3]. В Писаревке зачитывались французскими энциклопедистами, в первую очередь Вольтером. Давали

пищу умам также произведения Сумарокова, Новикова, Ломоносова, Фонвизина, Державина и других. В это же время у Никитенко появилась страсть к романам, он «прочёл их много и самых нелепых»[4].

В 1813 году юный Никитенко поступает в Воронежское уездное училище. Ему уже «были знакомы четыре правила арифметики», он «бегло и толково читал и довольно чисто писал без линеек»[5]. Ученье его шло успешно, и вскоре как лучшего ученика его посадили за первую парту. Как вспоминал Никитенко, им с первых же шагов овладело «честолюбивое желание сделаться цензором», что считалось высшим школьным отличием. Он с увлечением читает жизнеописания Плутарха, сочинения Сократа, Аристида, Филопомена, проникает в «мрачные подземелья вслед за Анною Редклиф, упивается сладчайшим Августом Лафонтеном»[6].

Окончив училище первым учеником в 1815 году, Никитенко испытывает душевное потрясение, поскольку не мог продолжать образование дальше: крепостной не имел доступа в гимназию[7]. К тому времени семья переехала в уездный город Острогожск. Юноша получает возможность давать уроки детям местных купцов и чиновников. У него появилось юношеское «стремление руководить другими и подчинять себе чужую волю»[8]. Но угнетала несправедливость собственного положения, закрывавшего «дальнейшие пути к знанию, к свету». Нравственные муки в 16 лет привели Никитенко к мысли о самоубийстве, он даже сочинил оправдание этому замыслу, назвав его «Голос самоубийцы в день Страшного суда». На этой почве появилось увлечение мистицизмом, которое сменилось принятием «реальных истин Евангельского учения»[9].

В конце 1822 года в Острогожске было создано отделение Библейского общества, председателем которого избрали предводителя уездного дворянства В.И. Астафьева, а секретарем — Никитенко. Своею энергичной деятельностью он быстро выдвинулся среди сотоварищей. В январе 1824 года на первом публичном заседании общества он произнес впечатляющую речь в защиту «сияния слова Божия» против «мрачного ума софистов XVIII века», напомнил «о великих делах, совершённых российским Библейским обществом»[10].

Материалы собрания В.И. Астафьев передал в Петербург председателю Библейского общества министру духовных дел и народного просвещения князю А.Н. Голицыну, который обратил внимание на выступление Никитенко и пригласил его в северную столицу. При поддержке бывшего министра (Голицын к тому времени был уволен с этого поста), а также К.Ф. Рылеева, рекомендательное письмо которому направил родственник по жене Астафьев, и офицеров, будущих декабристов А.М. Муравьева и Е.П. Оболенского[11] Никитенко 11 октября 1824 года получил «отпускную» от молодого наследника огромного богатства, графа Д.Н. Шереметева.

По ходатайству Голицына принят вольнослушателем, а после экзаменов в феврале 1826 года зачислен студентом на второй курс философско-

юридического факультета Петербургского университета[12]. До начала января 1826 года проживал на квартире князя Оболенского и обучал его брата Дмитрия. Там встречался с Рылеевым, Ф.Н. Глинкой, Е.А. Боратынским. Никитенко, как и декабристы, считал крепостное право главнейшим злом в России и сочувствовал «отважным умам, задумавшим идти наперекор судьбе», однако не одобрил их попытки «одним махом решать вековые злобы»[13].

В студенческие годы за подписью Александр Никитенков вышла первая печатная работа — сочинение «О преодолении несчастий»[14]. Публикация вызвала похвальный отзыв наставника, профессора словесности Н.И. Бутырского, привлекла внимание литераторов Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча, что послужило поводом для знакомства. В те же дни, рассуждая о современном государственном устройстве, Никитенко записал в дневнике, как важно «скинуть цепи с десяти миллионов рабов». С отменой крепостничества, утверждал он, «как оживилась бы деятельность народа», «сколько рук, ныне устремлённых только на то, чтобы услуживать тунеядцам, обратилось бы к трудам общеполезным»[15].

В мае 1827 года Никитенко познакомился с Анной Керн — «молодой женщиной поразительной красоты». Студента заворожило ее внимание. Во время встреч шел разговор «о литературе, о чувствах, о жизни, о свете», а также о рукописях. Никитенко доверяет даме главы из неоконченного романа «Леон, или Идеализм», а Керн — «часть записок своей жизни», чтобы он принял их за сюжет романа[16]. Но как только в гостиную приходил А.С. Пушкин, красавица моментально переключала внимание на него, что пробуждало ревнивое чувство у студента.

Все же Никитенко не идет на поводу ревнивых переживаний, воздаёт должное поэтическому таланту Пушкина, отмечая в дневнике, что он «говорит языком богов и стремится воплотить в живые образы высшую идеальную красоту». Читая третью главу «Евгения Онегина», студент замечает в ней «живую картину современных нравов», она «превосходит предыдущие в выражении сокровенных и тончайших ощущений сердца»[17].

В 1827 году Никитенко отказывается поехать за границу в числе двадцати лучших студентов «для усовершенствования их познаний с тем, чтобы, возвратясь, они могли занять профессорские кафедры». Он намерен посвятить себя науке, но не такой ценой, которая «хоть сколько-нибудь отзывает закрепощением себя», а предпочел «свободно располагать своей будущностью»[18]. Попечитель Петербургского учебного округа К.М. Бороздин с пониманием отнесся к такому объяснению и предложил студенту место письмоводителя в своей канцелярии. Эту должность Никитенко занимал и после окончания университета кандидатом в феврале 1828 года вплоть до июня 1835 года.

По предложению попечителя студент написал примечания к цензурному уставу 1828 года. В примечаниях уточнялись и разъяснялись общие направления устава для руководства в повседневной практике. Это была первая

законотворческая работа молодого Никитенко в защиту «большей свободы мыслей», против «гасителей света», «к ограждению прав русских граждан на самостоятельную духовную жизнь»[19].

В 1830 году Петербургский университет предложил Никитенко кафедру политической экономии. На первой же лекции он «с честью» выдержал испытание на звание педагога. В то же время ведет занятия по русской словесности в Екатерининском институте, читает также лекции в Смольном институте благородных девиц, других учебных заведениях. Совет университета признал диссертацию «О главных источниках народного богатства», «по познаниям и по изложению» заслуживающей «полное одобрение»[20]. В январе 1832 года Никитенко получает звание адъюнкт-профессора по кафедре политической экономии.

В августе того же года Никитенко переходит на кафедру русской словесности, считая «это ближе к сердцу». Вступительную лекцию «О происхождении и духе литературы» он прочитал «в присутствии небывалого до того на университетских чтениях множества посетителей»[21]. В этой лекции Никитенко заявил о своем подходе к самой литературе и к задачам ее преподавания. Позже в дневнике он высказался так: «Элементами моей силы я считаю мысль и слово, а не эрудицию. Мое естественное влечение — обратить кафедру в трибуну. Я желаю больше действовать на чувство и волю людей, чем развивать перед ними теорию науки»[22].

Беллетристическая проза в духе сентиментальной традиции в виде отрывков из романа «Леон и Маргарита» была опубликована Никитенко в 1828 году. Под названием «Леон, или Идеализм» прозу напечатали в 1832 году альманах «Северные цветы» и «Невский альманах». «Северные цветы», по замыслу Пушкина, должны были увековечить память поэта и издателя альманаха А.А. Дельвига и материально помочь его семье. Под одной обложкой собрался цвет российской словесности первой трети XIX столетия: стихи Пушкина, В.А. Жуковского, Е.А. Боратынского, П.А. Вяземского, проза И.И. Лажечникова, К.Н. Батюшкова, В.Ф. Одоевского и других. Включение в альманах прозы Никитенко свидетельствует о творческой реальности того времени. Рецензент «Телескопа» в «Леоне» отметил «новое, особенное направление, доселе неиспытанное нашим романом — направление философическое»[23]. Еше раз в литературном жанре Никитенко выступил в очерке «Апологи» (Одесский альманах на 1839 г.). В прозаических отрывках Никитенко заявил о себе как «одарённый и оригинальный беллетрист», но в его дальнейшей деятельности литературные произведения оказались на втором плане, «художественное творчество не заняло сколько-нибудь заметного места»[24].

Романтические настроения Никитенко в молодые годы все более уступали место честолюбивым желаниям выдвинуться по службе. К этому побуждало и семейное положение, необходимость обеспечивать достойную жизнь жене и

детям. В 1833 году он становится цензором Петербургского цензурного комитета. Тогда же женится на выпускнице Екатерининского института Казимире Казимировне Любощинской (1813[14] – 1893)[25], родившейся в католической семье в Могилевской губернии. В семье росли дочери Екатерина и Софья, сын Александр. Еще один сын Василий умер ребенком в 1847 году. У супругов Никитенко сложились гармоничные отношения, в них преобладали взаимное уважение, понимание и поддержка в сложных жизненных ситуациях.

Кроме упомянутых учебных заведений, молодой профессор успешно преподает русскую словесность в Аудиторской школе (1833–1839), там же выполняет обязанности инспектора по части словесности. Ведет занятия в Артиллерийском (1835–1838) и Александровском (1848–1857) училищах, в Римско-католической духовной академии (1843–1877). Имя молодого ученого-наставника стало известно в педагогической среде и в высших слоях общества. Преподавательская деятельность Никитенко отмечена бриллиантовым перстнем от императрицы Александры Федоровны, которая просила передать благодарность «в лестных выражениях» за тринадцать лет службы в Екатерининском институте[26]. Ученый удостоен орденов св. Анны третьей степени (1837), св. Станислава второй степени (1844), Белого Орла (1874).

В январе 1834 года Никитенко получил звание экстраординарного профессора. С годами педагогическая практика порождает все больше сомнений, и у него нарастает неудовлетворенность системой образования, правительственной политикой в области просвещения и культуры. Он делает вывод, что «у нас на образование смотрят как на заморское чудовище: повсюду устремлены на него рогатины». Не находит полного понимания учителей попытка преобразовать учебные программы Аудиторской школы, чтобы она «сделалась рассадником новых начал судопроизводства в армии»[27]. Не была введена в программу преподавания Института путей сообщения (служил в 1844–1849) «Теория деловой словесности», которую Никитенко подготовил по поручению главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий графа П.А. Клейнмихеля[28].

В 1837 году Никитенко защитил докторскую диссертацию по философии «О творящей силе в поэзии, или О поэтическом гении». Он оставался верен своему взгляду на роль литературы, утверждая единство «идеи чистой красоты» и «идеи жизни». Ординарным профессором его избрали только в 1850 году.

Никитенко преподавал русскую словесность в университете до 1864 года. Сам он отмечал, что в своих выступлениях на кафедре старался «согревать сердца слушателей любовью к чистой красоте и истине и пробуждать в них стремление к мужественному, бодрому и благородному употреблению нравственных сил»[29]. В воспоминаниях современников отразились неоднозначные мнения о лекциях Никитенко на университетской кафедре. Большинство из

них благосклонно оценивали его педагогическое дарование. Среди них — писатель И.С. Тургенев, поэт и публицист А.Н. Майков, путешественник и военный географ М.И. Венюков, педагог и писатель Ф.Н. Фортунатов, эмигрант и политик В.С. Печерин.

Будучи вольнослушателем университета, поэт Н.А. Некрасов более всего любил посещать лекции Никитенко, пока профессор не подверг критике его стихотворный сборник «Мечты и звуки»[30]. В мемуарах известного педагога В.П. Острогорского нарисован словесный портрет педагога: «Это был человек невысокого роста, коренастый и плотный, с умным приветливым лицом, живыми глазами, хитро смотревшими из-под густых, нависших, с проседью бровей, с почти совсем седыми, жёсткими волосами, слегка подстриженными, не поддающимися щётке и стоявшими небольшим хохлом, придававшим лицу важность»[31].

Публициста Н.Г. Чернышевского увлекли лекции-импровизации профессора. Во время защиты диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» он получил похвальную оценку оппонента Никитенко за устный магистерский экзамен и на публичном «защищении рассуждения»[32].

Со средины 1850-х годов в среду молодёежи начали проникать радикальные настроения. Стало меняться отношение к содержанию университетских лекций. Публицист и литературовед А.М. Скабичевский кандидатскую диссертацию написал под руководством Никитенко, научную работу защитил успешно, а вот воспоминания оставил неблагодарные, характеризуя наставника как отставшего от веяний времени ученого[33]. Подобное мнение высказал в воспоминаниях будущий народник Л.Ф. Пантелеев[34].

В лекциях и сочинениях по теории словесности Никитенко обращался к философии, истории, психологии, «русской народности», в которых хотел «утвердить основы литературной идеи и определить ход нашей литературы в главных ее деятелях»[35]. К таким выступлениям можно отнести его «Речь о современном направлении отечественной литературы» (СПб., 1841). Никитенко выступил с тезисом о важном значении литературы в развитии общества, ратовал за расцвет ее под «сению науки», которая одна способна оградить ее «от варварского набега надменных полумыслей и бедных содержанием идей»[36].

К тому же циклу сочинений об «основах литературной идеи» следует отнести «Речь о критике» (СПб., 1842). Статья была прочитана на совете университета и «единодушно одобрена»[37]. В этой работе Никитенко впервые предпринял анализ особого рода творчества — литературной критики, назвал ее судом разума над творчеством, утверждал, что в отношении автора она «должна служить опорою, мудрым советником, и охранителем его прав от посягательств невежества и неуважения толпы, посредником между ним и обществом»[38]. В.Г. Белинский отметил умение Никитенко «соединить интерес предмета и основательность... взглядов с живым красноречивым изложением».

Заметной и вместе с тем напряженной страницей в жизни Никитенко является служба в Петербургском цензурном комитете. 16 апреля 1833 года, становясь цензором, он ясно осознавал, что «делает опасный шаг». В дневнике пометил: «Я осаждён со всех сторон, надо соединить три несоединимые вещи: удовлетворить требованию правительства, требованиям писателей и требованиям своего собственного внутреннего чувства. Цензор считается естественным врагом писателей, и в сущности — это не ошибка»[39]. Никитенко все же полагал, что цензурный устав 1828 года вполне может оградить права писателей от цензурных притеснений, его применение будет способствовать либерализации литературного процесса.

В начале 1835 года Никитенко на этом посту испытал произвол власти. В журнале «Библиотека для чтения» он одобрил к печати перевод стихотворения В. Гюго «Красавице», в котором митрополит Серафим расценил кощунственной фразу: «И если б богом был — селеньями святыми клянусь...». Со своей жалобой оградить церковь и веру от «поруганий поэзией» он обратился к Николаю I. Тот распорядился посадить цензора на гауптвахту. Никитенко понял, что его наказали за оставленные в стихотворении слова «бог» и «святые селенья». Только через восемь суток Никитенко покинул, как он высказался, «гостеприимный кров» Новоалександровского заточения[40]. В декабре 1842 года Никитенко вновь попал на гауптвахту. Его арестовали по жалобе министра путей сообщения графа П.А. Клейнмихеля, ранее благожелательно к нему относившегося[41].

Как бы ни складывались обстоятельства на цензурном поприще, Никитенко оставался защитником разумной свободы слова, в которой видел средство к успешному, самостоятельному движению в Отечестве наук и литературы и к правильному развитию строя государственной жизни. Он понимал, что свобода слова непременно приводит к противоречиям во взглядах литераторов и позиции властей. Поэтому постоянно находил возможность, как выразился П.А. Вяземский, «щадить неизбежное уклонение ума».

Возможность «слететь» с цензорского кресла напоминала о себе постоянно. Впрочем, Никитенко особо и не держался за это кресло. Уже на четвертый год службы в надзорном ведомстве он подал прошение об освобождении от должности. Председатель цензурного комитета М.А. Дондуков-Корсаков употребил все красноречие, чтобы профессор не настаивал на отставке.

Никитенко-цензор часто выступал ходатаем за подлинно художественные произведения литературы, во многих случаях облегчал цензурное прохождение текстов. Несмотря на давление «охранителей», он настаивал на неприкосновенности полных текстов в посмертном издании сочинений Пушкина. В 1842 году, проявив определенное мужество, позволил набрать в типографии «Мертвые души» Н.В. Гоголя, запрещенные московской цензурой. В письме автору выразил свое восхищение его «глубоким взглядом в самые недра нашей жизни» и «неподдельным» гоголевским комизмом[42]. Он добился разрешения выпу-

стить отдельным изданием стихотворения Н.А. Некрасова, которые относили к «весьма неблагонадежным», и разрешил напечатать оказавшуюся под сомнением других цензоров ироническую сказку «Конек-горбунок» П.П. Ершова, обличительную повесть «Антон Горемыка» Д.В. Григоровича. В роли посредника между властями и литераторами Никитенко выступал 15 лет, ушел из цензурного комитета в июле 1848 года в связи с ужесточением надзорного режима.

Особого внимания заслуживает журналистская деятельность Никитенко. Публикации в различных повременных изданиях принесли ему опыт печатных выступлений и выработали собственный взгляд на духовное развитие общества. Вступая в должность редактора журнала «Сын Отечества» в 1840 году, он определил свою программу открытого и честного воздействия печатным словом на общественное сознание. Намерения были таковы: «Говорить с достоинством об отечественных предметах — по возможности откровенно, но без нахальства; развивать нравственные начала в обществе и уважение к человеческому достоинству, вопреки господству животных, материальных стремлений; внушать, что справедливость и мужество суть главные опоры нравственного порядка вещей»[43].

Наиболее примечательным в редакторской практике Никитенко следует отметить публикации во втором томе журнала за 1840 год. В нем были помещены стихотворения Пушкина «К Жуковскому» и «Гораций», не напечатанные при жизни поэта. Как известно, после гибели Пушкина рукописи его были переданы Жуковскому, который обнаружил немало необнародованных материалов. К журнальной публикации Никитенко сделал примечание, говорящее о высокой оценке творчества великого поэта: «Предлагаемые публике два стихотворения А.С. Пушкина принадлежат к его лицейским опытам; они вместе с прочими творениями, собранными после его смерти, приготовлены уже к изданию и составят несколько томов. Само собой разумеется, что эти опыты не выражают поэтической физиономии Пушкина, с какою он является теперь перед нами и какую сохранит навсегда в истории нашей литературы. Но для сей последней неоцененны первые творческие порывы такого таланта, как Пушкин»[44].

В разделе прозы изданы «Отрывки из дневника» поэта, материалы которого были переданы Никитенко. В этом же томе «Сына Отечества» помещены также «Отрывки из партизанского дневника» прославленного героя Отечественной войны 1812 года Д.В. Давыдова и его же «Письмо к В. Скотту» с замечаниями на изложенную им «Историю Наполеона». Сам редактор тоже подготовил статью под названием «Три способа литературной деятельности», в которой рассуждает об истоках поэтического и прозаического творчества, более обстоятельно изложенные потом в «Опыте истории русской литературы».

В актив второго тома журнала следовало бы занести стихотворение А.В. Кольцова «Благотворителю моей Родины» (в современной редакции — «Благодетелю»), посвященное писателю Д.Н. Бегичеву, бывшему воро-

нежскому губернатору, помогавшему и поддержавшему поэта из низов.

Последующие тома журнала становились все более скудными на разделы, в нем преимущественно печатались переводные материалы и разного рода литературные, исторические и политические обзоры. Нельзя сказать, что редакторство Никитенко влило новое вино в старые мехи. Декларированная им программа «Сына Отечества» осталась благим пожеланием.

Другой заметной страницей в журналистской деятельности Никитенко стало редакторство журнала «Современник», основанного Пушкиным, а после его трагической гибели редактируемого П.А. Плетневым. Теряющее читателей издание в 1846 году арендовали Некрасов со своим старшим товарищем И.И. Панаевым, а редакторство предложили Александру Васильевичу.

Первый выпуск «Современника» обрадовал Никитенко. В дневниковой записи от 4 января 1847 года сказано: «Он (журнал. — *А.К.*) произвёл хорошее впечатление. Отовсюду слышу благодарственные отзывы его тону и направлению»[45]. И в этом нет редакторского самолюбования и преувеличения. В первом номере поместили свои материалы авторы, которые потом вошли «первыми номерами» в историю литературы: Белинский («Взгляд на русскую литературу 1846 г.» и три его рецензии), И.С. Тургенев («Хорь и Калиныч» (Из записок охотника), «Деревня», цикл стихотворений, «Современные заметки», рецензия на трагедию Н. Кукольника), Ф.М. Достоевский («Роман в девяти письмах»), Н.А. Некрасов (стихотворения «Тройка», «Псовая охота»), Н.П. Огарёв (стихотворения «Отъезд», «Бывало часто я смущен внутри души»), М.С. Щепкин («Из записок артиста»), К.Д. Кавелин («Взгляд на юридический быт древней России») и другие.

«В 1848 году строгость цензуры дошла до того, что из шести повестей, назначенных в «Современник», ни одна не была пропущена, так что нечего было набирать для ближайшей книжки», — отмечала А.Я. Панаева[46]. Ситуацию усугубила череда революционных выступлений на Западе — «гром европейских переворотов». Стремясь упредить смуту в России и усилить давление на общественную мысль, Николай I повелел учредить Особый комитет для надзора над цензурой и повременной печатью. Вскоре «меры обуздания» обозначились явственно. В конце марта 1848 года комитет заслушал сообщение о «сомнительном направлении журнала «Современник» и постановил подвергнуть издание строжайшему надзору.

Гнетущая атмосфера в издательском деле, предельное сужение рамок свободы слова, вернее, ее полное ограничение выбили Никитенко из колеи, лишили душевного равновесия. Распри с издателями дополняли состояние душевной смуты. Сам цензор, имеющий выстраданный опыт и понимающий, что позволяется, а что следует вычеркнуть, растерялся, стал осознавать зыбкость положения. Придерживаясь своих принципов свободы мнений и убедившись, что в обстановке «отыскивания вредных идей» свои обязанности

выполнять не в состоянии, Александр Васильевич оставил редакторский пост.

На том журналистская практика Никитенко не закончилась. С 24 января 1856 года он возглавил «Журнал министерства народного просвещения». Издание в соответствии со своим профилем публиковало «высочайшие» указы, циркуляры и распоряжения министерства народного просвещения и другие официальные материалы. С одобрения редактора печатались очерки, статьи и рецензии под разделами «Словесность», «Науки и художества», «Известия об учёных и учебных заведениях». При Никитенко предпочтение отдавалось истории и литературе. В 1860 году редакторские полномочия он передал педагогу К.Д. Ушинскому. К тому побудили «тяжкая, серьёзная болезнь» и требование врачей пройти лечение за границей[47].

Министр внутренних дел П.А. Валуев предложил Никитенко с начала 1862 году редактировать газету «Северная почта». Выпуск издания сопровождался постоянными назиданиями. Никитенко сделал вывод, что министр смотрит на «Северную почту», «как на вместилище циркуляров и указов» и летом того же года решил уйти с поста редактора. В который раз его намерение выпускать печатное издание согласно своим представлениям о свободе слова оказалось несостоятельным[48].

В ноябре 1859 года петербургские ученые, литераторы, публицисты учредили общество для пособия нуждающимся литераторам. Никитенко, умеющему составлять деловые бумаги, было поручено принять участие в подготовке проекта устава объединения, названного потом Литературным фондом. Общество выделяло пособия известным и малоизвестным литераторам и публицистам. В его работе самое непосредственное участие принимали Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко.

Отзывчивость и неспособность отказаться от разного рода поручений не проходили бесследно мимо душевного состояния Никитенко. Эти общественные обязанности отвлекали от главного — от науки. Если учесть шаткость здоровья ученого, то деловые перегрузки, все эти ситуации чрезмерной озабоченности и постоянного изнеможения в конце концов побудили его записать в дневнике, что «всё это и многое другое составляют такую мутную смесь житейских волн, что я захлёбываюсь ими и едва, как говорится, успеваю перевести дух...»[49].

В декабре 1853 года Никитенко избирают членом-корреспондентом, а в январе 1855 года — действительным членом Академии наук. «Полное» академическое звание не особо воодушевило Никитенко. В своем дневнике он лишь сухо отмечает факт избрания, не расцвечивая его никакими эмоциями. Осознавая высокий статус и авторитет Академии наук, он ценил достоинство и демократический принцип в избрании ее членов. Потому проявлял принципиальность, когда навязывали мнение «сверху». В декабре 1863 года Никитенко возмущается: «Вообще странное и нелепое положение Академии, что

она должна расточать знаки своего уважения по приказанию начальства»[50]. В то же время Никитенко поддерживал традицию уважительного отношения к литературе, правило принимать в члены 2-го отделения «представителей живой движущей мысли» — писателей. «Неужели талант есть что-либо чуждое Академии?» — спрашивал он и отвечал, что «нужно привлекать в свои стены только тех писателей, которые обнаруживают несомненный талант и сильно содействуют эстетическому и умственному развитию общества»[51].

Это положение действовало с начала XIX столетия, и среди академиков можно назвать имена писателей, которые в разные годы удостоены признания научного сообщества. В Академию наук избирались А.С. Пушкин, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.М. Горький и другие. Это можно назвать научным доказательством силы слова.

Как только дело касалось прямых обязанностей Никитенко, он выполнял их со всей ответственностью. В комиссии по присуждению наград в память бывшего президента Академии С.С. Уварова, которые рассматривались 2-м отделением, ему поручали разбор представленных на конкурс драматических произведений. Никитенко исправно перечитывал десятки пьес претендентов, писал подробный отзыв. Похвальные слова высказал он о трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». В 1872 году о двух пьесах А.Н. Островского он сделал заключение: «Обе слабы, и я не мог дать о них одобрительного отзыва». Собранные вместе рецензии Никитенко могут представлять интерес для исследователей драматургии в 50-е — 70-е годы XIX столетия.

По поручению Академии Никитенко составлял ежегодные отчеты о деятельности 2-го отделения. В декабре 1856 года в своем выступлении, кроме сообщений о занятиях коллег, он большое внимание уделил филологической науке, литературе и ее изучению. Обстоятельные выступления сделал в 1861—1863 и в 1866—1876 годах. При этом написал некрологи об ушедших из жизни академиках: с одними из них находился в дружеских отношениях, других уважал за ученые труды по литературе. Посмертные характеристики дал он поэтам Ф.И. Тютчеву, А.К. Толстому, В.Г. Бенедиктову, составителю словаря русского языка В.И. Далю, славяноведу и фольклористу А.Ф. Гильфердингу, законотворцу и реформатору М.М. Сперанскому и другим.

В апрельском заседании Академии наук 1865 года Никитенко произнёс слово о значении Ломоносова в развитии русской словесности, провозгласив, что «действие художественных произведений Ломоносова на умы было могущественно». В следующем, 1866 году он выпустил книгу с названием «Три литературно-критические (так набрано на обложке. — *А.К.*) очерка» (СПб., 1866). В издании изложены отзывы о трагедии А.Ф. Писемского «Самоуправцы», комедии А.А. Потехина «Отрезанный ломоть» и трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», которой и уделено основное внимание.

Последняя обстоятельная литературно-критическая работа академика «Мысли о реализме в литературе» отпечатана отдельным изданием в 1872 году. В ней сосредоточен взгляд Никитенко на словесность как на всякое творческое деяние, воздействующее на умственную среду. По его мнению, современная литература под влиянием реализма «не находится на высоте своего призвания», свою задачу она понимает «в слишком тесном смысле», останавливается на одних частностях вместо того, чтобы «следуя за жизнию, восходить к положительным центральным её представлениям»[52].

О заслугах академика Никитенко после его кончины сообщил коллега-историк А.Ф. Бычков в отчете о деятельности 2-го отделения за 1877 год: «Это был человек, глубоко уважавший науку, повсюду отводивший ей почётное место и в ней одной искавший подтверждения и подкрепления высказываемых им мыслей... Сторонник свободы мысли, он никогда не набрасывал на неё стеснительных оков, когда был убеждён, что она может принести пользу обществу, и преследовал только напыщенную бездарность, очевидно вредную ложь»[53].

II.

В настоящее время Никитенко известен более всего как мемуарист. Его воспоминания и дневник стали одним из важных источников для изучения литературной и общественной жизни России в 10-е — 70-е годы XIX века. Это живое и непосредственное изложение фактов и размышления, вызванные ими.

Мемуарное наследие Никитенко делится на две части. Это «Записки», которые имеют авторское название «Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был», охватывающие период с 1804 по 1824 год, и «Дневник», содержание которого относится к промежутку времени с 1826 по 1877 год. Пожалуй, Никитенко не мог предположить, что его воспоминания и дневник приобретут столь повышенный общественный интерес не только современников, но и последующих поколений литераторов, историков. Мемуарные записи его выдержали несколько изданий.

Следует заметить, что дневник за 1825 год был уничтожен автором сразу же после восстания на Сенатской площади, поскольку записи могли навлечь подозрение в причастности к заговору. Как нам известно, в то время Никитенко жил на квартире будущего декабриста Е.П. Оболенского и в дневнике содержались сведения о дружбе с людьми, которые возглавили восстание, в том числе с К.Ф. Рылеевым.

Над «Записками» Никитенко начал работать, когда появилось больше свободного времени, да и годы, идущие под уклон, склоняли поведать потомству о том, «чему свидетель в жизни был». Намерения подпитывало и желание вернуться к литературному творчеству далекой молодости, к тому же отпала

необходимость заниматься мелкими жанрами — статьями и рецензиями, ушла в прошлое служебная рутина.

В 1851 году он впервые за письменным столом начал «перелицовывать» отрывочные дневниковые записи в последовательное повествование и на чистом листе вывел первую фразу: «В Воронежской губернии, что прежде была Слободско-Украинская, у реки Тихой Сосны, между небольшими уездными городами, Острогожском и Бирючом, есть большое село, или слобода, Алексеевка, населённая малороссиянами, которых русская политика сделала крепостными».

Приступая к «Запискам», он вспоминал вдохновения и лишения своей юности. В ноябре 1867 года, в пору увлеченной обработки записок, Никитенко решил «проверить себя взглядом и чувствами другого лица», способного понять и одобрить. Свой отрывок он читал земляку, бывшему коллеге по университету и профессору Н.И. Костомарову, который, как полагал мемуарист, «хорошо знает места, где я родился и провёл детство, и людей этого края». Никитенко отметил, что земляку, «по-видимому, понравилось» прочитанное.

Уже в августе 1873 года, когда о воспоминаниях пошла молва среди просвещенных петербуржцев, редактор исторического журнала «Русская старина» М.И. Семевский уговорил Никитенко прочитать мемуарные отрывки: «Он давно уже просил меня о том и чтобы я дал ему что-нибудь из них» для периодического издания.

Никитенко намеревался обработать весь дневник. Пожалуй, это ему не удалось бы, даже проживи он до возраста библейских старцев. Работа шла слишком медленно. Обработанные ежедневные заметки повествуют о жизненном пути автора только до 1824 года. Между тем ранние дневники в «сыром виде» мало сообщали «о действительных событиях в жизни автора» и напоминали «скорее литературные упражнения». Никитенко дополнил и коренным образом переработал их, в итоге жизненный материал «несравненно подробнее и вразумительнее изложен» в «Моей повести...»[54].

«Записки», а затем и дневниковая рукопись впервые были обнародованы в журнале «Русская старина». Печатать их начали уже после кончины ученого в 1888 году. Первые главы поместили в августовском номере под названием «Повесть о самом себе. Посмертные записки и дневник академика и профессора Александра Васильевича Никитенко» (с. 305—341). Последующие главы были опубликованы в сентябрьском (с. 483—524), октябрьском (с. 61—83), ноябрьском (с. 267—310) и завершены в декабрьском (с. 549—582) выпусках. «Записки» рассказывали о детстве, отрочестве и юности Никитенко в слободе Алексеевке, Острогожске, Богучарском уезде и других местах Воронежской губернии и в самом губернском центре, а также в первые месяцы перед освобождением от крепостной неволи в Петербурге.

«Дневник» как составная и основная часть мемуаров Никитенко был на-

печатан в журнале в 1889—1892 годы. Этот вариант издания был далеко не полный и частично искаженный по цензурным соображениям. Напечатанные в «Русской старине» ежедневные записи доведены до 1872 года и прекратились в связи со смертью редактора журнала Семевского. В результате последние пять лет записей Никитенко остались в рукописи. Многие имена в «Дневнике» не указывались, фразы и выражения заменялись. Дочь Никитенко, Софья Александровна, которая в основном занималась подготовкой рукописи отца к публикации, по-своему понимала редактирование мемуаров, что отразилось на целостности, полноте и достоверности информации.

Отдельным изданием мемуары Никитенко вышли в 1893 году в трех томах под названием «Записки и дневник» с портретом автора и его факсимиле. «Моя повесть о самом себе...» заняла 177 страниц в первом томе. В предисловии редактора отмечается, что Никитенко предоставил «своим теперешним издательницам (дочерям) право» «распорядиться оставшимися после него рукописями «по внушению их совести, любви к нему и чувства долга перед обществом». Осознавая важность «возложенной на них нравственной обязанности», они начали печатание «Записок» и «Дневника» в журнале «Русская старина», а теперь с учетом «интереса, возбуждённого в публике», предпринимают отдельное издание с дополнениями[55].

Тот же подход Софьи Александровны к редактированию остался при подготовке трехтомника. Отпечатанный в типографии А.С. Суворина, этот вариант представляет собой повторение с некоторыми дополнениями текста из «Русской старины». Среди дополнений самое примечательное — это неизданные прежде дневники за 1872—1877 годы. Комментарии к тексту отсутствуют, многие имена также помечены символами.

Вскоре дочери Никитенко и издательницы его мемуаров скончались: Екатерина — в 1900 году, Софья — в 1901 году, а проблема наиболее полной публикации дневниковых записей осталась.

Эти недостатки в некоторой мере устранил историк русской журналистики и цензуры М.К. Лемке, выпустив мемуары под названием «Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник». Первый том издан в 1904 году, куда была включена «Моя повесть...», второй том — в 1905 году. Издание «Дневника» осуществлено на основе копий, снятых Софьей Александровной, поскольку оригиналы она уничтожила по совету отца, не желавшего, чтобы рукопись вышла за пределы семьи. Лемке восстановил некоторые пропущенные фрагменты, расшифровал инициалы, которыми были скрыты имена, устранил множественные мелкие ошибки, добавил свои комментарии и примечания[56]. Полностью восстановить первоначальное содержание дневниковых записей не удалось и ему. Поэтому вопрос о более полном переиздании мемуаров по-прежнему оставался назревшим.

В советское время читателям наиболее доступен был трехтомный «Днев-

ник», вышедший в свет в 1955—1956 годах. Литературовед И.Я. Айзеншток на высоком научном уровне подготовил «Дневник» к печати, а также примечания и вступительную статью. В письме автору этих строк в июле 1978 года он высказывал пожелание: «Не перестаю надеяться на новое издание книги с включением «Воспоминаний» Никитенко (более известны как «Записки». — *А.К.*) и (хотя бы) отрывков его ранних дневников, известных сейчас только по статье покойного П.Н. Беркова. Да и для комментария за двадцать с лишком лет накопилось много дополнений и поправок».

Во вступительной статье к «Дневнику» Айзеншток отметил, что восполнил многое из того, что не учел Лемке. Пересмотрев архивы А.В. Никитенко, ученый восстановил цензурные пропуски в двухтомнике 1904—1905 годов, обратил внимание и на сохранившиеся тетради дневников, которые прежние издатели решили не обнародовать. Это записи за 1859-й, 1863-й (май-декабрь) и 1864 (июль-август) годы.

Проблема некоторых частей ежедневных записей по-прежнему сохранилась. Суть в том, что дочь Никитенко, «широко понимая свои права», исключала все, что посчитала нужным из желания «охранить имя своего отца от каких бы то ни было нареканий». В результате и был создан печатный «Дневник» с пробелами, достигающими в отдельные годы нескольких месяцев[57].

«Моя повесть о самом себе» («Записки»), не издававшаяся с 1903 года, вновь увидела свет только в 2005 году. Воспоминания вошли в трехтомник под названием «Записки и дневник». Выпуск полного собрания мемуаров Никитенко, на который надеялся И.Я. Айзеншток, осуществило московское издательство Захарова. «Моя повесть...» занимает часть первого тома (менее 170 страниц). Примечаний к этим мемуарам нет, сам текст подвергся некоторой стилистической правке. Основной объем трехтомника занимает «Дневник», вместе с именным указателем повторивший издание, подготовленное Айзенштоком. Предпринимаемое издание «Моей повести...» восполняет пробел в научной публикации обработанных мемуаров Никитенко. Объемный «Дневник» отражает основную и наиболее содержательную часть жизни Никитенко. Без сомнения, потому в советское время этим мемуарам издатели отдали предпочтение. В них былое и думы автора запечатлены с 1824-го по июль 1877 года.

В упомянутом выше письме автору этих строк литературовед Айзеншток сообщил подробности: «К сожалению, готовилось и печаталось оно (издание «Дневника». — *А.К.*) далеко не в благоприятных условиях. То, что автор дневника был цензором, побуждало издательских редакторов к малооправданным самим материалом придиркам, к требованиям елико возможно очернить характеристику Никитенко, к сокращению аппарата примечаний». Вызывает уважение позиция Иеремии Яковлевича, который вопреки давлению редакторов сумел, «елико возможно», добиться во вступительной статье объективности в изображении героя «Дневника», поэтому он предстает перед нами достойным человеком.

Ежедневные записи ученый вел почти до последнего дня жизни. Измученный многолетней борьбой с болезнью, предчувствуя близкую кончину, он душой болеет за судьбу Отечества, нетвердой рукой делает записи о русско-турецкой войне на Балканах. Скончался Александр Васильевич 2 июля 1877 года от приступа грудной жабы (стенокардии). Похоронен в Павловске, надгробье не сохранилось.

Влияние Никитенко на общественную среду стало заметно после внимательного прочтения его мемуаров. На трехтомник 1893 года откликнулись петербургские публицисты В.Р. Зотов, Ч. Ветринский (В.Е. Чешихин), К.П. Медведский, М.А. Протопопов, С.В. фон Штейн и другие. В советское время научная, литературная и общественная деятельность А.В. Никитенко нашла отражение в исследованиях ученых П.А. Бугаенко (Саратов), И.Е. Толстого (Воронеж), И.В. Разуменко (Харьков), У.Д. Розенфельда (Гродно), З.Т. Прокопенко (Белгород). Современные литературоведы, историки и публицисты В.Г. Березина (Санкт-Петербург), С.А. Стерхова (Ижевск), И.И. Кулакова (Белгород), В.Л. Глазычев и В.К. Кантор (Москва), А.В. Цыганов (Тверь), Н.В. Гончарова (Томск) и другие в своих работах подчеркивают важное значение творческого и мемуарного наследия Никитенко для русского общественного сознания.

Он называл себя «умеренным прогрессистом», что основывалось на глубоком понимании особенностей русской жизни и общества. Его имя связано с именами достойных представителей Отечества, которые осуждали «прогресс сломя голову» и стояли за реформаторское обновление государственного устройства и общественной жизни. Александр Васильевич решительно отстаивал интересы здравой мысли в русской печати, относился к числу тех, кто «в благоразумной свободе слова видели залог будущего развития литературы и благосостояния России»[58]. Сегодня мы вправе говорить о нем как о просвещенном и благородном литераторе, ученом и общественном деятеле.

Анатолий Кряженков

1 Дата архивными документами не подтверждается, в мемуарах Никитенко она указана по-разному: «явился я на свет на второй или на третий год после водворения в Ударовке (Удеревке. — А.К.) моих родителей, а именно в 1804 или 1805 году» (Никитенко А.В. Записки и дневник: В 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 22. Далее — Записки), «родился я в марте месяце, кажется, двенадцатого» (Там же. С. 22); «сегодня (12 марта. — А.К.) мне исполнилось 23 года, если верить старому календарю, в котором рукой отца записан 1803 год как год моего рождения» (А.В. Никитенко. Дневник: В 3 т. Л., 1955. Т. 1. С. 14. Далее — Дневник). Современные энциклопедические издания называют 1804 год как наиболее достоверный. Тому подтверждением служит указание на этот год еще в первом издании мемуаров Никитенко на титульном листе в «Русской старине» за 1888 год, когда в редактировании участвовала дочь профессора Софья Никитенко.

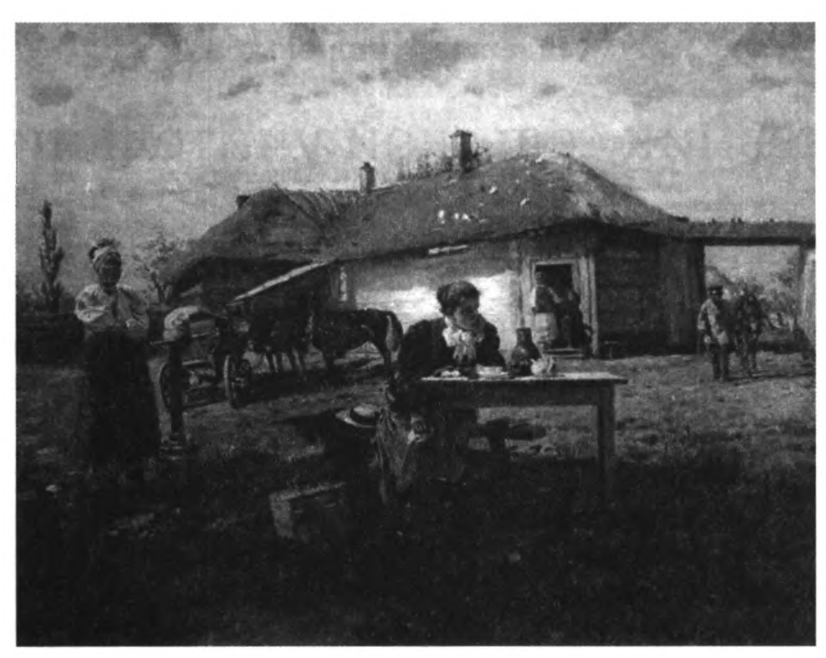
2 Записки. С. 46.

3 Там же. С. 51.
4 Там же. С. 62.
5 Там же. С. 65. О годах учебы в училище в «Записках» есть противоречивые даты. Никитенко сообщал: «Мне пошел уже одиннадцатый год, когда отец наконец решился серьезно подумать о моем образовании» (С. 63). После окончания училища он пишет: «Мне было всего тринадцать лет, когда я кончил курс в уездном училище» (С. 77). По нашим подсчетам, это был 1817 год. Но на предыдущей странице сказано: «Двадцать пятого июня 1815 года состоялся выпускной экзамен». Определенность вносит копия аттестата, выданная по просьбе Никитенко в 1824 году и хранящаяся ныне в Государственном архиве Воронежской области. В документе сказано: «Воронежского уездного училища второго класса ученик Александр Никитенков вступил в оное 1813 года августа 1 дня, обучался всем предметам, положенным по уставу учебных заведений, подведомственным университетам, с весьма хорошим прилежанием и превосходными успехами и при том вел себя честно; в засвидетельствование чего ему Никитенкову сей и дан. Воронеж. Июня 25 дня 1815 года». ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 14. Л. 50 об. – 51.
6 Записки. С. 69, 72.
7 Там же. С. 76.
8 Там же. С. 97.
9 Там же. С. 110.
10 Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1878. Т. 18. С. LVIII–LXVI.
11 Записки. С. 161–164, 167–170.
12 Дневник. Т. 1. С. 13.
13 Там же. С. 14.
14 Сын Отечества. 1826. № 12.
15 Дневник. Т. 1. С. 35.
16 Там же. С. 46–51; Керн А.П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1989. С. 298–302.
17 Дневник. Т. 1. С. 58, 60.
18 Там же. С. 61–62.
19 Там же. С. 82.
20 Там же. С. 111.
21 Отчет Академии наук по Отделению русского языка и словесности за 1866–1891 гг. СПб., 1892. С. 279.
22 Дневник. Т. 1. С. 235.
23 Телескоп. 1832. № 2. С. 299; Элементы «философического романа» отметил и обозреватель «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» за 1832 год. Обративший внимание на отрывки из романа литературовед П.Н. Берков вместе с тем дополнил, что «беллетристические опыты Никитенки представляют интерес еще и в том отношении, что они посвящены борьбе с вертеризмом как с жизненной программой» (Берков П.Н. Из истории русского вертеризма. Беллетристические опыты Никитенки. Л., 1933. С. 2.
24 Фризман Л.Г. Пушкин и «Северные цветы» // Северные цветы на 1832 год: Альманах. М., 1980. С. 334.

[25] Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом). Ф. 205. Шифр 18.781. CXXV64. Л. 3.
[26] Дневник. Т. 1. С. 282.
[27] Там же. С. 277.
[28] Там же. С. 293, 513.
[29] Там же. С. 193.
[30] Модзалевский Б.Л. Некрасов и Никитенко. 1845—1874 // Некрасов: Неизданные стихотворения, варианты и письма. Пг., 1922. С. 165—166.
[31] Острогорский В.П. Из истории моего учительства. СПб., 1895. С. 65.
[32] Новые материалы о диссертации Н.Г. Чернышевского // Красный архив. 1938. № 6. С. 277, 281.
[33] Скабичевский А.М. Воспоминание о пережитом // Русское богатство. 1907. № 7. С. 26.
[34] Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 140.
[35] Дневник. Т. 1. С. 236.
[36] Бычков А.Ф. Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1877 год // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 18. СПб., 1878. С. XXXIX.
[37] Дневник. Т. 1. С. 230.
[38] Никитенко А.В. Речь о критике. СПб., 1842. С. 18.
[39] Дневник. Т. 1. С. 133.
[40] Там же. С. 161—164.
[41] Там же. С. 253—254.
[42] Русская старина. 1889. Т. LXIII. С. 384—385.
[43] Дневник. Т. 1. С. 216.
[44] Сын Отечества. 1840. Т. 2. С. 245.
[45] Дневник. Т. 1. С. 299.
[46] Панаева А.Я. Воспоминания. М., 1986. С. 182.
[47] Дневник. Т. 2. С. 111.
[48] Там же. С. 238.
[49] Там же. Т. 1. С. 436.
[50] Там же. Т. 2. С. 386.
[51] Там же. С. 472—473.
[52] Никитенко А. Мысли о реализме в литературе. СПб., 1872. С. 55.
[53] Бычков А.Ф. Указ. соч. С. LV.
[54] Айзеншток И.Я. Дневник А.В. Никитенко // Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Л., 1955—1956. Т. 1. С. XXXIX.
[55] Никитенко А.В. Записки и Дневник: В 3 т. СПб., 1893. Т. 1. С. 8—9.
[56] Подробнее о работе М.К. Лемке над мемуарами А.В. Никитенко во вступительной статье И.Я. Айзенштока к «Дневнику». Л., 1955. С. XXXVII—XXXVIII.
[57] Айзеншток И.Я. Указ. соч. С. XXXIX—XL.
[58] Штейн фон С.В. А.В. Никитенко: Биографический очерк. СПб., 1902. С. 9.

Надежда Кившенко

Дневник сельской учительницы



В.Е. Маковский. Приезд учительницы в деревню. 1897 г.

Часть I. Сентябрь 1884 – июнь 1885 г.

30-го сентября 1884 г. Вот я и в Петровске[1], новом месте своего назначения. Что-то будет!

Чтобы узнать, где будет мое помещение, мне пришлось заехать в господскую усадьбу, которая стоит совсем отдельно от слободы и разделяется большим яром, покрытым лесом. Меня встретила экономка и сказала, что господ нет дома, еще в Крыму, но что они приказали принять меня. Я очень рада была этому, потому что не могла тотчас перейти в свое помещение, — вещи мои должны приехать только завтра. Но я все же стала расспрашивать ее о хате, которая мне предназначается. Она вздохнула и сказала:

— Ох, помещение-то очень плохое, не станете вы в нем жить, да и не идет оно вам.

— Отчего? — говорю.

— Да оно и хатенка-то плоха, и стоит как-то на отшибе совсем. Да вот вы чайку напьетесь, так вас проводят посмотреть.

За чаем мы разговаривали, и она все восхваляла своих господ. Она ужасно благоговеет перед всеми господами, а перед своими в особенности, весь же простой народ состоит из хамов, и человеческих отношений к «этим хамам» она не допускает и не понимает. Я спросила о семье Николаева[2] (помещика), из кого она состоит и как всех зовут. Семья состоит из жены, Марьи Алексеевны, и 3-х детей[3] с гувернанткою.

После чаю я отправилась к своей хате с девушкой, которую мне дали в провожатые. Мы прошли через большой яр и вошли в слободу. На конце слободы, на самом возвышенном месте, стоит церковь[4], откуда видно всю слободу, состоящую всего из 40 дворов[5]. Мы пошли к ней. Подойдя ближе, я увидела в стороне, около леса, одиноко стоящую маленькую хатку, без всяких пристроек, загородок. Вот это и есть мое будущее обиталище. Мне как-то неприятно стало, что я так далеко буду от всякого жилья, и соседями моими будут только поле да лес. Внутренность хаты мы не могли посмотреть — замок был испорчен и не поддавался нашим усилиям. Становилось

уже темно. Мы возвратились обратно, отложив дальнейший осмотр на завтра.

Жду, когда можно будет лечь спать; чувствуется утомление, и, кажется, что сладко засну. Экономка не умолкает. Тяжело слушать подобострастную ее болтовню. Это тип, выработанный крепостным правом, который теперь совсем почти вырождается, и уже не может всецело воскреснуть. И дай Бог, чтобы не воскресал.

1-го октября. Проснулась я очень рано, и, как только окружающие зашевелились и начали вставать, я встала. Напившись чаю, я попросила позвать кузнеца, чтобы отпереть замок у моей хаты. Наконец, хату отперли. Я вошла, меня так и обдало сыростью. Хата вся беленькая, чистенькая, видно только, что страшно сырая. Кузнец, сделав свое дело, ушел. Я осталась одна в пустой хате. В ней было так холодно, что пришлось остаться в шубе. Мрачно, холодно. Села на лежанку, и мысли стали бродить от одного предмета к другому, бессвязно, бесцельно. Долго я оставалась в таком положении. Вдруг слышу, что кто-то подъехал к моей хате, смотрю, это мои друзья из Ольгиной[6], фельдшерица и учительница[7] с своею сестрой. Войдя в хату, они возмущались, как можно предлагать такое помещение, и стали говорить, что в нем нельзя оставаться, что если в нем жить, то нужно гроб заранее приготовить. Я отвечала им, что живут же люди и в таких помещениях, и жили же до меня в этой самой хате; может быть, не так страшно будет, как кажется. Мне и самой сразу страшно показалось, и я расспрашивала, нельзя ли у кого-нибудь нанять хату, но ни одной не оказалось.

— А что, может быть, мы будем счастливее и найдем, — сказали мои гости.

С этой целью мы отправились по слободе, но результат получился тот же самый — никто не пускает. Мы возвратились опять в пустую, холодную хату. Тут сбежались хлопцы, девчата. Мы спросили их, нельзя ли где-нибудь достать хворосту или кизяку[8], немножко протопить хату. Они притащили хворосту, и мы затопили печку. Вскоре и мои вещи прибыли, а с ними и мой рояль. Мы принялись общими силами стаскивать, устанавливать их. Докопались до самовара и горячими углями поставили его. Потом стали пить чай, разговаривать. А после чаю друзья мои уехали, и я осталась одна одинешенька. Пусто как-то стало: то был шум, говор, а то вдруг тихо.

Сейчас кончила только разбираться и успокоилась. Комната очень уютный вид приняла, и совсем была бы хороша, если бы какая-нибудь живая душа была со мною. Но все же приятнее быть одной в маленькой, чем в большой хате, тут и муху слышно. Какая сильная, однако, потребность видеть и чувствовать около себя жизнь — жужжащая муха, и та обращает на себя внимание и приятна, между тем как при других обстоятельствах она или неприятна, или незаметна. Часы тикают. Тишина. Каждое мое движение так слышно самой себе. А настроение самое хорошее, какое только может быть: весь мир обнял

бы, но в хате никого нет, кроме меня, а вне хаты все незнакомые люди. Сейчас еще раз истопила печку. Светло, тепло. К окну кто-то подошел и хочет испугать меня, издавая какие-то неестественные звуки. Но авось в хату не будут ломиться, а так — пускай пугает.

2-го октября. Весь день ужасно тоскливо прошел. С самого утра до 12 часов пришлось возиться около печки, с самоваром, с глетчиками* и т.д. И все это только для себя. Прошло два часа, снова надо возиться, потому что надо есть. Самовар поленилась поставить, и чай заменила молоком. И все одна, одна, одна. Тоскливо. Ничего не хочется делать, приходится принуждать себя.

Сегодня я была у нашего батюшки. Он меня встретил чуть не с распростертыми объятиями и все время сокрушался, как это я буду жить одна, да еще в такой хате. У него были в это время два мужика, с которыми до моего прихода он вел разговор по этому же поводу. Они сговорились предложить мне поселиться в церковной сторожке, а в моей хате устроить школу. Эта комбинация мне не совсем понравилась, и я сказала, что мне и в хате хорошо будет. Семья батюшки небольшая — он да жена, только всего. Сам он худой, болезненный человек. Беспрерывно кашляет, говорит, что едва ли здоровье позволит ему заниматься в школе. После чаю я пошла домой. Вслед за мной пришла какая-то баба, уже старуха. Ее прислала экономка Николаевых. Она спросила меня, не нужна ли мне какая-нибудь услуга и, если нужна, просила нанять ее. Я сказала, что мне нужно будет носить воду и дрова, и если она желает это делать, то пусть сама оценит свой труд.

— Та що ж бы с вас взяты? — сказала она. — Рублевку (в месяц) дадите, так и довольно буде.

Я согласилась и спросила, как ее звать.

— Меня кличут баба Фекла сліпа. Прощайте, николи. Пиду за водой, а тоді аж завтра приду до вас.

И ушла. Слепою ее называют потому, что она крива на один глаз. По уходе ее мне невольно подумалось: «А все-таки я буду одна».

3-го октября. Сегодня приобрела новое знакомство — была в гостях у столяра. Семья состоит из старика и старухи, их сына с женой, — и дочери, девушки лет 16-ти. Сын-то и есть столяр. Его зовут Митрофаном Антоновичем, а его жену — Натальей Михайловною. Когда они узнали, что я была в Петербурге, начали вспоминать старого государя[9]. Старик начал потом рассказывать мне про подвиги Петра I, про Екатерину II, словом, стал гулять по всей русской истории. А я, к стыду своему, должна признаться, что мелких подробностей русской истории совсем не знаю, а старик на все требует от меня подтверждения, так что мне сегодня был некоторого рода экзамен. Завтра намерена пополнить хоть немножко свои знания, а то старик меня загоняет. При мне они получили письмо от сына, которого только что постригли в каком-то

* Глиняные горшки для молока.

монастыре в иеромонахи[10]. Я прочла им письмо. Они так довольны были, и столько я похвал получила за чтение. Иеромонах чем-то недоволен семьей, кроме матери.

Дочь грамотная. Я спросила, что она читает. Оказывается, что у них ни одной книги, даже Евангелия нет. А зажиточная семья: перины, подушки, занавески и пр[очее] есть; к чаю подали белые сухари, варенье, сливки. Я невольно выразила удивление, и они вспомнили про какую-то книжку, которая где-то когда-то была. Жена сына, между прочим, курит; есть желание придать манерам и внешнему виду то, что называется на их языке «благородством». Я обещала старику прочитать «Чем люди живы»[11], он, наверное, в умиление придет; ему до сих пор читали всякую ерунду, а он с удовольствием вспоминает даже и эту ерунду и при этом вздыхает и повторяет умильно: «Боже, Боже мой, як гарно[12] там написано!».

4-го октября. Как нехорошо жить одной. Как надоедает делать только для себя. Заботиться только о себе. Нужно будет устроиться иначе, взять к себе хоть хлопца какого с хутора: и мне будет лучше — не буду одна, и ему — потому что не нужно будет ходить каждый день за три версты в школу.

Сегодня с самого утра возилась по хозяйству. Фекла про меня забыла — пришлось идти по дрова для печки. В хате стало холодно, что очень содействует мрачному настроению. Приходила Наталья Михайловна, жена столяра, принесла мне молока. Очень сокрушается, что я одна. Семья их согласилась принять меня обедать. Завтра пойду. Потом пришла и Фекла; она удивила меня неожиданным поцелуем ни за что, ни про что. Вообще меня окружили здесь любовным отношением, без всяких еще заслуг с моей стороны. Истинные христиане так и должны бы всегда поступать, бескорыстно, тогда и не было бы понятия «чужие люди», и вновь прибывший чувствовал бы себя как дома, у своих.

6-го октября. Утром была Наталья Михайловна (жена столяра) с работой. Говорили о школе. Она очень хочет учиться. Я предложила ей заниматься по вечерам. Согласилась. Потом мы вместе пошли обедать. Обедать подали мне отдельно: курицу, борщ и кисель с молоком. Все очень вкусно и очень чисто.

Пришла домой — у меня в хате холодно, ветер везде так и ходит. Принялась за печь — не растоплю, да и только — ветер задувает. Наконец, умудрилась — закрыла трубу и разожгла. Скоро стало тепло, хорошо. Самовар поспел. Пришла Фроловна (старуха, приживалка деревенская), стали чай пить. Она мне много чего-то рассказывала, но у меня только и осталось в памяти, как она начала пересчитывать по пальцам, сколько у нее торбинок: торбинка* с яблоками, торбинка с дулями[13], торбинка с грушами, торбинка с насінічком**

---

* Торбинка — мешочек.

** С семечком.

крупным, торбинка с насінічком дрібным... и так она штук 10-15 насчитала. Я на нее смотрела и подумала — как бы хорошо ее нарисовать. Нашу беседу прервали столяр, Митрофан Антонович, с женой. Тут у нас очень оживленная беседа пошла о различных предметах. У него симпатичное лицо, что-то теплое, сердечное проглядывает в выражении лица и в обращении. Фроловна почувствовала себя как дома до такой степени, что легла на мою кровать и нашла, что очень неудобно спать — и низко, и жестко.

Как хорошо, когда с людьми побудешь, как весело на душе и совсем другие мысли в голове зароятся, хорошие, здоровые. Нет, книги не заменят людей!

7 октября. Первый раз пошла к обедне. Появление мое обратило всеобщее внимание, хотя я старалась, насколько возможно, стушеваться[14]. Церковь очень приятное впечатление производит чистотой и миниатюрностью. Пение же такое залихватское[15], особенно в главных духовных песнях, что нарушает всякое молитвенное настроение, и хочется уйти из церкви. Я не могу молиться при таком пении и когда, притом, на меня упорно смотрят и оглядывают. Я могу молиться искренно, совсем отдаться молитве только дома, наедине с Богом, или же в такой церкви, где на меня не обращают внимания и где пение благоговейное, тихое, стройное, возвышающее душу. Чаще всего у меня молитва вырывается не в урочное время и не в каменных стенах, а тогда, когда я бываю окружена природой и когда природа не бушует, а спокойна.

Вечером прислали от батюшки звать меня чай пить. Там были: Наталья Михайловна и письмоводитель помещика Николаева. Письмоводитель — молодой человек, чрезвычайно предупредительный и любезный; очень интересовался мной и старался быть как можно развязнее и умнее, но у него плохо выходило. Потом пришел столяр, Митрофан Антонович, и дьячок. Тут произошла маленькая сценка, которой мое присутствие помешало разыграться во всей силе и в которой батюшка мне очень понравился. Вот в чем дело: земля батюшки по соседству с землей Митрофана Антоновича и дьячка. Дьячок считает, что Митрофан Антонович захватил часть земли его и батюшки (5 саженей[16], он считает). Он вошел сильно раздраженный, весь трясется, выражение лица нахальное, грубое и злое, так и кажется, что он готов сейчас всех съесть. Матушка спокойным голосом осадила его. На лице батюшки выразилось страдание, и он закашлялся. Но он хотел договориться и решить это дело, а потому не замял его, а стал выяснять. Дьячок продолжал кричать, говорил, что если при проверке окажется, что Митрофан Антонович запахал его землю, он не будет ему отпахивать, так как он его не просил пахать. А когда он коснулся интересов батюшки и сказал, что Митрофан Антонович и батюшкину землю захватил, батюшка ему ответил:

— Ну, так что ж! Это не ваше дело, я ему уступаю ее.

Дьячок, очевидно, не ожидал такого ответа и замолчал. После этого

крупного разговора батюшка сильно устал, грудь его заколыхалась, и он едва мог говорить, отдыхая после каждого слова. Не знаю, чем решится у них это дело, думаю, что дьячок окажется не прав. Как тяжело смотреть на человека, которого дни уже сочтены. У священника не зачатки, а в сильной степени развившаяся чахотка. Теперь не помогут доктора. Он и попадья мне нравятся оба. Откровенные, не желающие показать себя лучше, чем они есть, простые и сердечные. Еще нравится мне в них, что на внешность они не обращают никакого внимания.

8-го октября. Была у Феклы в хате. Бедность ужасная. Хата совсем покривилась, крыша сквозная. Взойдя в хату, можно видеть, что такое творится в ней во время дождя. Скамейки кривые, едва стоят, все кривое. Стоит мешок сухарей. Хлеба не видать. У нее два сына (один в солдатах) и дочь 13 лет. Я спросила, сколько собрали хлеба, — 44 меры[17] пшеницы и 24 меры ячменя. Довольны.

10-го октября. Утром пришел ко мне старик Нестерович (отец столяра Митрофана Антоновича), застал меня за пересматриванием книг. Он вспомнил, что я ему обещала прочитать «Чем люди живы». Я начала. Он со вниманием слушал, но до конца еще не дочитали, а уж он мне задал вопрос, правда ли это, или нет? Мне пришлось только второй раз читать этот рассказ для других, и второй раз приходится встречаться с этим вопросом. Я просмотрела внимательно все вопросы и ответы, относящиеся до этого рассказа в книге: «Что читать народу»[18], и ничего подобного, даже намека не этот вопрос, не встретила.

После обеда застала трех девочек, заглядывающих в мои окошки. Они испугались, но я их ободрила и зазвала к себе в хату. Одна из них, лет 6, держала ребенка на руках. Сестра ее, с бойкими голубыми глазками, жалась к ней. Все они были в лохмотьях, которые едва держались на них. Девочка с бойкими глазами была в одной рубашонке, которая спереди распахивалась, а сзади сверху донизу была разорвана, и, таким образом, открывалась вся задняя часть ее посиневшего тела. Ребенок на руках ее сестры (одетой не лучше) также в одной рубашонке и весь посинел. Я с ними поговорила, узнала немножко их семейное положение; они перестали бояться, стали уже без расспросов рассказывать про своих. Старшая из них, без всякого с моей стороны намека, стала помогать мне выгребать золу из печки и топить ее. Завтра обещалась придти. Мне хочется посмотреть хаты их родителей; судя по детям, они должны быть очень, очень бедны. Увидя их, я мысленно вскрикнула: «Боже, Боже мой, как бедны!». Сопоставила себя. Вспомнила Л.Н. Толстого[19]. Его статью о переписи[20] и т.д.

11-го октября. Была у батюшки. Впечатление получилось хуже. Я его идеализировала. Дело с землей получило другую окраску. Он ничего не уступал.

13-го октября. Я все еще живу келейным образом, как отшельница. Скучаю без людей. Хочется жить с ними. Одиночество скверно действует на меня — много думаю о себе. А мне живется хорошо только тогда, когда совсем не думаю о себе. И всякому, верно, так. Школа же еще не скоро откроется.

17-го октября. Как давно я не принималась за эту тетрадку и не знаю почему? Ведь я собиралась сюда заносить не только факты, но и свои думы, которые действительно занимают мою голову, я откладываю, пока эта тетрадь у меня под руками. И сегодня также намерена поступить. Сегодня я хочу занести сюда очень радостный для меня факт: победу разума над предрассудками и суевериями. Вчера я была в семействе столяра. Все были дома. Разговаривали о разных житейских делах, потом перешли на почву суеверий, предрассудков и т.д. Стали меня спрашивать, верю ли я в то и другое (ведьм, леших, домовых). Я категорически отвечала, что не верю. Все же приводимые примеры объясняла просто. Вся семья всеми силами старалась убедить меня в существовании ведьм, оборотней и т.д., но напрасно. В конце наших прений старик стал склоняться на мою сторону, но еще не совсем отрешился от своей веры. Сегодня я прихожу к ним обедать, он меня первыми словами встречает: «А ведь я, Даниловна, теперь понял, что ведьм, оборотней и другого такого нет». Мне было чрезвычайно приятно это слышать и тем более приятно, что он сам обдумал, а не сразу поверил. Вечером я им прочла «Сорочинскую ярмарку»[21]. Все от души смеялись.

18-го октября. Старик с 8-ми часов утра пришел ко мне. Беседовали, читали Евангелие. Потом он попросил подарить ему «Чем люди живы». Был очень доволен, когда я исполнила его желание. Как много хороших мыслей и чувств возбуждает эта книжечка! Уходя домой, он просил не говорить домашним о своем посещении. Я спросила, почему? Оказывается, что они ему не позволяют. «А я, — говорит, — только у вас хорошее и слышу». Но он столько мне вопросов задает и требует моего разрешения, что я не успеваю сообразить, что на один ответить, а он уже задает другой. Вечером была у батюшки, он совсем болен, вслух читает в постели «Ивана Царевича», издание Манухина[22], смеется от души, а мне неприятно было слышать — плоско, скучно и не смешно. Здоровье его все хуже и хуже. Сегодня все время лежал и кашлял. Блеск глаз, румянец и худоба — признаки зловещие. Мне тяжело у них бывать; я смотрю на него, как на живого мертвеца. А он не сознает.

26-го октября. Приехали Николаевы; обедала у них. Первое впечатление семьи хорошее, только барства много и в детях даже. После обеда всем детям дали конфект[23]; девочка все почти свои конфекты раздала братьям, за что получила от матери поцелуй и похвалу. Старший из мальчиков раньше отдал отцу две конфекты и после поступка сестры сказал: «А я так не из доброты отдал папе, а просто потому, что они мне не понравились». Хотя его поступок и нельзя похвалить, но мне понравилась его откровенность, отсутствие забо-

ты, как о нем подумают и нежелание казаться (хотя, может быть, и бессознательное) лучше, чем он есть. Дети совершенно свободно себя держат, что мне очень понравилось. Но не понравилось отношение к ним гувернантки, которое пока выразилось только в том, что она им не дает сидеть так, как им хочется, не позволяет руки положить на стол и т.д. И как досадно на нее! Дети же совсем мало обращают внимания на ее замечания и сейчас же позабывают их, так что ей приходится употреблять некого рода насилие, т.е. взять их руки и снять со стола или подойти и посадить его или ее так, как ей хочется, что тоже не действует. Все это говорит не в пользу педагогических ее приемов, которые Евгений Анатольевич (помещик) мне хвалил. Это первое впечатление. Может быть, второе будет лучше, а третье и совсем хорошо. Посмотрим!

У меня нет хлеба. Фекла принесла мне краюшечку. Я спросила, сколько ей за нее. Она говорит:

— И не надо ничóго. Оце, я вам кажу, житымо так: коли у меня нехватка буде — я у вас позычу[24], а то так и вы у мене.

— Хорошо, — говорю, — будем так жить.

Когда она приходит, и если ничего нет у меня, то возьмет меня предварительно обеими руками за щеки и поцелует три раза. И всегда так.

С какою радостью и волнением я прочла статью в «Новостях» против войны, против этой варварской резни, на которую столько молодых сил уходит и столько материальных затрат, во время мира и войны одинаково; а употребив все это на мирное, полезное дело, сколько добра прибудет! Столько сердец смягчится! Автор статьи говорит, что войны не должно быть и не будет тогда, когда будет признана территориальная нейтрализация всех стран и областей. Он говорит: воевали же прежде между собою города Киев, Москва, Новгород и др. — теперь все они едино. То же самое, говорит, должно произойти и с Россией, Францией, Германией и др[угими] государствами. Хотя это время еще и далеко, но и то хорошо, что громко заговорили об этом. Заговорят еще громче и все — тогда должен наступить кризис. Дай Бог!

Давно я не испытывала бессонных ночей, сегодня не спится. 2 часа ночи, а мне спать не хочется, и скверно, и не лежится, читать уже не хочется. Что же делать? Думать, строить волшебные замки! Не спится, вот беда, а спать хорошо бы!

28-го октября. Сегодня вечером были у меня Митрофан Антонович и Наталья Михайловна. Оказывается, что она любит фельдшера и выискивает случаи видеться с ним. Муж же прежде вполне доверял ей и спокойно работал целые дни, с утра до вечера. Но вот до него стали доходить различные слухи о поведении жены и, конечно, с прибавлением от себя. Он стал следить за ней, и ревность все более и более завладевает им. И теперь во всякой мелочи он видит признаки, подтверждающие подозрение. Кольцо, например, она давно носит, а он только сегодня увидал и видит в этом залог преступной любви. Ее чувство

оскорбляется при каждом намеке, и нужно видеть, с кокою злобой и пренебрежением она отвечает ему. Она ужасно самолюбива и своенравна и никогда никому не спустит. Я, насколько могла, старалась и стараюсь их умиротворить. Она хочет у меня учиться, но он не позволяет ей учиться писать, так как боится, что она будет переписываться с любимым человеком. На это я ему сказала, что, чем больше он будет противодействовать ей, тем больше будет подливать масла в огонь. Но я сегодня точно в театре была и видела часть какой-нибудь драмы и именно сцену ревности. Развязка впереди. Фельдшер уезжает, и надо надеяться, что ее любовь к нему потухнет и все уладится. Во всей их семье полнейший разлад, и не знаешь, кто прав, кто виноват. Я счастлива, что никого не стесняю своим присутствием. Все являются передо мной тем, что они есть. Это преимущество «мелкой сошки», которое для меня очень ценно.

30-го октября. Писала ответ монаху, сыну старухи, воспользовалась тем, что писала от имени матери, и написала ему длинное наставление об отношениях к людям и в особенности духовных лиц, как он. Мать осталась довольна, что я могла войти в ее роль и написать сыну вразумление.

10 час[сов] вечера. Сижу одна с страшным хаосом в голове и на душе; тут все — тоска, что бездействуешь, горечь и вместе с тем проблески света, надежды; стремление, мечты, фантазии о новой жизни, которая рисуется в воображении в самых радужных цветах.

14-го ноября. Во время вечернего чая Фекла заговорила, между прочим, о том, как мне не скучно и не страшно одной жить. Я ей сказала, что мне очень скучно так жить, но что я жду, когда откроется школа, и тогда предложу кому-нибудь из хлопцев или девчат поселиться у меня. Многие, говорю, будут ходить с хуторов, так им удобнее будет жить у меня, чем каждый день ходить за 3 версты. И мне веселее будет.

— Хиба[25] так... И в мене е дочка, да кто е знае чи возьмете ви її, чи ни.

— Отчего же, — говорю, — не взять. А большая она? Лет ей сколько?

— Да мабуть[26] четырнадцатый пишол.

— Вот, — говорю, — это самая подходящая мне сожительница — и не маленькая и не большая. А как ее зовут?

— Дунькой. Вона и нічого бы дівчонка, тілько трохи балована.

— Это, — говорю, — ничего, лишь бы мы полюбили друг друга. Пускай приходит ко мне, мы познакомимся пока.

— Вона и сама охотится до вас пидти, да не сміет. Сегодня каже: піду, мамо, я до их жить, а потім зараз не смію.

— Ну, вот еще «не смію», пускай смело приходит ко мне. Завтра я собираюсь на два дня в Ольгино, а как приеду, мы и заживем вместе, как две сестры.

Поговорив еще кой о чем, она ушла. Я очень рада, что ее дочь будет со мной жить, хотя и с другой я точно так же могла бы жить, но мне приятнее, что

я постоянно могу видеть мать и дочь и всю их семью, и таким образом, жить как бы в их семье.

16-го ноября. Уезжала на несколько дней к своим друзьям в Ольгино и смотрела, как они занимаются в своих школах.

Возвращению моему домой все обрадовались и высказывают, что я вношу в их жизнь некоторое оживление. Барыня для них недоступна, и поэтому ее присутствие или отсутствие для них не имеет никакого значения. Сегодня первый день, что я не одна в хате. Феклина дочь, Дуня, пришла жить со мной.

18-го ноября. Дуня выросла среди страшной нужды (она мне рассказывала о своей жизни) и потому чрезвычайно невзыскательна. Так, например, к обеду довольствуется сухим хлебом, спит, на чем и где придется. Она рано начала работать по-настоящему, питание никогда не было достаточно, и, конечно, силы истощились и истощаются. Она бледна, как смерть, худа, и у нее постоянно синие круги под глазами. Но как мало нужно этим людям, чтобы делать их довольными. Днем она прядет пряжу, а по вечерам будет учиться грамоте. Сегодня я занялась с ней немножко. Во время занятий я заметила, что она чего-то трясется, и говорю:

— Дуня, ты чего трясешься?

Она поглядела на меня исподлобья и чуть слышно сказала:

— Вас боюсь.

— Чего же ты боишься меня?

— Боюсь, як ляснiте[27] вы меня.

Я успокоила ее на этот счет, но волнение ее не сразу улеглось.

Школа моя открывается завтра. Хочется скорее, скорее начать жить с детьми, учить и учиться самой.

19-го ноября. Сегодня был прием в школе. Она не далеко от моей хаты. Приводили детей отцы и матери. Набралось 26 человек. Один мальчик при появлении своем произвел дружный смех, и я не могла удержать невольной улыбки. Он влетел в школу с разлету, красный, бойкий, веселый, — прямо с панской работы. Хлопцы закричали: Бобрик, Бобрик! и разразились смехом. Эта необыкновенная бойкость и веселье, игравшее во всем его существе, передалось и всем нам. Всегда, когда приводят учеников, приносят хлеб, но мне сегодня никто не принес, а принес один из родителей денег 1 руб., который я наотрез отказалась принять.

20-го ноября. Я сегодня до того растерялась перед учениками, что не знала, что и делать — с чего и как начать. Чувствую себя несостоятельною перед ними, они так доверчиво отдаются мне. Вчера я сказала, чтобы раньше собрались утром. Прихожу сегодня в 8 часов утра, они все до одного сидят на местах и ждут меня. Видно, что все они жаждут учиться. Один из них убежал тайком от отца в школу, чем и заставил его не противодействовать своему желанию. Но какие отчаянные у нас столы — стол и сиденье почти наравне.

Извольте писать! Ноги же болтаются. А кроме того, стол до того покат, что ни доска, ни книга не держатся, и никаких приспособлений нет, чтобы можно было положить грифель[28] или карандаш — все на полу очутится, если руками не держать. Со временем надеюсь, что можно будет помочь этому горю.

В Городищах* совсем иное отношение ребят к школе, там они не дорожат ею совсем, здесь же, напротив, они боятся потерять ее опять[30].

21-го ноября. Сегодня у нас в школе был молебен. Служил старичок-священник соседней слободы, тихо, просто. Я теперь все сопоставляю с тем, что видела в Городищах. Там, во время молебна никто не купил свечку к образу, здесь же каждый ученик принес по свечке, так что дьячок не знал, что с ними делать. Мне нравится не то, что они свеч накупили, а их сочувствие, которое выразилось в этом.

Вечером я пошла к Николаевым, чтобы сообщить им радостную свою радость. Они оба, он и жена его, Марья Алексеевна, чрезвычайно радушно меня встречают. У них был в этот вечер земский врач[31], человек в высшей степени простой, добродушный и умный. С первого раза чувствуешь себя с ним просто и хорошо. К таким людям у меня всегда душа и сердце лежат, и я очень обрадовалась, когда он пригласил меня к себе — значит, обоюдная симпатия.

22-го ноября. Сегодня у меня 32 ученика. Я предложила тем, кто желает, после обеда приходить ко мне петь. Желающих нашлось много, так что моя хата полнехонька была. Сначала им смешно было, когда я в одиночку пробовала у них слух и голоса, но я сохраняла серьезность и, таким образом, привела их к тому же. За все это я неумело берусь, совсем неопытными руками и не знаю, как и что, совершенно ощупью иду — авось что-нибудь выйдет! А может быть, и выйдет, почем знать. После пения прочла им стихотворение Некрасова «Дядюшку Якова»[32]. Они пришли в такой восторг и так много смеху было неудержимого, что мешали немножко чтению, и, в конце концов, все стали просить эту книжку, так что я принуждена была кинуть жребий, кому дать. Одному из старших учеников я дала читать «Чем люди живы». Сегодня, отдавая книгу, я попросила его рассказать мне. И он рассказал с такими подробностями, которые ускользнули даже от меня, и, когда я ему хотела подсказать и напомнить, он сказал: «ні, постойте ще»... и продолжал по-своему, не упуская мелочей.

Вечером пошла навестить священника. У них был в гостях священник же соседней слободы[33]. Наш священник возбуждает во мне и жалость и вместе с тем какое-то неприятное чувство, особенно когда бранится. Он очень прозаичен и идейного ничего не допускает ни в себе, ни в других. Священник-гость произвел на меня хорошее впечатление. Он живо интересуется своею школой, которая только что открывается и, судя по виду, кроток и миролюбив. Пригласил меня к себе. Сестра его — учительница[34]. Разговор коснулся

* Слобода, где я перед переселением сюда была учительницей[29].

Марии Алексеевны (жены помещика), что она скучает, живя в деревне. Он сказал, что советовал ей, чтобы не скучать, сблизиться с крестьянами, заняться каким-нибудь делом, касающимся их. Мне очень понравился его совет, и я поддержала его.

23-го ноября. После обедни у меня собрались мальчики на пение. Старшие все еще не могут удержаться от смеха, им «чудно». Один из отцов пришел «подивиться» и, когда я отпустила их, остался «побалакать».

— Вот вы учены, — говорит, — и бач[35] усе знаете, як ви міні скажите, можно віріть планиде, чи ни.

Я сначала не поняла, что такое «планида», оказывается, что эта книга, употребляемая гадальщиками. Я ему ответила на это так, как думаю, т.е. что ни одна гадальщица не может знать, что с нами будет не только через несколько лет, но даже через несколько минут и что жизнь наша в руках Божьих, и Бог один знает, что с нами будет. Он согласился со мною, но сначала возражал. Рассказал мне все свои дела. В семье ни одного грамотного нет. Боится, что сын его не выучится. Семья богатая; арендует землю около Новочеркасска; 300 руб. в лето уходит на наем рабочих. Молотилка своя.

Все они, т.е. отцы, говорят, что меня «не оставят». Один собирается принести «олію» (постное масло), другой — мучицы пшеничной, кто паляничку[36], кто картофельку и т.д. Все это меня радует.

24-го ноября. Сегодня в классе, по окончании занятий с маленькими, я прочла им «Медведь и Мужик» и «Лиса и Козел» (Родн[ое] Сл[ово] ч[асть] 2-я)[37]. Когда я читала первую, то в классе сохранялась тишина и дисциплина (если только она есть в моей школе), только несколько человек сдержанно засмеялись. Но когда я стала читать «Лиса и Козел», то поднялся всеобщий смех, и мне самой так смешно показалось, что я до слез вместе с ними смеялись, и едва могла докончить эту сказку. Пересказ тоже прерывался смехом.

26-го ноября. Вчера я с Марьей Алексеевной была в Ольгине (35 верст от нас). Сегодня же к занятиям в своей школе не поспела по случаю метели, которая нас заставила ночевать на пути. Мне очень совестно перед учениками, но ничего не поделаешь, я надеюсь, что они мне простят на этот раз. В отсутствие мое один из них сделал мне приношение, принес фунта[38] три фасоли. Ждали меня до 12-ти часов. Обидно!

28-го ноября. Как страшно въелась привычка видеть наказания вообще, а в школе в особенности! Без наказаний, по мнению крестьян, немыслимо учение, немыслимо научиться чему-нибудь хорошему — вот резюме! «Хиба ж оце учительша, ни поскубе, ни налае, мабуть ни чому и не науче»!*. Так заочно говорят обо мне родители, как я слышала. Сами ученики жаждут видеть наказанного, они удивлены. Прежде (в их памяти) ставили на колюшки (на ко-

---

* Что это за учительница: ни потаскает за волосы, ни поругает, должно быть ничему и не научит.

лени), за уши драли, а теперь, кроме того, что ничего этого нет, но и раздорам их так мало придается значения, так мало уделяется, по-видимому, внимания. Ученики мои сами собою разделились на две группы — слобожан и хуторян (т.е. из нашей слободы и из хуторов). Между слобожанами есть несколько забияк, которые беспокоят других; хуторяне же удивительно серьезно относятся к учению, и я еще не заметила между ними никакой вражды, а, напротив, приязнь, товарищество. Например, хлебом они всегда делятся друг с другом и помогают, показывают лучшие худшим как писать. Сегодня мать одной девочки принесла ей лепешек и картошек. Она не захотела есть. Мать же взяла все припасы и разделила мальчикам.

Собой я очень недовольна, и является сомнение, могу ли, сумею ли вести школу. Труда я не боюсь и не жалею, но у меня нет ясного представления, — как и что нужно делать. Я этого не знаю и не заглядываю уже, что будет впереди. И мне кажется, что и ученики чувствуют, что я не знаю, что с ними делаю.

29-го ноября. Не хватило сдержанности — крикнула на учеников! Потом мне было стыдно, когда мне показалось, что они удивлены, и это-то и заставило сейчас же обратить внимание на себя. Они очень шумели, а я занималась с другим отделением в это время. Старшие из учеников желают выставить, где только можно, причиной беспорядка — безнаказанность.

30-го ноября. По окончании занятий в классе старшие ученики опять начали говорить мне, что если я не буду наказывать, то меня не будут слушаться и «никак не будут бояться». Я им сказала, что последнего я и не желаю, а первое, т.е. послушание, исполнимо и без наказаний, если мы поймем друг друга и главное полюбим, но только не на словах, а на деле, и сказала им, как выражается любовь наша к другим. До этого еще заключения с их стороны было выражено много мнений по этому поводу: одни стояли твердо на целесообразности наказаний, другие соглашались со мной и вместе с тем не отставали от товарищей. Один только выделился из всех и порадовал меня своею мыслью; он сказал, что «наказанием ничего не сделаешь, все одно — слушаться не будут, а еще хуже; вот, говорит, как было при о[тце] Никаноре[39], тот страсть строг был, а они, все одно, не слушали его. А каждый должен честь знать, совесть». Меня очень удивил длинный монолог его, который не могу воспроизвести дословно, но после него я, можно сказать, просияла. Мне со всех сторон жужжат, что непременно нужно наказывать, и, конечно, я несказанно обрадовалась, услышав голос, сочувственный мне. Этот мальчик еще раньше обратил мое внимание тем, что, мне казалось, он слишком критически относился ко мне, так что приводил меня даже в смущение, и я свободнее себя чувствовала, когда его нет. Не знаю, самолюбие ли тут замешалось, но я себе объясняю иначе. Какое же тут самолюбие, когда я чувствую, что не могу его учить, и он это знает, тоже чувствует, и я готова во всеуслышание сказать об этом при случае. В грамоте он не силен, между прочим. Этот мальчик (Петр

Кузнецов) 15-ти лет, но он дома работает за мужика. Он только в школе и отдыхает, а как приходит домой, сейчас же за работу. Мать его шьет сама детям полушубки, чоботы[40] и проч. По наружному их виду я думала, что они, действительно, очень бедны, но оказывается, что отец его сравнительно богат и имеет большую просторную хату и все хозяйство, как следует. Но он так скуп, что детей водит чуть не голыми и к тому же морит их голодом. Все они и жена — исхудалые, изморенные, жалко смотреть! А он ничего этого не хочет видеть и заботится только о своей мошне да об украшении своей хаты дорогими образами. У него всегда останавливаются все приезжающие власти — старшина, урядник, становой, и он со всеми с ними в приятельских отношениях.

Во время нашего разговора о наказаниях в класс вошла Марья Алексеевна, привезла детям на обед огурцов, арбузов и хлеба. Я занялась дележом. Все очень тихо брали, а не хватали с животною жадностью, как случалось видеть. Марья Алексеевна скоро уехала, так что мы расправлялись уж без нее. Когда она удалилась, они обратились ко мне с вопросом: «що воно таке обуло?» и «за що вона нам оце дала?» Почти никто ее не знает; два, три нашлись, которые сказали: «Оце ж наша барыня».

Сегодня один хлопец сделал мне приношение — принес масла подсолнечного. Я отказалась принять, сказав, что не дома столуюсь, но потом, обдумав, жалела, что не приняла, пускай приносят. Это — добровольное приношение, и я теперь буду принимать, тем более что родители объясняют отказ гордостью!

2-го декабря. Вчера вечером уморилась и легла в 11-м часу спать. Вдруг слышу, кто-то стучит в окошко и называет меня по имени. Я зажгла огонь, накинула на себя что попало и отперла дверь. Оказывается, что два парубка[41] пришли ко мне учиться. Я было хотела отказаться принять их, так как очень поздно, но они убедительно стали меня просить хоть немножко заняться с ними. Я согласилась. И так мы занимались до половины первого. Один из них получил уже свидетельство[42], но все позабыл, другой ходил в школу, но не доучился.

Сегодня я ездила в соседнюю слободу с целью познакомиться с учительницей и священником, о котором уже говорила раньше[43]. Учительница не произвела на меня особенно хорошего впечатления, священник же мне понравился, главным образом, тем, что стремится идти вперед, веселый, здоровый, радушный, простой. Он вдовец, живет с маленьким сыном. Вечера они проводят за картами, не исключая и учительницы. Школа помещается в церковной сторожке, воздух убийственный, точно в подвал войдешь. Книг почти никаких нет, в учебных принадлежностях тоже большой недостаток, мест не хватает, ученики сидят на полу. Школа разделена на две части. Учительница переходит в другой класс через открытые сени. Учеников 70 человек. Хотелось бы подробнее записать свое путешествие, но нет времени совсем.

3-го декабря. Вечером, в 6 часов, у меня в хате набралось пять человек

учеников и учениц (взрослых). Места не хватает, так что одну буду отдельно учить. Предполагаются еще ученицы. Времени для себя у меня остается только для чая. Вот так-то я и хотела работать, чтобы некогда было думать о себе, чтобы можно было себя предать забвенью.

5-го декабря. Вечером, после занятий с взрослыми, я прочитала им из сочинений Шевченко[44] несколько думок и отрывок из «Наймички»[45], до того места, когда окрестили Марка. Им, видимо, странно и смешно было слышать свое родное пропечатанным, и они смеялись дружно над выражениями «пидтоптався»[46], «пхика»[47] и т.д. Понравилось очень.

Сегодня познакомилась еще с одною соседнею учительницей, Софьей Никаноровной[48], дочерью того священника (о. Никанора), о строгости которого рассказывали хлопцы и которая прежде была на моем месте[49]. Она сообщила мне свой метод преподавания грамоте, который я боюсь применить у себя, не сумею, а между тем, я вполне согласна с его целесообразностью. Она не заставляет выделять звуков, а только сливать. Сначала сообщает четыре гласных звука: а, о, у и ю, а потом вводит какой-нибудь согласный и к нему приставляет все известные гласные звуки. С младшею группой занимается только два часа (читает и пишет). На первый год арифметика не входит в ее программу.

6-го декабря. Теперь буду писать о себе. Школа в полном разгаре, но как плоха учительница. Кабы на мое место умелого, умного человека (у меня тоже есть ум, я не отрицаю, но не образованный), какое широкое поле деятельности, как много бы он мог сделать! Я же совсем потерялась и вот-вот готова сказать, что я ничего не знаю и не могу учить, особенно взрослых. Я думала, что в нынешний год буду уже опытнее[50] и буду знать, как браться, но, увы, нет этого! В школе у меня 32 ученика. После обеда я занимаюсь с ними пением у себя в хате. Потом младшее отделение уходит домой, а с остальными занимаюсь еще до 4-х часов в школе. С 6 часов приходят ко мне шесть человек взрослых (4 парубка, 1 замужняя и Дуня), с ними занимаюсь часов с 9 и до 10 вечера. Есть еще желающие, но в моей хате и так уже негде бывает повернуться. По праздникам, после обеда, хлопцы приходят ко мне, мы поем, читаем. Я теперь никогда не бываю одна. В праздники всегда кто-нибудь из родителей зайдет спросить, как учится сынок или дочка.

Я нахожусь в большем затруднении, что давать читать. Здесь чтецов (взрослых) гораздо больше, чем в Городищах. На первый раз дашь «Чем люди живы?» — понравится. Просят еще дать что-нибудь другое. А возвращая, говорят: «Нi, оце не така, як по первах давали: та була гарна книжечка! Ще бы такý!» Ну и задумаешься, что дать?

Сегодня праздник, но взрослые в полном комплекте собрались. Один из этих учеников, Осип, очень интересен: он выглядит букой[51], чему способствуют его черные, как смоль, и сросшиеся брови. Обыкновенно, он сидит и все

молчит, но вдруг неожиданно что-нибудь скажет, но так скажет, что все расхохочутся: что ни слово, то юмор. Сестра его такая же. После занятий спели хором «По улице мостовой». Эту песню здесь все знают. По окончании пения оказалось, что под окном были слушатели и один из них сказал, что не пожалел бы и косушки[52] нам поставить. У Николаевых бываю, но очень редко, мне скучно у них. Марья Алексеевна молчалива, я — тоже. Своим не заинтересуешь их, а их интересы не мои. Вчера я у них была, и точно совсем в другой мир всегда окунешься там, в мир пустоты, в мир диванов, пирогов, солянок, охотничьих собак и т.д.

9-го декабря. Так много хотелось бы записать на эти листки, а между тем, времени не хватает. Сейчас только ушли от меня ученики, а между тем, уже половина 12: пора уже спать. Сегодня весь день с утра до вечера у меня был народ, то хлопцы, то мужики, то бабы и, наконец, вечером парубки. Они уже теперь лучше, свободнее чувствуют себя в моей хате; не боятся уже засмеяться, когда смешно, и отвечают не шепотом, как раньше, а полным голосом. В Городищах я не знала, как мне скорей сойтись с крестьянами и искала предлога проникнуть к ним, войти в их жизнь, но потерпела полнейшее фиаско, так как с их стороны не было того же желания и они сторонились, смотрели на меня, как на барышню, которая, по их предположению, непременно должна гнушаться ими и может учить их, ребят, потому только, что ей дают гроши за это. Здесь же они сами идут ко мне. Стараются познакомиться со мной и ищут предлога придти ко мне, и потому наше сближение идет быстрыми шагами. Вчера мне пришлось пойти для личного объяснения с семьею Попеченко, глава которой запретил своему сыну, Семену, выполнять обязанности дежурства в школе, которое состоит в том, чтобы принести воды и вымести школу с помощью другого дежурного. После разных препирательств и объяснений по этому поводу они пришли к тому, что сказали: «Робите[53] з ним, що знаете, тілько доведите до ума, а мы більш не мешатымусь, уж вы нас звынити на сей раз». Сегодня сын его весь день около меня вертелся и хочет загладить свою вину, и напрашивается в дежурство не в очередь.

10-го декабря. Несмотря на то, что я сегодня сильно устала, мне весело и на душе хорошо. Только полчаса прошло, как ученики мои ушли. Они все более и более развертываются и являются тем, что они есть. Один же, совсем дитя природы, вполне непосредственная натура, и я не могу сдержаться, чтобы не засмеяться над его наивностью. Но он делается необыкновенно серьезен и недоумевает, чего смеются.

Мне было очень хорошо сегодня вечером. Мне показалось сегодня, что они поняли, что я не сухо отношусь к ним, а люблю их. Вот это-то меня и радует; радует, что между нами будет обоюдная любовь.

Относительно же своего умения в ведении систематического обучения я сомневаюсь и совсем недовольна.

11-го декабря. Сегодня я краснела, а теперь чувствую угрызение совести. Вспылила во время класса (они затеяли битву), я хотела удалить двух, но один ни за что не хотел уйти, и я чуть не употребила насилие, но скоро опомнилась. Но нужно было видеть, как они были рады, наконец, увидеть наказание, и все закричали: «Вы бы на колюшки его поставили!». Думаю, что больше не доставлю им этого зрелища.

В дневник совсем нет времени заносить так, как хотелось бы, подробнее. Я теперь рассчитываю только по праздникам брать его. В будни же к вечеру очень устаю, так что тогда уже не до дневника. По вечерам очень аккуратно собираются мои взрослые ученики, даже и по праздникам. Иногда после занятий я знакомлю их с сонатами Бетховена[54]. Они слушают.

13-го декабря. Вчера получила книги. Теперь можно будет проверить отзывы о них. По праздникам я сама читаю школьникам и, таким образом, вижу впечатление и слышу замечания. Я намерена завести тетрадку и записывать против каждой книги все, без исключения, отзывы вкратце. Я совсем теперь для себя ничего не читаю и не знаю, что на белом свете делается, что нового, что хорошего. Сижу себе здесь и думаю только о своей школе, и все силы свои напрягаю, чтобы суметь что-нибудь сделать. Но все мне кажется, что я не так делаю, что ничего не выйдет из моих усилий, и наступают минуты уныния, которые исчезают, как только увижу маленький шаг вперед. Надо надеяться, что выйдет что-нибудь, если Бог поможет и если есть желание делать.

16-го декабря. Сегодня у меня с раннего утра и весь день народ был. Сейчас же, после обедни (обедня была довольно рано), я еще не успела причесаться, пришли большие певчие, и я с ними до $11\,{}^1/_2$ ч[асов] пела, потом пришли хлопцы, а среди них Петр Кузнецов, тот, который скептически относится ко мне. Приход его меня очень удивил и обрадовал. Я прочла им сказку «О рыбаке и рыбке»[55], «Родной быт»[56] и «Саша»[57]. Слушали с большим вниманием и интересом. Те места, где мальчика Сашу хозяин ругал, вызывали смех, но место, где он, по научению товарища, собирался воровать и совесть остановила его и он весь покраснел, представив ужас стыда после такого поступка, — это место было прослушано с напряженным вниманием. В этой книжечке очень проглядывает тенденция, но она им нравится. После чтения мы пели песни, которые заманили к нам посторонних слушателей. Только что хлопцев проводила, приходит мужик: «и я к вашей милости», и просит изложить ему на бумаге следующую историю. Вахтер* уехал на ярмарку (это было в октябре), и дома у него остались одни только дети. Староста, в отсутствие его, взял самовольно ключ от общественного магазина[58] и всыпал хлеб. Раньше же у старосты с вахтером был разговор о пополнении магазина: староста спросил, если ли пустой закром, чтобы засыпать хлеб. Вахтер ответил ему, что есть, но что если он хочет всыпать хлеб, то пускай спросит об этом стариков. И когда потом

* Сторож сельского хлебного магазина.

вахтер увидел, что в пустом закроме есть хлеб, то и не беспокоился, думая, что староста всыпал его с ведома стариков. А староста, оказывается, и не думал спрашивать, и никто не видал, когда и сколько он засыпал; сам же говорит, что не помнит, сколько всыпал.

Я совет дала такой, чтобы вахтер не сдавал ключей без перемерки хлеба и что вообще дело бы выяснилось сейчас же, если бы перемерить. Но до весны это не удобоисполнимо, говорят. Теперь староста стал требовать свой хлеб, но крестьяне не выдают, так как никто не видал, сыпал он или нет. Вахтера же обвиняют в том, что он сейчас же не сказал о том, что кто-то без его ведома всыпал хлеб в закром.

Сегодня ужасно угорела[59].

Вечером собрались мои ученики, но я только что очнулась от угара. Впрочем, это не помешало мне заниматься. Делают успехи и в учении, и в общении со мной.

Я говорила с Евгением Анатольевичем (Николаев) об обучении детей какому-нибудь ремеслу. Он согласился приставить портного и покупать материал. С тех пор, как я стала по вечерам учить взрослых, гувернантка Николаева тоже начала заниматься с дворовыми девушками. Меня очень это обрадовало.

17-го декабря. Двадцать раз приходится пожалеть, что нет времени, чтобы записать хоть часть того, что я слышу, вижу и чувствую. Эти дни были богаче всех предыдущих материалом и впечатлениями. Теперь это будет уже не свежее, а переваренное. О своих добродетельных делах не хочется писать, выхвалять себя, а был случай, чтобы проявить свою добродетель, но после проявления ее на деле кажется — разве достаточно этого? Разве это все, что я смогу сделать? И что из этого выйдет, в конце концов? Вот вопросы, которые являются и не дают покоя. Вот я теперь живу среди крестьян, и они идут, и идут ко мне. Кто — «подивиться» на меня, кто — познакомиться, кто с яйцами, кто для разъяснения: надо ли верить «планиде» и т.п., кто за книжкой, кто о своем хлопчике поговорить, и так далее. Но все-таки они не считают меня своею и думают, что сегодня я здесь, а завтра Бог знает где. И потом я чувствую, что я не могу удовлетворить их, я глупее их; я почувствовала это, когда ближе подошла к ним. Они задают такие вопросы, на которые, чтобы ответить, нужна подготовка и потом уменье объяснить.

В один из дней на этой неделе парубки не все сошлись у меня и все рано ушли, кроме одного, Осипа юмориста, с которым после занятий мы заговорились до часу ночи. Он оказался очень словоохотливым и рассказал мне несколько эпизодов из своей жизни, а также и о своем семейном положении. Мне он кажется чрезвычайно сердечным; может быть, я ошибаюсь, не знаю, но из всего того, о чем мы говорили, я сделала такой вывод. Хотя и в пересказе, но сердечность или сухость непременно выкажется. Так и у него. Доказательством мягкости его сердца может служить и то, что он очень любит «дытішек».

Он взял у меня прочитать «Митину Ниву», Вучетича[60], и именно потому, что увидал на картинке «дытiшек». И от него не ускользнула и художественность рассказа: «Как хорошо описано!» — говорит. И теперь, по его рекомендации, эта книга пошла в ход, и главное, между взрослыми. Он стал спрашивать меня, как это пишут. «Вот, — говорит, — здесь правда описана, а как это выдумывают неправду и пишут так хорошо» (Он может говорить, по желанию, и по-русски, и по-хохлацки). Я ответила ему, но ответ мой не удовлетворил ни меня, ни его, кажется. Я ему сказала, что есть люди, которых мы называем талантливыми, и объяснила, что талант или способность дается нам от Бога и что некоторые не развивают его, и он гаснет. И прибавила, что все-таки большую часть для сюжета сочинители берут из жизни и что в каждом сочинении, басне ли, рассказе ли, стихотворении есть главная мысль, которую автор старается высказать. Вот приблизительно содержание того, что я ему сказала.

В школе на этих днях я опять сердилась, хлопцы дерутся и обижают маленьких. Я принимаю крутые меры, то есть говорю, что как только кто-нибудь подерется, пускай удаляется из школы. Это нехорошо, я знаю, но я все уже средства испробовала. Сначала действовало то, что я не обращала внимания на их раздоры, но озорники стали донимать и тех, которые не хотят с ними связываться. Приходится удалять их, иначе у нас в школе будет постоянно кулачный бой. В этом сказывается мое неуменье. И зачем это дерутся, ругаются, когда можно так хорошо жить. Но как сильно отражается влияние семьи на детях. В семье, где взрослые постоянно ругаются, и дети также ругаются. Но как неприятно и больно слышать это; они ругаются, не понимая тех ужасных слов, которые произносят, а потом, и очень рано, они уже сознательно будут произносить их. В противоположность такому влиянию есть семьи, из которых дети чрезвычайно симпатичны и совсем иначе относятся к учению, к товарищам и ко всему, их окружающему. Смотря на этих детей, и душа отдыхает.

20-го декабря. Была по делу у священника[61] слободы Жилиной[62]. Слобода очень красива; хаты крестьян служат доказательством их зажиточности, хозяйственности. Школа выстроена очень большая, но закрыта, т.к. земство отказало в просьбе крестьян отменить некоторые налоги. Выстроить помещение стоило им 1000 руб. Инициативу в этом деле священник приписывает себе. Священник — молодой франт; жена тоже молодая, и дочка. Еще застали мы молодого человека, семинариста, очевидно родственника их. Он был в красной рубашке, из-под которой выглядывали воротничок и рукава крахмальной рубашки. Старался держать себя очень развязно. Все они готовились сесть за стол, который был накрыт со всеми атрибутами богатых людей — салфетки, подставки и т.д., но наш приезд помешал их намерению. Поговорив о деле, мы каким-то образом в разговоре коснулись наказаний, и я говорила за упразднение и бесполезность этой меры. Они все были против моего мнения.

22-го декабря. Думаю о себе и чувствую, что того, чего мне недостает

главным образом, мне кажется, никакие усилия с моей стороны не помогут приобрести, а именно: уметь заглянуть в душу и расшевелить ее. И вот я думаю, что другой на моем месте мог бы много сделать и имел бы огромное влияние, так как здесь люди доверчивые и неиспорченные, ищущие живого слова и хватающие его. Это я говорю о тех, с которыми встречаюсь вне школы. В школе же, кроме того, я многим недовольна. Я чувствую, что у меня мертвенно, мало жизни и не умею возбудить ее. А может быть, это мне так кажется. Мне очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь побывал в моей школе и сказал мне свои замечания и впечатления. Я сама бываю в других школах и замечаю все недостатки, и стараюсь, чтобы у меня их не было, насколько это в моих силах. В моей же школе никто не бывает и никто ничего мне не скажет. Я постоянно, на каждом шагу, чувствую свою несостоятельность — это мучительно.

28-го декабря. Дневник мой стоит на точке замерзания и не хочет писать. Сейчас вспоминаю все то, что хотела сюда вписать. Один факт, говорящий не в мою пользу, и потому я вспоминаю о нем с сокрушенным сердцем и упреком себя в жестокости. Вот как было дело: во время последнего часа занятий я рассчитывала сообщить новый звук и продиктовать несколько слов, но мальчики (слобожане), — я не понимаю, что с ними сталось, — стали драться, смеяться, петь, и настолько громко и свободно, что невозможно было продолжать занятия, и никакие мои замечания не приводили к порядку; тогда я остановилась, дала им утихнуть и сказала им, что так нельзя учиться, что без них я, одна, ничего не могу сделать, что они сами должны учиться, а что я могу только помогать им; и что если они не хотят обратить внимание на меня, то и я не хочу. Сказав это, я взяла и повернула доску только к тем ученикам, которые занимались, и стала заниматься, подавив свое волнение. Шалуны же стали еще пуще смеяться. Я не обращала внимания и продолжала заниматься. Потом вдруг слышу, что они уже не смеются, а плачут и кричат: «Простите мы більш не будем»; но я, не обращая внимания, закончила урок и отпустила домой. После обеда они должны были сойтись на пение. Вижу, что и половины нет — не пришли, и товарищи их говорят, что они совсем больше в школу не придут. Меня это испугало, но я и не показала вида, что меня это известие встревожило. Когда они все удалились и когда я осталась сама с собой, то не могла ничем заниматься: это происшествие не давало мне покоя, и я с сердилась на себя, зачем я так круто поступила с ними. Я ждала, что мне скажет следующее утро. Прихожу — все решительно сидят на своих местах и полнейшая тишина. Весь день прошел мирно, и ни я, и никто из них не упомянул о вчерашней истории. Придется закончить этим, не сказав ни слова о втором — отрадном разговоре с одним крестьянином, по поводу разных вещей. Это было дней пять тому назад, так что много подробностей улетучилось, остался остов.

2-го января 1885 г. Все это время я собиралась записать сюда еще один разговор мой с крестьянином, но теперь уже не могу воспроизвести его под-

робно и так просто, как он был. Но самую суть его мне все же хочется записать. Этот крестьянин, Степан Левда, совсем еще молодой, непьющий. Он был в школе и кончил на свидетельство. Дружба с школьными товарищами у него и теперь продолжается, хотя они уже поженились и в разных селениях живут. Его уже не удовлетворяет жизнь крестьянина, которая вся поглощается заботами о мирском, у него явилось стремление к чему-нибудь идейному. Своя жизнь ему кажется уже похожею на животную, и он знает, что есть другая жизнь и стремится войти в нее. Как дорого это сознание и это стремление! Но жаль, что он так безнадежно смотрит на молодое поколение. Он говорит, что, на его взгляд, старики гораздо сердечнее, мягче молодых, и в доказательство своего мнения он привел пример, бывший накануне на сходе. Обсуждали дело вахтера, старики настаивали на том, чтобы простить его, но молодые ужасно восстали против этого и требовали водки. Старики сделали по-своему и простили его, а вопрос о том, выдавать ли старосте хлеб, отложили до перемерки хлеба весной. Степан был возмущен поступком молодежи, к которой сам принадлежал.

На праздники я уезжала и приехала накануне нового года. Вчера с раннего утра у меня был народ. Накануне, вечером, хлопцы узнали, что я приехала, и пришли «щедровать»*, а вчера посыпали меня зерном. Я никак не думала и не воображала, что все так обрадуются моему приезду. Как только один завидел меня, так сейчас побежал извещать другого, с видом особенной радости, и всем хотелось бы сейчас же повидаться со мной, но деликатность пересилила желание. Меня ужасно трогает такое отношение ко мне, и что меня больше всего радует, это — любовь, которая поселилась между нами. Хлопцы так и сторожат меня по праздникам, и как только увидят, что я дома, сейчас же бегут.

4-го января. Сегодня я случайно встретилась с одним крестьянином, с своим товарищем по занятию[63]. Он учит по псалтырю[64], и только читать, берет с каждого мальчика по 3 руб. в зиму. Учит в продолжение всего дня и в той же хате, где помещается вся его семья. Наказаний не применяет, убедившись на опыте в бесполезности их, и потом вывел еще из наблюдений, что мы иногда требуем от ребенка понимания раньше, чем он созреет для этого. Как я была рада встретить себе собрата среди крестьян и поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и т.д., которые для него так же понятны и интересны, как и для меня. Нынешний год он отказался от учительства вследствие неудобства помещения. Сына своего он хочет направить в мою школу, чтобы выучить его писать. У меня на дому прибавилось еще два ученика.

5-го января. Класса не было по случаю сочельника. С хутора прибежали ко мне два хлопца с известием, что у них пять гусей пропало, так они пришли

---

* Т.е. поют песню «Щедрый вечер» и т.д. и за это им дают вареники и кто что может.

«шукать», не залетели ли как-нибудь в нашу слободу. Принесли мне подсолнухов, обогрелись и побежали. Потом опять прибежали — гусей не нашли. Опять сидели, говорили, читали. Наконец, один говорит: «Ходим, Грицько, до дому». «Підожди трошки». И они только тогда ушли, когда мне самой нужно было идти обедать. Вечером у меня пили чай Фекла, сын ее, Борис (мой ученик, парубок) и дочь Дуня. Читали Евангелие о крещении. Борис начал утверждать, что мать ничего не понимает, потому что неграмотная. Я задала несколько вопросов, которые убедили его в противном. По окончании беседы сыграла им отрывок из оперы «Жизнь за царя»[65]. Очень понравилось.

6-го января. Вчера я забыла записать очень характерную вещь. Пред началом класса хлопцы мне сообщают вдруг, что брат (мужик уже) Семена Попеченко «похваляется бить меня». Я спрашиваю: за что? «Да за то, — говорят, — что погано учите, ні як не наказуете его брата, в вин що схоче, то и робе. Хиба ж, каже, так учат». Они ждали, что я скажу на это, и я сказала, что хотя мне и очень неприятно слышать о том, что есть люди, которые думают еще, что ученье состоит в том, чтобы бить и ругать, но что, если ему хочется прибить меня, — пускай бьет.

Хлопцы были с самого утра. Один Степан (идеалист) пришел менять книги. Принес Григоровича «Антон Горемыка»[66]. Не стал читать все по порядку, а выбирал те места только, где нет руготни. Этого, говорит, и так много слышишь без книжек, аж надоело. А «Чем люди живы» три раза прочел и еще просил подобной книжки.

7-го января. Я вчера сидела у Николаевых и ночевать осталась. Хлопцы же сошлись и ждали меня. Дуня боялась остаться одна и не отпускала их. Но они все порывались уходить. Было уже поздно, а меня все нет. Тогда Бобрик стал уговаривать товарищей не бросать Дуню одну в хате. Она плакала и просила. Они согласились и остались ночевать. К моему приходу они вымели мою хату и все прибрали.

8-го января. Товарищи стали дразнить тех хлопцев, которые у меня бывают, тем, что они «к учительнице на вечерницы[67] ходят». Мне было очень неприятно слышать это, но они ужасно сконфузились, когда я их стала приглашать на свои «вечерницы». С одним из учеников (Иван Васин) большая перемена — из «акулы», как я его называла, он обратился в скромного мальчика. Не знаю, чему приписать.

Ефим Барабашев упросил меня взять от него два яйца, и видно было, что этим я ему сделала удовольствие. Вчера пришли к Дуне подруги ее и в числе их одна очень симпатичная девочка; я приласкала ее, читала ей, картинки показывали. Сегодня она вдруг приносит мне пять яиц и говорит, что мать прислала. Я спрашиваю: за что? «Гостинец вам». Потом оказалось, что она прислала их за то, что я приветливо ее дочь встретила.

9-го января. Сегодня было начало портняжного класса. Я пошла посмо-

треть, как портной будет обращаться с детьми. И вот что я увидела: ребенок еще не знает, что делать с иголкой, которую ему дали, ему еще не растолковали, как и что, а щелчком уже наградили. Я ушла. Потом портной пришел ко мне, и я с ним поговорила по этому поводу, но он хотел отказаться от этого щелчка, говоря, что это нечаянно случилось. Хлопцы после класса тоже прибежали ко мне, и, когда портной ушел, один говорит: «Він сердитый». Раньше же этот хлопец приставал ко мне, почему я на «колюшки» никого не ставлю. Я ему и говорю: «Ну вот, Грицько, ты теперь дождался сердитого учителя — рад?». — «Ні, погано». — «Ведь, ты же скучал без наказаний?». — «Це я тілько балакал».

10-го января. Пришла из школы, и не знаю, как определить свое душевное настроение. Мне кажется, что все рухнуло — любовь, доверие и т.д., и осталось только сознание своего бессилия и упрек — не берись, коли не можешь.

Семен Попеченко хотел привести ко мне своего старшего брата (который собирался меня бить). Но тот пришел до двери, а войти не решился. А Семен стал приводить ему разные доводы о моем гостеприимстве и, в конце концов, говорит: «Ходим, ходим, вона смирна и прямо як мужичка[68]». Но он все же не вошел, хотя Семен и старался уничтожить сословную преграду. Семен же разговорился у меня, рассказывал, как его дома бьют и ругают и что один раз так прибили, что он три дня был болен. В конце разговора он спросил и меня, есть ли у меня мать или отец. И когда я сказала, что нет, то он как будто с жалостью сказал: «Так вы сирота — ні батько, ні маты нема у вас» (Семену 10 лет).

12-го января. Мать одного из хлопцев принесла ему пирогов с картофелем и угостила меня. Пирог оказался очень вкусным. Один хлопец принес мне «шишку» — свадебное печенье. Я приняла. Вечером, во время ученья у себя на дому, я позволяю разговаривать, смеяться, и вследствие этого, мне кажется, они не чувствуют утомления, так как, занявшись три часа, они готовы еще читать и писать. Вообще вечерние уроки не имеют ничего казенного. Учеников прибавилось.

18-го января. Вечером собралось одновременно много учеников, негде было сажать. Читали по букварю, попалось слово «юноша». Я спрашиваю, кого мы так называем? «О! оце Ефим, що пидля Веклы живе»*! Я спрашиваю: какой такой юноша Ефим? Оказывается, что Ефим уже пожилой мужик, но его дразнят «юношей». Значение же этого слова для них было неизвестно.

Сегодня я пришла в класс очень рано, хлопцы начали драться, я побранила большого, т.е. сказала ему, что он может удалиться, но он остался. Я же села у стола и начала читать книгу. Вдруг он подходит и, кладя «шишку» на то место, где я читаю, говорит: «Оце буква, чи що?» Это было сделано, и главное, сказано так серьезно, как будто он действительно спрашивал про что-нибудь похожее на букву, я смеялась до слез над его проделкой со мной; я никог-

* О! Это тот Ефим, который около Феклы живет.

да не ожидала шутки с его стороны после того, как мы поссорились, и после этого, конечно, впечатление ссоры совсем изгладилось. После портняжного класса хлопцы прибежали ко мне и жаловались, что портной их бьет. Одного так стукнул головой об стену, что у него невольно выкатились слезы. Многие хотят отказаться. («Неохота и ходить! як иде пiдля тебе, так наче[69] пропастница[70] зробиться[71] — думка така, що або за волосья схвате, або ще що небудь зробе. Я бiльш не пiду до его»*). И другой, и третий сказали: «И я не хóчу».

19-го января. Сегодня я плакала, больше внутренно, чем наружно. Я говорила с портным о его приемах обучения и очень близко приняла к сердцу сторону хлопцев. Он не принимает моих доводов в пользу кроткого обращения. Но все же недаром прошло — сегодня он никого не побил и не ругался, как хлопцы передавали мне.

20-го января. Воскресенье. Целый день с хлопцами провела. Мы пели, читали, баловали, гуляли. Нам встретились дети Николаевых, в сопровождении гувернантки. Николаевы пошли с нами в мою хату. Потом они позвали меня к себе чай пить. За чаем старший, Коля, говорит, что ему очень понравилось, как я живу: «Мне бы, — говорит, — хотелось так жить». Вечером было уже совсем темно, когда я ушла от них.

21-го января. Все это время я была в нерешительности, брать или нет приношения от хлопцев. Я беру. Дают, так бери, говорят. Это их добровольное приношение, а не вымогательство с моей стороны; я даже пытаюсь отказываться, но вижу, что этим я не делаю им удовольствия. Если же от одного не принять, а у другого взять, то у них является мысль, что я того мальчика больше люблю и не брезгаю им.

22 января. Петр (тот, который приводил меня раньше в смущение) стал приходить ко мне по вечерам, и у нас установились дружеские отношения; он стал рассказывать мне обо всем, что ему приходится слышать, видеть, чувствовать (потасовки портного, кулаки товарищей). О последнем он всегда очень сдержанно говорит и даже неохотно, но он знает, что через чужих до меня все же дойдут слухи, и я спрошу сама об этом. Сегодня он пришел с другими хлопцами, и они стали мне рассказывать о прошедшем нашей школы. По их словам, это ужас что такое было! Ученики безобразничали, и для них ничего не было святого, несмотря на то, что их строго наказывали, и они тряслись на глазах, а за глазами Бог знает что творили. В конце концов, Петр говорит:

— Теперь совсем не то, даром что вы не наказываете.

Я говорю:

— Я рада, что у нас теперь лучше, чем было, но одно меня очень огорчает, что между вами, товарищами, мало любви, вы стараетесь сделать друг другу что-нибудь неприятное, а не наоборот. Но я надеюсь, что мы все больше полюбим друг друга, когда поживем подольше вместе.

---

* Я больше не пойду к нему.

— Так вони же занимают, — ну, и сам собі тоже.

И т.д. на эту тему.

26-го января. Читала ученикам «Дедушку Мазая»[72], и их очень забавляет это. Особенно анекдоты Мазая про охотников с горшком угольков для разогревания рук; дети сначала подуют, потом трут руки над воображаемым горшком с угольями и потом уже прицеливаются.

Сегодня после класса в школе никто не хотел мести. Я взяла веник и стала сама действовать, но сейчас же явилось десять рук, и у меня вырвали веник. Я все время следила за тем, как выметут. Потом я хотела выйти в сени, но оказалась взаперти. Грицько (за которого я хотела выметать) запер меня и не пустил; другие хлопцы хохотали, видно было с их стороны ожидание, что я вспылю, но я сдержала себя, приняла это за шутку (как это и было) и стала сама смеяться.

27-го января. Степан Боковой приходил менять книги, рассказал содержание «Дедушки Назарыча»[73]. Ему понравился конец этой повести, и именно поступок Назарыча, когда тот все свои деньги отдает Авдотье. «Хорошие, — говорит, — у вас книжки. Иной раз прочтешь и думаешь — какие пустяки, а пораздумаешься и увидишь, что это идет к делу. Как прочтешь про хорошее да про хорошего человека, так и самому хочется быть таким же; иной раз и осудишь себя, как вспомнишь, что читал».

Перед вечером я была у помещика. Пришла, и не знаю о чем говорить, все молчат.

Возвращаясь домой, забежала к Фекле, там встретилась с отцом Ивана Васина (школьника). Он начал говорить про мои занятия в школе и что я не строго их держу, и надо бы построже! Я ему сказала, что у них был строгий учитель — и что же, хорошо было?

— Тот уже дюже строгий, тот не выпускал и на двор, так что, когда мальчишки возвращались домой, их нужно было переодевать.

Я ему привела массу доводов против наказаний и такой строгости и, в конце концов, сказала, что их просьбу я никак не могу исполнить: во-первых, потому что это грех, а во-вторых, потому что из этого ничего хорошего не выйдет; а что если им непременно хочется, чтобы детей их таскали за чуб и ставили на колени, то пусть попросят Евгения Анатольевича удалить меня или прямо мне скажут.

— Нет, зачем, — говорит, — я только так балакаю, а вы ж знаете, учите; бач, по-нашему, так треба бить, не давать потачки.

Я ушла. Потом Дуня пришла и говорит, что он не нахвалится мною и что «послушаешь ее, говорит, так оно верно, справедливо выходит».

Хлопцы уже давно стерегли меня у хаты, и все смерзли. Я им сегодня сказала, что на масленице поеду в гости.

— Оце ж мы одни останемось!

27-го января. Я думала, что могу в Николаевых найти для себя поддержку. Нет, напротив, я не встречаю у них сочувствия к своему делу. Мар[ья]. Ал[ексеевна] холодна и не пробьешь ее, и чем дальше, тем меньше общего между нами. Мне сегодня показалось даже, что она и тетя ее смеются над тем, чему я сочувствую; я заразилась, по их словам, идеями Толстого. У меня както больно отозвалась их ирония, и я постаралась повернуть разговор на другую тему.

28-го января. Утром я отправилась в школу и забыла ключ. Вернувшись к себе, я увидела, что Дуняша смутилась, и вся затряслась. Я спросила, что с нею. Оказалось, что она вытащила из сундука (который я забыла запереть) сахар, и стала откалывать для себя. Когда я спросила ее, зачем она это делает и разве я ей запрещаю есть сахару, сколько ей хочется, она бросилась ко мне на шею с плачем и просила простить ее, что она больше никогда не будет этого делать. Не знаю, правда ли, что ее всю так потрясло, или она представлялась, но она упала, как будто изнемогая под тяжестью своего поступка, и стала рвать на себе платье. Мне было, мало того, что неприятно, мне было жаль ее, и вместе с тем мое доверие к ней рушилось. Она уже сколько раз обманывала меня без всякой нужды и без всякого расчета, но я все же ей верила, и теперь желаю верить, но не верится.

После обеда приехал в школу N.N.[74] (член училищного совета). Там шел класс шитья. Он прислал за мною, приостановил шитье и проверил знания моих учеников. По окончании сказал лаконически: «недостаточно». Насколько я помню, прошлый год меня сильно взволновал его приезд: у меня руки и ноги тряслись, сегодня же я сама даже удивилась своему спокойствию, и меня нисколько не сердило то, что ученик плохо читает или отвечает. Я приписываю причину своего спокойствия тому, что я совсем перестала заботиться о том, как посмотрит начальство на мою школу и на меня. Я всеми силами старалась узнать от него, чем он недоволен и какие недостатки вообще нашел. Недоволен остался он тем, что я еще не начинала с «букварями» заниматься арифметикою. Я объяснила ему, почему так сделала, а именно: чтобы скорей научить читать и писать и отпустить их на лето читающими. Раньше, т.е. прошлый год, у меня вышло ни то ни се, и читали плохо, и по арифметике плохо. Теперь, пройдя букварь, я понемножку начну заниматься и счетом, но все ж таки главным предметом будет чтение и письмо.

8-го февраля. Сегодня меня одолели хлопцы. Они говеют и все свободное время проводят у меня. Я как будто бы недовольна этим. В сущности-то недовольна тем, что не могу сделать всего, что предназначаю себе. Приход их действует на меня, как живая вода, и после них хандры как не бывало. Есть несимпатичные для меня среди них, с этими мне очень трудно: приходится очень сдерживать себя. Я думала, позволять ли им приходить к себе во всякое время? Часто хочется одной почитать или что-нибудь другое поделать. Но я решила,

что не следует их никогда прогонять: они тогда не будут знать, когда же можно прийти. Иногда они приходят, и я продолжаю заниматься своим делом, и таким образом они могут видеть меня при разных обстановках и во всяком виде, нечесаную (при них же приводишь свою голову в порядок), с грязными руками, добрую и сердитую. Словом, они могут вполне изучить меня, а я, с своей стороны, — их. И когда они видят, что делаешь какую-нибудь простую, грязную работу, то это как будто способствует нашему сближению, я это чувствую.

Сегодня мне пришлось в первый раз видеть у крестьянского мальчика внешнее выражение чувства любви. Этого мальчика дедушка очень балует и все хуторяне. Один из взрослых учеников посадил его к себе на колени и стал с ним о чем-то разговаривать, и вдруг я вижу, что тот одной рукой обнял его голову и поцеловал в щеку. Меня это очень удивило.

9-го февраля. Опять я думала: пускать или нет всех, кто заходит ко мне погреться, и таким образом, перебивает мою работу. И опять решила, что пускать! Пришли четыре незнакомые женщины. Что же с ними говорить, я их еще не знаю. Я предложила им почитать Евангелие. Они обрадовались. Прочла я им всю нагорную проповедь. Поблагодарили, похвалили меня, что понятно читаю, и сказали:

— Вот, не знали, что у вас можно слухать, а то столкнешься с жинками и слухаешь, чего не треба. Оце нашему чоловіку[75] треба сказати, щоб у сюда пришол послухать.

После чтения разговор сам собой завязался, и я узнала, кто они такие.

Сегодня Дуня причащалась. Она устала, и сон ее стал клонить. Я ей и говорю: «Дуня, отчего ты не ляжешь?» — «Гріх спать» — говорит. «Отчего?» — «Мыши украдут причастие». — «Как же они могут украсть?» — «Я не знаю, люде кажут, що украдут».

10-го февраля. Пришли взрослые певчие переменить книги. Они застали меня за чтением критики Громеки[76], и по этой причине я к ним была не особенно внимательна. Учитель (крестьянин), возвращая мне «Юлиана Милостивого»[77], сказал: «Кабы вы дали мне житие какого-нибудь святого». Я не догадалась даже сказать ему (занята была своим), что ведь Юлиан тоже считается святым. Потом я узнала от других, что он и не стал дочитывать, потому что все про зверей да охоту. Он думал, что до конца так будет.

В отсутствие мое один мужик принес мне просвиру. Меня всегда трогают приношения, хотя незначительные, в размере, положим, одного яйца. Я думаю, что они это делают от души.

13-го февраля. Портной должен был придти в 12 часов, сейчас по окончании моего класса. Дети ждали, ждали его, наконец, уже 2 часа, а его нет. Они прибежали ко мне и сказали, что пойдут по домам. Я их попросила подождать еще немножко, пока я за ним схожу. Прихожу — он себе сидит спокойно и не думает, что столько времени его ждут дети, которым предстоит возвращаться

домой, в хутор, по страшной метели и голодными. Меня очень это рассердило, и я напустилась на него.

Тут вошел Евгений Анатольевич и стал его защищать, и сказал, что это ничего не значит, что они так долго ждут: они должны ждать столько, сколько им приказано. Мне было чрезвычайно трудно совладать с своим волнением, которое, я чувствовала, все более и более усиливалось. Он объявил мне, что портной отказывается заниматься в школе, потому что он ничего не может сделать с моими учениками, — надо строже их держать. В сущности-то он оттого отказывается (как я узнала), что ему представляется место выгоднее, а во-вторых, потому что Марья Алексеевна взяла с него слово не драться и не ругаться, а учить без этого он не умеет. Потом я воротилась с намерением поговорить с Евгением Анатольевичем и выяснить все, так как предыдущий разговор происходил в передней, и я скверно справлялась с волнением, охватившим меня. Пройдясь, я овладела собой и намерена была спокойно поговорить с ним. Поговорив о портном, мы перешли на разговор о дисциплине и о воспитательном значении школы. Все время мы говорили «на разных языках». Он, например, говорит, что лишь бы достичь желаемого результата, а каким способом, это — все равно. Как согласиться с этим. Выходит, что цель оправдывает средства. Но он делает какое-то непонятное для меня разграничение между способом и средствами, между результатом и целью. И я никак не могла уверить его, что это одно и то же. Следовательно, он наказания оправдывает, но только его немножко коробит от грубых форм, а утонченные формы он даже одобряет и практикует на своих детях. Например, наказание такого рода: мальчик не выполнил или худо выполнил заданную работу, ему задается та же работа по количеству вдвое, втрое больше. Я только удивляюсь: желают приохотить к занятиям, а, между тем, употребляют способ, который прямо противоположно действует! Я понимаю еще, что ребенок должен выполнить работу, но не больше и не меньше того, что дано сначала. В конце концов, я сказала, что мы никогда не поймем друг друга и что я не могу принять ничего из его воззрений. Вселять страх к себе я не намерена, а, напротив, идеал моей школы — товарищеские отношения между детьми и учителем.

— Вот это уж нелепо! — говорит. — Они еще не знают азбуки жизни, а вы их прямо вводите туда, где они ничего не в состоянии понять; это все равно, что ученику, не знающему чисел, задать сложную задачу.

Я ему на это сказала, что пример его не аналогичен, и старалась объяснить, но он стоял на своем. Тогда я замолчала и выбирала момент, чтобы уйти. По выходе из его дома мне легче вздохнулось, но все же что-то защемило внутри... И тут! Положим, что больше на словах... Грустно!..

14-го февраля. Хлопцы вечером прибежали и рассказывают, что портной страсть как на меня обижается и пеняет: «Говорит на вас, что вы не строги с нами». — «Еще один раз, — говорит, — приду, а то уеду». — «А мы и рады,

абы скорей уехал». Потом начали они строить планы на лето — как они будут пасти и приходить ко мне и что мы будем делать. Я в хорошем настроении была и от души смеялась над их болтовнею и выдумками. Я шила себе платье, и на столе валялся кусок черной марли. Вот они взяли этот кусок, и давай каждому примеривать на лицо — хороша ли из него барыня выйдет! Они видели, что барыня завешивает чем-то лицо себе, давай и на себя вешать. Мы пели. Пришли большие хлопцы. Во время занятий я один момент сильно рассердилась за невнимание, но потом посмеялась над собою, и хлопцы также. Я сильно крикнула.

— А я, — говорит один, — злякался[78], аж перетрусился весь!

Тут уж прямо до слез я смеялась и они.

А сегодня в школе один хлопец пишет мне послание на доске такого рода: «Н.Д., простите меня». (Перед тем он очень баловался). Я написала ему также на доске ответ: «Я уже простила, ты меня прости». Он пишет снова: «Бог простит, и я прощу». Тем и кончилось наше объяснение.

15-го февраля. Сегодня у меня был первый урок арифметики, и я им показала первые пять цифр. Нужно было видеть радость и оживление, с которыми они решали задачки (по их силам) и писали цифры. Среди всеобщей тишины, во время первых попыток изображения цифр, вдруг маленький хлопец (8 л[ет], Ст[епан] Макаренко) хотел что-то сказать мне и назвал меня «Наджка Даниловна». Все захохотали, и я сама не могла удержаться от смеха, он же недоумевал, потому что назвал меня так, как, по его мнению, и следовало. Есть два-три мальчика, которые прямо называют меня Надеждою, без прибавления. Сначала хлопцы смеялись над ними, но теперь привыкли, а мне так это приятно.

Говельщики заходят в школу и наделяют своих хлопцев бубликами, а они непременным долгом считают поделиться со мною, и я сегодня возвращалась домой с нагруженным карманом. Одно только неприятно, что занятия приходится прерывать по случаю прихода родичей и на усмирение толпы, которая прямо рвется в школу, несмотря на то, что изнутри мы запираемся. Надо мириться с этим неудобством и улаживать как-нибудь свое дело. Сегодня пришлось прекратить занятие раньше на целый час вследствие этого неудобства, так как, кроме того, что толпа рвалась, произошел ропот, что я их заставляю мерзнуть. Мой довод относительно моего права занимать это помещение не был принят. И я решила распустить учеников, а по окончании службы наверстать это время.

18-го февраля. Сегодня я чувствовала в своей душе мир, какую-то тишину, не нарушавшуюся порывом вспыльчивости, с которым постоянно приходится бороться, и мне было особенно весело в школе сегодня; меня не тревожили беспорядки, шум, мне показалось, что почти все очень хорошо себя ведут. Самое большое удовольствие доставляют мне перемены (перерыв в занятии),

во время которых только и приходится поговорить по душе с некоторыми симпатичными для меня мальчиками. Одному из них я дала прочитать «Мальчик у Христа на елке» Достоевского[79]. Я совсем растаяла от его рассказа и от выражения лица при этом. Он очень хорошо читает и пишет, но ему только восемь лет, и он очень мал на вид и серьезен. Но нужно было видеть, с каким одушевлением он рассказывал все подробности, касающиеся этого мальчика.

Вечером пришел дядя Мирон посмотреть, как его племянники у меня учатся, сам же он неграмотный. По окончании занятий я играла им.

20-го февраля. Вот уже несколько дней, как я занимаюсь после обеда еще два часа со всеми учениками, кроме старшего отделения, которое меня только раздражает и своим поведением, и отношением к занятиям. Они все решительно делают спустя рукава, и я не могу их ничем заинтересовать; я рада, когда после обеда избавляю себя и детей от них. Сегодня мы занимались устными задачками и потом численными примерами. Они очень любят эти занятия, и когда я сказала: «Ну, ребята, я думаю, пора домой!», они почти единогласно закричали: «Ще учиться!» Один так особенно настойчиво просил, и когда другие стихли, он повторял: «Надежда, ще учиться!». «Ну, хорошо, давайте еще учиться». И учились еще полчаса. Мы занялись письмом под диктовку. Вот уже несколько уроков я заставляю их практиковаться над предлогами, и они никак не могут победить эти трудности. Я сержусь, а потом сейчас же перехожу на мягкий тон, так как сознаю, что нельзя быть чересчур требовательною, нельзя требовать, чтобы через два месяца они писали правильно.

На днях я получила письмо от брата одного из учеников. Он, может быть, меня и видел, но я его не видала еще ни разу, и вдруг получаю такое письмо! В первый момент я в душе рассердилась, мне не понравилось письмо: зачем так много слов и такие прилагательные, как «милая» и «незабвенная» «благодетельница», — и все это за ничтожную услугу. Но потом подумала, что он, вероятно, хотел убедительнее изложить свою просьбу, и к тому же, вероятно, от кого-нибудь перенял эту форму письма, и, по его мнению, она очень хороша и трогательна. Я ему послала то, что он просит, и сказала через брата, чтобы он не писал таких писем, так как в них много лести и потому лжи, а что если ему что-нибудь будет нужно, пускай напишет проще. И я сказала, как просто написать.

23-го февраля. Вчера мне очень нездоровилось, и сегодня, после бессонной ночи, вследствие кашля, я с ужасом подумала, как буду заниматься: голос совершенно исчез и при этом страшная головная боль. Приободрившись, я пошла. Но, вероятно, потому что нездоровилось, занятия скверно шли. Большие хлопцы, как нарочно, упрямились и не делали того, что я требовала от них, и прямо говорили «не хóчу». Это меня еще более раздражало, я совсем растерялась, что мне делать, и ждала только того времени, когда (по времени) можно будет кончить занятия, придти домой и разобраться. Придя домой, я экспром-

том решила, что поеду сейчас в Ольгино, освежусь, увижу своих друзей, и таким образом нравственное состояние изменится. Погода не благоприятствовала мне, дождь в продолжение 6 часов, которые мы ехали, не переставал лить.

Но я всю дорогу не оставалась одна со своими мыслями. Кучер мой все время задавал мне различные вопросы и излагал свои мысли. Он всегда первый начинает говорить; заговорил он о книжке, которую я ему дала, а именно: о «Гришке»[80] (рассказ из раскольничьего быта). «Я, — говорит, — еще не брал у вас такой хорошей книжки. Я ее уже прочел, но хочу еще прочитать». Я спросила его, почему же ему так понравился этот рассказ. Он задумался и говорит: «Да как вам сказать, оно все там хорошо написано, только очень мне понравилось, как этот Гриша все хотел научиться жить по Божьи, и все искал благочестивого человека, который бы научил его. Только я не понял, правду говорит монах, в самом конце, про город Кетижд[81], что он невидим для грешников» и т.д.

Следовал подробный пересказ вранья этого мнимого инока, который, в конце концов, оказывается мошенником и завлекает в свою шайку Гришку. Я, конечно, сказала ему, как я понимаю весь рассказ, и, в частности, про город Кетижд. Потом он все приводил места из Евангелия, говоря, что люди так бы должны жить, а, между тем, не живут, и даже, если который и старается исполнять на деле Божью волю, то не всегда может, лукавый ему мешает. «Говорят, что в мире нельзя спастись, лукавый постоянно преследует человека». Я ему сказала на это, что в мире труднее жить, потому что приходится сталкиваться с разными людьми, но что все же это не мешает людям жить по Божьи. Долго с ним говорили, всего теперь не воспроизведу, и он совершенно соглашался со мною, иногда только призадумывался, и то ненадолго.

25-го февраля. На обратном пути из Ольгина Степан выкладывал мне свои впечатления. Ему очень понравился общий дух моих друзей, никто, говорит, не старается стать на высшую степень, и каждый исполняет свою должность, и если есть время, так и за другого сделает. И так это все хорошо. И встретят-то приветливо, накормят, напоят.

26-го февраля. На этих днях Осип принес «Милости хочу, а не жертвы»[82].

— Вот это, — говорит, — так хорошая книжка! Нет ли еще такой же?

Я не спрашивала, почему она ему так понравилась, но он сам начал рассказывать, из чего я поняла, что ему понравилась самая суть, т.е. то, что описана невозможность заглушить свой проступок, совесть не будет покойна. И потом живость самого рассказа. Он только что принес, другой сейчас перехватил, так что я еще сама не успела прочитать. Еще очень нравится всем «Христианский подвиг солдата»[83]. Эта книга не попадает мне в руки; она ходит из рук в руки.

Григоровича плохо читают, и мне самой не нравится. Он слишком растягивает и вдается постоянно в описание природы, а так как он не такой худож-

ник, как Л. Толстой и И. Тургенев, то у него выходит скучно и, когда читаешь, думаешь, скоро ли он кончит.

Вчера у нас не было занятий, по случаю похорон священника. Я не хотела идти, во-первых, потому, что уже простудилась, а во-вторых, потому, что при жизни мы мало виделись, так что были знакомы больше «шапочно». Но за мной Евгений Анатольевич и матушка прислали, так что нельзя было не идти. Хоронили его пять священников. Народу нельзя сказать, чтобы было много. Матушка и все женщины-родственницы раздирательно кричали и причитали. А потом, после всего этого, все, сколько было в церкви, отправились тризну править.

Я поехала после похорон с Евг[ением] Анат[ольевичем] к ним. Николаева меня стала лечить йодом и т.д.

26-го февраля. Сдала почту Евг[ению] Анат[ольевичу] и спросила, как его записать в статистические ведомости[84]. «Меня, — говорит, — и не нужно записывать, я не состою попечителем вашей школы». Так что школа наша без попечителя и без законоучителя[85]. Я одна орудую в ней.

27-го февраля. Вот второй день, как я живу у Николаевых! Марья Алексеевна настолько добра и внимательна, что предложила мне поселиться у них дня на три. В моей хате нет надежды поправить свое здоровье. Эти дни ветер в ней разгуливает на просторе, так что если повесить полотенце на кровать, то оно сильно начнет колыхаться. Я решила пожертвовать одним днем занятий ввиду двух праздников и заняться радикальным излечением себя. К тому же погода такая, что некоторые хлопцы не могут придти. Время ужасно тянется. Настроение здесь праздничное, и потому скука. Я, вероятно, не высижу здесь этих трех дней и завтра отправлюсь в свой дворец и примусь за дело.

4-го марта. Вот уже приближается к концу учебный год. Приходится видеть и подводить итоги. Много приходилось сердиться, волноваться, приходить к заключению (в минуты уныния), что ничего не выйдет, что не за свой гуж[86] взялась. Но это лучше, что такие минуты бывают и были, они заставляют строже отнестись к себе. А потом, в конце года, удивляешься, неужели с помощью моей они выучились! Неужели они ничего не знали? Нынешний год у меня младшее отделение вышло несравненно лучше прошлогоднего, несмотря на то, что теперь я занималась с несколькими группами. И до того это мне кажется невероятным, что я переспрашиваю учеников, не учит ли их кто-нибудь дома или не учились ли раньше где-нибудь и теперь только возобновляли в памяти пройденное? Ответы получаю отрицательные. Значит, попались очень способные. Из маленьких у меня 13 человек отстали, но теперь многие из них подвинулись, так что, я думаю, они нагонят своих товарищей.

Я сама училась всему очень беспорядочно, без всякой системы, и главное, не требовали от меня сознания того, что я делала[87]. И потому мне теперь

очень трудно вести преподавание систематически, все какие-то скачки выходят, а хлопцы страдают от моей неумелости. А хуже всего для меня учить уже учившихся. Я не знаю, с чего с ними начинать, с самого начала, — слишком просто для них, а заберешься немножко подальше — ничего не понимают. И все ворочаешься назад, а им, конечно, скучно это. И я сильно чувствую, что они теряют веру в мои познания и уменье.

7-го марта. Семен Шевцов (8 л[ет]) все более и более притягивает меня к себе. Я удивляюсь его способностям и его разумности во всех отношениях. Но при этом он ребенок, а не маленький взрослый или резонер, как у нас есть один. Он не сидит смирно для того, чтобы быть умником, и не изрекает нравоучений, нет, — он играет, щиплет, тузит товарищей, но все это делает так, что на него не жалуются, — и делает он это только тогда, когда занятий нет. Во время перемены он обыкновенно мне рассказывает что-нибудь из прочитанного, и около нас образуется всегда кучка слушателей. Я с большим удовольствием слушаю его рассказ, он так хорошо рассказывает, так подробно, но это не мешает живости рассказа и теплоте, которую он придает. Он мне сегодня рассказывал немножко о своей личной жизни. У него большая дружба с дедусем, которому он все рассказывает, и тот, с своей стороны, со внучком беседует. Внучек ему теперь читает, потому что у дедуся глаза плохи стали. И видно, что они оба счастливы.

Еще у меня есть хлопец, к которому я неравнодушна, это Никон Стрижев (10 л[ет]). Этот мальчик незаконнорожденный и поэтому ему плохо жить. Он всю зиму проходил в рваной свитке[88] и черевиках[89]. Бледный, худой, но живой ужасно. Но только во время учения он весь — внимание. Когда я спрашиваю его, то он весь покраснеет, как рак, так что жалко становится. Он чрезвычайно впечатлительный ребенок, несмотря на колотушки, которые сопровождали его жизнь. Музыку он очень любит, слушает с чрезвычайным вниманием такие вещи, как сонаты, и сейчас же улавливает мелодию и напевает. Голос у него чистый, свободный, но слабенький. Шалит он, между прочим, так, что на него жалуются. Сегодня по окончании класса он подошел к Тимохе (9 л[ет]), подал ему руку и говорит: «Прощай». А тот ухватил его за руку и не пускает; раздается визг. «Что такое?»

— Прощаемся, — говорит Тимоха. — Он, — говорит, — подал мне руку, а я не пускаю.

Это он передразнил меня и Наталью Алексеевну, которая только что была у меня. Мы поздоровались с ней за руку. Бедовые мальчуганы!

Я пишу и смеюсь при воспоминании о их разных штуках. Например, сегодня была диктовка у нас, и один, Бондаренко, писал на классной доске. На нем была надета торбинка[90]. Потом он подошел к Ивану Шевченко и стал к нему боком. Шевченко взял свой грифель и закрутил его на спине у Бондаренко в веревку, на которой висела торба.

Бондаренко не знал этого и не почувствовал. Он отошел от него. Тот как закричит:

— Надежда Даниловна! Бондаренко мой грифель взял!

А тот растопырил руки и в недоумении, почему тот так уверенно на него говорит. Я заступилась за Бондаренко. И вдруг у него на спине грифель оказался. Все, конечно, засмеялись, и я не могла сохранить серьезность, а Бондаренко оказался нечаянным вором.

10-го марта. Сегодня собралось только 20 учеников, по причине грязи. После класса кто-то из старших учеников опять затеял разговор о том, что я «дуже смирная», т.е. в смысле того, что не наказываю их и что поэтому они плохо учатся. Бывало, говорит, придешь домой да зараз за книжку, а теперь не выучил так ничего.

Я говорю им на это:

— Значит, вы не хотите учиться, и не нужно. Из-под палки же немногому научишься. Вам не нравится, что я не дерусь, не ругаюсь — попросите отцов, чтобы они похлопотали о другой учительнице, которая делала бы с вами то, что вам хочется!

— Мабуть, — говорят, — попросим, так нам никакой не будет.

— Нет, — говорю, — как не будет — будет.

— Та, нет, это мы так тільки балакаем, и вы нам любы, тільки дуже смирны! А мы даром, что большие, та хуже малых.

— Ну, я же в этом не виновата, — говорю, — вы знаете, что худо и что хорошо, и в вашей воле делать то или другое.

— Та мы ж тільки балакаем, нам не треба другой учительши.

Я говорю:

— Вы привыкли к другому обращению, чем мое. Ну, что ж делать! Я не обижусь на вас, если вы прогоните меня, я только пожалею вас.

— Ни треба, ни треба... — закричали.

Тем и закончился наш разговор.

11-го марта. Ученики у меня с каждым днем убывают, а после Пасхи ни одного не останется, так что я буду без дела. Начинаю подумывать о том, что буду делать летом. Мне хочется устроиться так, чтобы чем-нибудь в это время быть полезной крестьянам.

Марья Алексеевна, в минуту откровенности, объяснила свою холодность ко мне тем, что я будто бы даю им чувствовать, что они козлища, а я принадлежу к овцам. Я ей сказала, что я не знала про такое деление людей. Почему она это вообразила? Быть может, потому, что они своим присутствием как будто связывают языки всем моим гостям, да и мне самой.

12-го марта. Мой совет Балюкову — не писать таких писем, как он мне прислал, оказался действительным. Он прислал мне второе письмо без всяких нежных прилагательных и свою просьбу выразил просто. Просьба его состо-

ит в том, чтобы объяснить ему происхождение дробей и действие над ними. Сегодня я послала записку отцу одного ученика (ему 18 лет); прошу его содействия для усмирения его сына. Все им тяготятся, всех он бьет, и притом, когда станешь говорить с ним серьезно, он начинает строить из себя дурака. Маленькую сестру свою не щадит даже. Это тот самый, который говорит, что я дуже смирная. Словом, привыкший учиться из-под палки, теперь ее нет, вот и дурит, скучно ему.

13-го марта. Записка подействовала — присмирел малый. Хлопцы задирают уже сами его, но он говорит: «Я теперь смирный» и никого не трогает.

14-го марта. Семен Попеченко пришел и начал мне передавать, что дядька его сердился на меня, что у меня в школе не ученье, а смертоубийство и что он сам придет и расправится по-своему. И что все это он велел мне передать. Меня вскипятило это немножко, но я все же не совсем доверяла словам этого хлопца. Сейчас же оделась я и попросила показать мне, где его дядька живет. Отправились в хату мы, приходим — в хате темно, женщина колышет люльку, а Никон (ученик, брат хозяина) топит соломою печку. Дядьки Федора дома нет, пошел за водой. Я подождала. Наконец, вошел в избу высокий, здоровый мужик с симпатичным лицом, на первый взгляд. Мы очень дружелюбно поздоровались, и я сейчас же приступила к делу — к разъяснению переданных мне его слов. Оказалось, что Попеченко переврал и придал его словам другой смысл. Он же недоволен был, главным образом, тем, что брат его приходит то весь в грязи, то в крови. Но я ему говорю, что я не могу за ними усмотреть вне школы, но что в школе я всеми силами стараюсь привить к ним товарищество и любовь. Прибавила еще, что одной мне трудно это сделать без помощи родителей, что мы должны действовать заодно, и тогда общими силами нам будет легче воспитывать. Он согласился со мной. Рассказал мне про свою жизнь, проведенную в чужих людях, в работниках. «И вот, — говорит, — только три года, как я своим домом живу. Хоть иной раз и холодно, и голодно приходится, а все лучше на воле, — говорит». И так мы долго беседовали. Он был очень рад, что случай свел нас; я тоже. Приглашал меня заходить к ним.

15-го марта. Завтра мы не будем учиться — Лазарево воскресенье. Сегодня я читала в школе из Евангелия Иоанна про это событие. Все слушали с большим вниманием. Я всегда предварительно спрашиваю, хотят ли они послушать Евангелие, и если следует общее согласие, то читаю. Раз случилось так, что во время чтения Евангелия один из них засмеялся над чем-то; я сейчас же, не докончив, прекратила чтение и сказала, что читать Евангелие и смеяться нельзя. Все притихли. Но спустя мгновение, начали укорять виновника, что из-за него и они не могут слушать Евангелие.

Сегодня начали поговаривать: как-то со школой им расставаться? Не хочется, жалко. Мне было приятно это слышать, значит, не будут бежать из школы, а в школу.

17-го марта. Сегодня у меня весь день народ, то один, то другой, беспрерывно, и последний только в 9 $^1/_2$ ч[асов] вечера ушел. Мне хотелось подробно написать о сегодняшнем дне, но чувствую, что так много всего было, что я не разберусь во всем и не сумею передать бумаге того, что я чувствовала и чувствую. Вчера я весь день провела у помещика, и поэтому хлопцы, сколько раз ни пытались придти ко мне, заставали замок на двери. Сегодня же, только что обедня отошла, как они прибежали, и в числе их несимпатичный для меня Попеченко. Ему скоро наскучило, и он все звал других детей, но они не шли, говоря, что «мы и так давно не видали Надежду, иди себе». Наконец, он ушел, и мне приятно стало; мы начали говорить о разных разностях, а потом Никон попросил меня прочитать ему что-нибудь. Я прочла ему несколько коротеньких рассказов из «Родн[ого] Сл[ова]», ч[асть] 2-я. Потом мы пошли в лес и стали играть в жгуты[91]. Они были очень довольны, что я принимаю участие в их игре. Пришли домой. Сейчас же вслед за нами пришел Степан, принес книжки.

18-го марта. Сегодня я очень устала, — помогала одному мужику шить черкеску[92], — и думаю, как бы добраться до постели. Школа моя совсем разбрелась. Сегодня было только 10 человек, а завтра, может быть, и этого не будет. В школе холодно, несмотря на весну, так что мы занимались в моей хате и сидели кто на чем: кто на полу, кто на кровати, кто на чемодане, — словом, кто как мог и умел примоститься. Не совсем удобно, но все же приятнее, чем мерзнуть в холодной школе.

11-го апреля. Я уезжала на праздники в Ольгино. Возвратясь, очутилась совсем одна. Дуня на панской работе. Тоскливо. Кругом работают, а я не знаю, как куда прилепиться. Хожу из угла в угол да цветочки собираю, и не хочется мне делать то, что есть, и мне стыдно, я стараюсь скрыться от людских глаз; и будет стыдно, пока не будет у меня в руках действительной работы, а не такой, которая служит только для убаюкивания совести.

6-го мая. Вот когда взялась опять за свой дневник! Хлопцы мои, мало-помалу, стали убывать еще с 6-й недели великого поста; кого наняли в погонщики, кого пастухом, а кто и в своей семье нужен для исправления той же обязанности. На второй день страстной недели 10 человек явились и только для того, чтобы сдать книги. И вот осиротела я совсем, нет никого. Дуня, и та ушла на работу, осталась я одна праздною, среди работающих неустанно. И мне стыдно, стыдно показаться на глаза этих людей. Я бегу с глаз их. При этом вспоминаю справедливое замечание Л[ьва] Н[иколаевича], что праздные люди стараются устроить свою жизнь так, чтобы как можно реже попадались им глаза эти работающие люди, которые служат им живым укором и не дают покоя их совести, если она еще не утеряна ими. Но и скрывшись от них, видишь бесполезность такой жизни и придумываешь, что делать? А придумывать дело — разве нормально[93]?

Через несколько дней пришла ко мне бабушка самого способного и сим-

патичного мне ученика. Я ее приняла с радостью, и мы вместе напились чаю. Она благодарила меня за те труды, которые, как она думает, я положила на ее внука. Потом, узнав несколько мою биографию, она начала сватать меня за своего сына. Я ей не дала никакого определенного ответа, так как я ее сына и в глаза не видала, но меня ужасно обрадовало то, что этим она дала мне понять, что я гожусь и в члены крестьянской семьи. Мы сразу друг друга очень полюбили. И я большое значение придаю ее словам, так как они были сказаны серьезно и с любовью.

20-го мая. Вот уже неделя, как я опять в Городищах[94]. Все это время[95] я была в Ольгине; несмотря на то, что жизнь там идет относительно праздно и меня не удовлетворяла, но я поддалась чувству обоюдной любви всех моих ольгинских друзей, и мы так сжились все, что нам трудно расставаться. А между тем, я знала, что мое место в Городище, что в Ольгине не следует так долго жить, так как это вредит моим отношениям с здешними крестьянами. Они меня совсем мало видят, и я даже не участвую на их главных праздниках, как будто чужая — более чем чужая (в их глазах), потому что из окрестностей и то стекается народ, а я, своя, бегу. Но я не люблю этих торжеств, сопровождаемых водкой, и хуже всего то, что на них всегда чувствуется какая-то натянутость и все становятся сами не свои. А в это время, пока я жила в Ольгине, я избежала городищенский храмовый праздник[96]. Меня все ждали к нему и, конечно, может быть, и нехорошо, что я не была, так как около моей хаты, главным образом, было стечение народа — был общий обед. Но что прошло, того не воротишь. В Ольгине я начала учиться оспопрививанию, имея в виду общение с народом посредством этого. Но, обдумав, я пришла к тому, что это, пожалуй, будет отталкивающим средством, так как они избегают оспопрививания. Это — только предположение и потому надо лучше проверить на практике и тогда уже делать выводы.

26-го мая. (Воскресенье). Сегодня я, в сопровождении Феклы, отправилась в хутор Шевцов[97] навестить своих школьников. При входе в хутор, смотрю Сем[ен] Шевцов пасет овец. Поздоровавшись, поговорили, я спросила, дома ли бабушка (та самая, которая сватала меня). — «Дома». — «Ну, пойдем к ней. Подходим к хате — она хлопочет по хозяйству: гуси, цыплята, свиньи и пр. скотина увивается около нее, в числе увивающихся и два внучка ее. Она же, в грязной рубахе и в запаске[98], низко подпоясанной, поспевает всех удовлетворять. Встретила она нас очень радушно; сейчас же позвала невестку, которая тоже занята была чем-то, но пришла веселая, полная жизни. Я у них довольно долго просидела, и мне не хотелось уходить. Когда я шла от них, другие хлопцы увидали меня и прибежали с поля, попросив кого попало заменить их ненадолго. И так я принуждена была зайти еще в три хаты. Все с таким радушием приняли меня! И видно, что это у них искреннее, а не напускное, они просто не знали, как меня ублаготворить. В одной хате заставили-таки меня

пополудновать[99]. Поставили пирогов с картофелем и чудесного меду с паляницей. Кроме сестер, матери, сели за стол два молодых (только что женатых) брата моего ученика. Один бойкий, а другой очень застенчивый, так что у себя дома, а его угощают: «Кушай, да кушай, Алексей». Наконец, я тоже отделалась от угощений, съев меду и паляницы. В воскресенье они, вероятно, мне отдадут визит, так как уже несколько раз приходили, но меня все не было дома.

27-го мая. Пришли два хлопца учиться. Надо учить. Только самые несимпатичные — сын дьячка и сын кабатчика. Первый ужасно нахальный и ленивый, а второй — жеманный; с виду тихий, смирный, а исподтишка балует. Но я надеюсь их сбыть скоро с рук; первого — чтобы сдал на свидетельство в будущем году, если будем живы, а второго просят выучить на счетах считать — и только.

28-го мая. Жизнь моя теперь идет очень однообразно и, между прочим, трудно сказать, что я делаю. Принялась за пополнение своих знаний по арифметике и по естественным наукам, так как мне не раз приходилось отказывать в ответах по незнанию. Крестьяне же очень лестного мнения об училищах и учительницах, а я своим незнанием буду подрывать это мнение. Но ужасно тоскливо одной жить, так и тянет куда-нибудь, где люди. У Николаевых я иногда бываю, у них теперь постоянно гости.

Я не могу им сочувствовать и смеяться над тем, над чем они смеются. Мне первый раз приходится бывать в таком обществе, и мне грустно становится. Но я рада, что Марья Алексеевна чувствует эту пустоту и устает от нее. Я стараюсь быть больше с детьми; хотя смотреть на них тоже неутешительно, но с ними можно почитать, поговорить относительно прочитанного и поспорить, так как у них есть уже свои взгляды, соответствующие всему складу семьи.

30-го мая. Был сильный дождь с грозой, мне же предстояло идти домой от помещика. После дождя дети тоже пошли со мной, провожать меня. Придя домой, я застала свою хату в плачевном состоянии — дождь бил в стену, и образовались громадные потоки, и все книги мои пострадали немножко, окрасившись в грязно-белую краску.

31-го мая. Николаевы предложили мне обедать у них. И вот сегодня я у них опять была и застала сцену, когда мужики пришли просить отдать им быков. Они, по обыкновению, все готовы сделать — стать на колени и кланяться в ноги, лишь бы умолить пана. Николаев очень рассердился и стоял на том, чтобы они принесли 10 р., тогда пускай берут волов, но видно было, что ему очень трудно выдерживать и он сейчас бы отдал их; Мар[ья] Алекс[еевна] тоже в волнении и говорит, что «это пытка, что не знаешь с ними, что делать, чтобы они не пасли на чужом поле».

Николаев обратился ко мне и говорит:

— Ну, что вы прикажете тут делать? Не противиться злу! Что же их не штрафовать? Так тут и житья не будет.

Я говорю:

— Штрафами вы не уничтожите этого зла. Я бы простила их на вашем месте и сегодня, и завтра, и послезавтра. Но я все же не упустила бы случая — поговорить с ними и словами подействовать на них.

— Да, убедите вы их! Я пять лет убеждал, и вот видите, какой результат.

1-го июня. Придя к обеду, узнала, что волы отпущены без денег.

Весь день занималась своим маленьким хозяйством — все мыла, чистила, лучину наготовила, самовар вычистила, сахар наколола, белье починила и пр. и пр.

Больше обыкновенного повозилась и потому надеюсь уснуть скорее, а то последнее время бессонница одолела.

2-го июня. (Воскресенье). Пришли два хлопца покупать книжки. Я знала, что их волы попались, и говорю:

— Зачем вы пасете в лесу?

— Люди пасут, и мы пасем.

— Ведь ты знаешь, что пан не велит там пасти?

— Та знаю, — говорит.

— Так зачем же ты на людей смотришь, коли сам знаешь, что этого не следует делать?

— Что же станешь делать, коли негде пасти?

Пришла женщина из хутора Шевцова, просить написать письмо зятю-солдату и принесла пять яиц. Как я ни отказывалась от них, но пришлось взять.

9-го июня. Встала с мрачным настроением духа. После обедни пришел дурачок (живущий у Николаева и служащий ему забавой) и попросил дать ему чаю. Наконец, он ушел. Пришли хлопцы, человек 10, ученики и будущие ученики. Я им прочла «Кавказский пленник»[100] и «Дуняш[к]а и 40 разбойников»[101]. Первое больше понравилось. Второе вызвало восклицание: «Вот яка хитрая Дуняшка».

Потом они сейчас же пошли выгонять своих волов, так как время отдыха их кончилось, они воспользовались им, чтобы прибежать ко мне. Трое были с хутора.

Остальное время я провела за книгой, никуда не выходила. Вечером, в 9 часов, вдруг слышу, кто-то бежит к моей хате. Оказывается, еще два хлопца спохватились посетить меня. Они мне рассказали, что у них есть такая игра, что нанимают косарей, и эти косари должны палками сбивать молочай. Я им нарезала кружков бумаги, которые должны изображать деньги, так как они стали подбирать бумажки для расплаты со своими товарищами.

10-го июня. Утром, только что встала, смотрю, катит тройка, и ко мне приехали из Ольгина мои друзья и учитель. Я была очень рада, но одна из них меня смущала; я знаю, что она очень взыскательная как постоянная житель-

ница Петербурга[102], а у меня ничего нет. Но устроилось лучше, чем я думала; пошли в лес, сварили кашу, яичницу и чай.

Ольгинский учитель, сверх моего ожидания, принимал очень деятельное участие в моих хлопотах. Вечером они поехали и захватили меня с собою. Я была рада избавиться от своего одиночества, к которому я никогда не могу привыкнуть.

Часть II. Сентябрь 1885 – май 1886 г.

28 сентября 1885 года. Вот уже четыре дня прошло, как я возвратилась в Городище[1], и мое намерение с первого же дня прибытия начать свой дневник осталось неисполненным. Об этих четырех днях я хочу записать в общих чертах и, таким образом, положить начало дневнику.

Когда я приехала, хата моя была заперта и окна были заколочены досками. Я пошла за ключом; Фекла очень обрадовалась мне, но вместе с тем, как будто я ее врасплох застала. Оказалась, что она давно не топила хату и еще не вымазала ее. При входе в нее меня обдало сыростью и холодом, и кроме того, везде грязь, пыль, словом — полнейшее запустение. Долго я не могла даже напиться чаю, потому что ничего не оказалось на месте: ни самовара, ни посуды и проч. Я отправилась к помещику и, придя домой в 7 час. вечера, залегла, не раздеваясь, спать (постель как будто смочена была, до того сыро было).

Все эти дни я употребила на приведение в порядок своей хаты и своего хозяйства.

Хлопцы сейчас же узнали о моем приезде, и кто мог, не дожидаясь праздника, пришли; а в праздник после заутрени пришли хуторяне, а потом и наши слобожане. Все, очевидно, рады, что я приехала, как будто вносишь в их жизнь что-то, а некоторые, которые постарше, говорят: «Слава Богу, приехали! уж мы дожидали, дожидали вас». Борису, сыну Феклы, я дала на днях книжку: «Упустишь огонь — не потушишь»[2]. Он ее прочитал; вчера пришел и начал мне рассказывать. Он так рассказывал, что можно было подумать, что он рассказывает про своих соседей, а не про тех, Ивана и Гаврилу, о которых он прочел в книжке. И притом у него есть манера припоминать и спохватываться, что часто случается со всеми, кто рассказывает из виденного и слышанного, и это выходит еще естественнее. Он особенно отметил слова деда: «А дід, — говорит, — правду им казал...» и продолжал словами деда, и, видимо, эти слова особенно запали ему в душу.

Сегодня вечером я пошла к Фекле с намерением почитать. У нее были сын и дочь и еще один молодой парубок.

Я сначала прочитала «Вавило» Острогорского[3], а потом «Дядя Тит Антипыч»[4]. Первая не произвела особенного впечатления, а по окончании второй, сказали: «Ловкая книжечка».

29-го сентября. После заутрени, мы только что успели прибрать в хате, приходит Фекла с одной женщиной с хутора (у которой я была в гостях). Обменявшись обычными приветствиями, она прямо приступила к делу, а именно: купить у нее скатерть. Я купила. Потом она стала рассказывать, что ее сын все рвется ко мне, а некогда, вот уже в Покров, говорит, Бог даст, приедет.

Перезвонили во все колокола, и они пошли к обедне, а я поставила самовар и стала читать Евангелие. Погода была сегодня хорошая; напившись чаю, я пошла в лес и читала Толстого, за чтением последовало обсуждение своей жизни.

Раздумывая таким образом, я пришла домой. Вслед за мной пришли 5 хлопцев. Один (Никон) был очень разговорчив и рассказывал о разных своих летних приключениях. Мы все смеялись до слез. Он рассказывал, не стесняясь и употребляя самые откровенные выражения, которым он не придавал того значения — что их стыдно употреблять: он относился ко всему очень просто. Другие же хлопцы были не так просты, и, очевидно, им было стыдно за него, и они закрывались, когда он становился так откровенен. И они как будто ждали, что я сделаю ему замечание, но я не нашла нужным, так как все это говорилось просто. Наконец, он, облокотясь на стол, задумчиво сказал:

— Много чего перебывало за лето, а вот теперь сидим у вас здесь да рассказываем.

30-го сентября. Встали мы сегодня в 6 $^1/_2$ ч[асов], убрали хату, напились чаю и отправились в лес, дрова собирать. Дуня набрала небольшую вязанку, а я немного побольше. И вот мы взвалили на плечи и несем. Я прошла 10 шагов и остановилась: вязанка моя съехала с плеч, и я никак не могла ее снова взвалить; наконец, кое-как взвалила и опять не более 10-ти шагов прошла и выпустила из рук. Дуня же давно уже ушла вперед меня. Потом я уже пробовала так тащить, не взваливая на плечи, но в 20-ти шагах от хаты остановилась и никак не могла отдышаться, сердце заколотилось, все тело трясется. Наконец, я едва дотащила до места и с полчаса отдыхала. Я спросила Дуню, что она чувствует, пронеся вязанку? Оказалось, что она устала не меньше меня и что у нее также все внутри трясется и в особенности руки. Тогда мне легче стало в том отношении, что моя непригодность не так уж велика.

Я эти два дня питалась одним хлебом и чаем; сегодня мы сварили, с помощью принесенных дров, картофель и с большим аппетитом дружно поели его. Перед вечером отправились с одним ведром (другого нет) за водой. Придя к колодцу, думали, что достанем руками зачерпнуть воды, но руки наши оказались коротки. Что делать? Дуня сейчас пошла к дереву, достала самородное коромысло, и мы, добыв воды, надели на палку ведро и притащили. К чаю пришла мать и ее брат. Я прочла им первый рассказ из «Россказней Ваненко»[5] — как парня московские вороны раздели донага. Им он очень понравился. Этот рассказ очень поучителен для Бориса, так как он все стремится в город.

1-го октября. Сегодня утром, в 5 ч[асов], я слышу, вдруг кто-то кричит у окна: «Здорово!.. здорово!» Голос мужской. Я подошла к окну и спрашиваю: кто там? В ответ на это слышу: «Есть водочка?» Вместо ответа я его послала дальше.

Дуня в этот день собиралась на ярмарку и сейчас же встала и пошла в соседнюю слободу[6]. Нужно заметить, что у нее в кармане было только 10 коп., и для того, чтобы их затратить на ленточки и бублички, она отправилась за 7 верст. Она пошла, а я принялась за хозяйственные хлопоты по хате. К окончанию заутрени я уже совсем управилась. Пришла опять та женщина, которая продала мне скатерть; денег я ей еще не отдала. Поздоровались, я ее и спрашиваю: за грошами пришли?

— Ни, — говорит, — хиба за грошами тільки и приходят? Я принесла вам гостинчика.

И дала мне пять яиц. Я поблагодарила и просила ее заходить без гостинца.

— Да я, — говорит, — не смею вас.

— А я вас не смею, — говорю; что же мы будем вместе жить да бояться друг друга? Будем лучше друг друга навещать, ближе познакомимся и перестанем бояться.

Обедать я пошла к помещику. У них были гости — старики, дядя и тетя. После обеда между ними зашел разговор о том, что народ пьянствует и развращается, искали причины этому. И нашли ее в том, что народу дана слишком большая свобода и что теперь ни перед кем у него нет страху.

— Развитие его, — говорят, — ни вперед, а назад идет. От них я пошла к Фекле и там только отвела душу, побеседовав с ними о самых простых вещах, которые Борис пересыпал своим юмором.

3-го октября. В 6 ч[асов] утра пришел печник чистить трубу; вслед за ним пришли пять баб хату мою мазать. Я только что успела кое-как встать, как они все нагрянули ко мне. Печник, вычистив трубу, обратился к одной бабе, прося ее скорее замесить глину, но она строптиво отказала ему в этом. Он еще раз попробовал попросить, но она опять заворчала.

— Ну, сердита же ты, бабка!

Я вступилась и сказала бабам:

— Ведь вам все равно сейчас придется месить, а ему нужно только маленький комочек.

— Да оно все равно, да не одно, — и никто не пошел месить.

Потом пришел прикащик — симпатичный мужик, брат Феклы. Поговорив о мазаньи хаты, мы скоро перешли к школьному вопросу и к вопросу о пользе грамоты. Я спросила его: как на его взгляд, что приносит грамота — вред или пользу?

— А як же можно, конечно, пользу. Грамотного труднее обдурить, да и все он дюже понимает.

— А вот, — говорю, — некоторые говорят, что грамота вам ни к чему; так как страху для вас никакого нет (как во время крепостного права), то вы теперь стали больше пьянствовать, воровать да семьи свои обижать.

— Это, — говорит, — они потому так говорят, что мы стали больше понимать, а это им не нравится. У меня, — говорит, — большая охота учиться, да время нет, так, знаю кое-что, да плохо. Вот в арифметике тоже сложение могу сделать, а уж вычитание, умножение не сделаю. А саму-то арифметику я всю знаю.

Под «арифметикой» он подразумевает таблицу умножения. Мало-помалу он пододвинулся к столу (на котором у меня постоянно лежат доски и грифеля), взял доску, грифель и стал писать какие-то цифры. Я вижу, что ему хочется, чтобы я ему показала кое-что, но он ничего не говорит; я приступила к нему, спросила, что он знает, и объяснила два действия — вычитание и умножение. Я хотела объяснить и деление, но он остановил меня.

— Деление, — говорит, — не так нужно, а вот главное умножение, это часто приходится делать при измерении земли. А неумение на бумаге сделать — трудно; думаешь, думаешь — и все кажется не верно. Я еще когда-нибудь приду к вам поучиться.

Потом стал он часы мои рассматривать, а я и говорю: что вот, мол, какие теперь часы стали делать, что показывают и часы, и дни, и число, и месяц.

— Все, — говорит, — это выдумывают, чтобы деньги только брать.

Ответ очень хорош.

3-го октября. В настоящую минуту чувствую себя очень, очень счастливою и хотелось бы всех втянуть в это счастье и поведать им все то, чем полна теперь моя душа. Дело в том, что сейчас моя хата была полна людей: мужиков парубков, детей и дівчат. Они идут сами ко мне, вот это-то меня и радует, радует, что они принимают меня в свою среду. И сколько между ними хороших людей! Думаю, что не увлекаюсь, а смотрю настоящими глазами. Помню, кто-то из друзей сказал, что нам все же приходится заставлять себя посидеть и поговорить с этими людьми. Я не согласна: я не заставляю себя; мне хорошо с ними. Я не люблю только какой-либо натяжки во всякой среде и потому избегаю тех случаев, когда это может случиться.

Сегодня так много всего было и так много разных впечатлений, что я не знаю, как их и записывать. Много было разговоров, которые полностью не передашь, а чуть-чуть только выхватишь из них, а этого мало.

5-го октября. Вот уже два дня ко мне приходят учиться две дочери священника[7]. Я с ними занимаюсь с 10 до 12 час. Одна их них окончила на свидетельство в школе, но пишет очень неправильно, задачи тоже плохо соображает. В школу же отец их не хочет посылать почему-то, а я не настаиваю, так как они барышни, которые сторонятся от грязных «мужиков», а в такой тесной школе, как наша, им пришлось бы сидеть с ними рука об руку.

6-го октября. У Николаевых живут портной и горничная девушка, и вот

они хотят пожениться, но как у одного, так и у другого ничего нет, кроме постоянного труда, который и кормит их. Все осуждают этот брак и пророчат им разные бедствия. А они совсем не думают о будущем и живут настоящим. Я же очень рада за них, так как они строят счастье свое не на деньгах, как большею частью бывает. Положим, часто бывает, что не на что и свадьбу сделать, как сыну Феклы, который хочет жениться, тоже не имея ничего, да 20 руб., нужных для свадьбы, не может раздобыть. Вот хоть и не женись.

Вечером, идя от Николаевых, я зашла к Фекле. Села с ней на присну[8]. Месяц и звезды рассыпаны по небу; погода чудесная. Я с ней что-то весело говорила и смеялась. Вдруг кто-то подходит: «Здорово, — говорит, — я думаю, кто се такій, что весело балакает; взглянул в вікна, світа нета, що се таке! а бач, вони где вулицю завели!» Это Павло Карпенко — ее сосед. Потом, немного погодя, подошла какая-то женщина да еще два мужика. Посидели, поговорили; они разговаривали больше промеж себя, а я только иной раз спрошу о чем-нибудь; все больше говорили о свадьбах да кто у кого сватает. Время свадебное, так что теперь только об этом и говорят. Мне не хотелось уходить, но Фекла сидела без свитки и озябла. Я пошла домой, но она, одев свитку, непременно захотела проводить меня. Мы пошли, а мужики остались у ее хаты. Отойдя шагов пять, она закричала на них, чтобы они уходили. Они, несмотря на ее повелительный тон, оставались. Я спросила ее, зачем она их гонит?

— Да Борис сердится, что у меня всегда полна хата народу!

— Так что же такое? Тем лучше. Ведь с людьми лучше и веселее жить? Значит, ты их привитаешь[9], — говорю, — что они к тебе идут; и ты придешь — тебя привитать будет каждый, вот и хорошо. А что же будет, если мы только себя будем знать да любить, а других гнать? Ты и Борису скажи так, а не потакай ему в дурном.

— Оно так-то так, Надежда Даниловна, оно истинно так, да что с ним сделаешь: як схочат, так и роблят, а маты тілько мовчить[10]!

Сегодня опять ходили за дровами, но опыт уже научил нас, и мы вместо одной вязанки принесли по две. Вязанки были по силам нам, и мы нисколько не устали и хотели отправиться за третьей, но дождик застиг нас и загнал домой. Придя домой, я стала играть и запела песню:

Жито, маты, жито, маты, не полова[11];
Чом дивчину не любити, вона черноброва.
Гей, я сама не знаю, що чиниты маю,
Чи плысти, чи брысти, сама не вгадаю.

А Дуня посмеялась надо мною, что запела ни с того, ни с сего.

10-го октября. Утром сегодня пришел Осип (парубок) с просьбою дать ему карандаш и книжку. Я попросила его сесть, но он все колебался: «Я постою, ничего!» Наконец, мне удалось его упросить, и он сел и начал рассказывать о прочитанных книжках.

— Я, — говорит, — взял у Бориса книжечку вашу про Авдеича[12] — мне понравилось! А что это правда, что Христос обещался к нему придти? Он, — говорит, — все ждал Его.

Я сказала ему на это, что, читая Евангелие, Авдеич вникал в каждое слово Христа, так что ему показалось, что Христос сам лично беседует с ним и даже обещал придти к нему, как ему показалось.

— А как же потом ему какой-то голос стал говорить, что когда он напоил чаем одного мужика, то это Он, Христос, и был, и еще когда он мальчишке купил яблоко и заступился за него, и бабу с ребенком отогрел — все это разве правда, что Христос был?

— А помнишь, — говорю, — то место в Евангелии, которое в это время Авдеич читал: «И взалкал[13] Я, и вы дали Мне есть... И так как вы сделали это одному из братьев сих меньших, то сделали Мне». Вот это-то место Евангелия и объяснило ему сон его и открыло ему, что Христос был у него уже несколько раз.

— Так, значит, все эти добрые дела он сделал Богу?

Я предложила ему взять «Деда Софрона»[14], но он почему-то не захотел взять ее. Он увидал там очень много знаков, и особенно пугают его многоточия. Он взял биографию Кольцова[15] и Агасфера[16].

— Я, — говорит, — страсть люблю стихи читать. Вот я у вас брал книжку со стихами, так страсть хорошие стихи! (Это «Любимые стихи»[17]). А то у Ивана Васина тоже ваша книжка со стихами, так я раз пришел к нему вечером и начал читать, так прямо оторваться нельзя, страсть хорошая!

Это он отзывался так о «Сочинениях Пушкина для народных школ»[18]. И, в конце концов, он еще по воспоминанию излил свой восторг от книги «Милости хочу, а не жертвы». Уходя, он попросил еще третью книжку, а именно Робинзона в переводе Яхонтова[19]. Вечером я пошла с Дуней к Фекле читать. Взяла «Софрона» и «Два старика»[20]. Слушателями были: Дуня, Фекла, Борис и брат Феклы, Иван. Я начала читать «Софрона». Сходка всем понравилась. Меня поражало только то, что драматические места, когда я едва могла читать от спазм в горле, у них вызывали смех. Им смешно показалось, что дед так хлопочет о сапогах, что Дарья бредит, что на Софрона кричит Филалей, как на мальчишку... Я кончила, они стали перебирать разные эпизоды из этого рассказа. Поговорив, они попросили еще почитать; я начала «Два старика». Прочитав эпиграф, я заметила, что интерес их вследствие этого эпиграфа удвоился[21]. Я прочла три главы, обещав дочитать завтра, так как, видимо, они утомились уже: «Вот эта книжечка славна, мабуть, будет!» — сказал Иван.

Стали они вечерять. Мать сварила суп с курицей, а обыкновенно у них кроме хлеба, картофеля и воды, ничего нет; так что, если им приходится есть что-нибудь другое, то они отчаянно смакуют, приговаривая: «Добрая юшка[22]! коли бы всегда iсті так! добрая юшка! умирать не надо!» и т.п. Сначала меня всегда как-то коробило это смакование, но потом я поняла, что это очень есте-

ственно. Сев вечерять, Борис начал упрекать мать и выговаривать ей, что она с соломой варит. Они повздорили. Я старалась их умиротворить. Мать сказала:

— Спасибо, что Надежда Даниловна тут, а то бы ты не дал нам с Дуней и поесть-то. Это он при вас еще смирный, — сказала она, обращаясь ко мне.

— Я очень рада, — говорю, — что мои слова недаром пропадают для него, и все от того, что между нами любовь. Будь между вами любовь, и вы бы мирно жили.

Словом, я начала им объяснять, отчего они не живут в ладу, а постоянно ссорятся. Мать вполне соглашалась со мной, что все они виноваты в этом, но Борис старался всю вину свалить на мать и упрекал ее во всем. Я ушла с Дуней.

11-го октября. Идя с панского двора, я встретилась с Николаем Кузнецовым, сын которого, Петр, прошлый год учился у меня в школе. После приветствия, он рассказал мне, что ходил за какою-то особенною солью, которою лечат заболевшую скотину. Окончив говорить по этому поводу, я спросила его, будет ли сын его ходить и нынешний год в школу:

— Треба, — говорит, — вам, Даниловна, магарыч купить, чтобы вы его лучше да построже учили.

— Я, — говорю, — ни за какой магарыч не буду лучше учить, чем учу, и ни за какой магарыч не соглашусь наказывать своих учеников. А если вам не нравится, как я учу, то не отдавайте сына или ищите себе по вкусу другую учительницу. (Я уже второй раз говорю с ним по этому поводу).

— Да нет, — говорит, — я только говорю, чтобы построже, иной раз и поскубить[23] можно, они и будут бояться.

— А вот этого я и не хочу; я хочу, чтобы они меня не боялись, и тогда только можно учить.

— Да он вот целую зиму проходил, а псалтыря не учитает.

— Целую ли он зиму проходил, вспомни-ка? Вы его постоянно отрывали от школы, а требуете, чтобы не было упущения в его учении.

— Это правда, правда, что мы его не дюже старались посылать.

— Ну, вот, видишь!

— Ну, уж эту зиму пускай ходит, мы его не будет заставлять по дому работать. Я теперь сам буду.

— Ну, вот это дело; тогда и спрашивай успехов.

Мы расстались.

Придя домой, мы напились чаю. Фекла тоже пила с нами. Я не пошла сегодня к ней читать, а они все пришли ко мне, да еще привели одного с собой, который невидимо для нас (под окном) слушал все, что я читала у Феклы. Дочитала я «Два старика». Окончив, я ждала, что они скажут помимо моих вопросов, но они молчали. Я заметила, что посреди моего чтения Фекла собралась было уходить домой, но ее, вероятно, заинтересовал рассказ, так что она, одевшись в свитке, простояла до конца рассказа. Потом, немного погодя,

Иван отозвался: — Хорошая книжечка! — и у него заблестели глаза. — Вот кабы сам умел прочитать!

— За чем дело стало, — говорю, — приходи, научу.

— Я приду, да придется ли доучиться. Меня, мабуть, осенью возьмут в солдаты?

— Приходи, успеешь.

Он, видимо, очень рад.

— Покрутитесь вы тілько со мной!

Иван этот уже семейный человек, у него есть жена, дети.

Потом стали они просить меня что-нибудь сыграть им. Я отказывалась, потому что не умею я ничего играть по их вкусу — они больше всего любят плясовые или песни залихватские. Я села и проиграла им штук 10 песен. Потом попросили, чтобы я по своему вкусу выбрала, что сыграть. Я сыграла «La Bergeronnette» Дрейшока[24]. Понравилось, но песни понятнее им.

Когда у меня был Василий, брат Феклы, прикащик, то он тоже просил поиграть песен. Я удовлетворила его желание.

— Ну, а теперь сыграйте что-нибудь из своего.

Я ему говорю, что ему не понравится, но он настаивал. Я сыграла из «Жизни за царя» две арии: «Ты не плачь» и «Чуют правду».

— А ваша музыка мне лучше понравилась, даром что не песня. Хорошо!

12-го октября. В 7 часов вечера Иван пришел учиться. Нарядился в чистую «чинарку»*, вымыл тщательно лицо и руки, и несмело, со страхом, пришел. Сказав «Господи благослови!», принялся слушать меня. Я не приготовилась к этому уроку и начала заниматься экспромтом. Его сильно смущало непонимание того, что я говорю, но я его ободряла и старалась яснее говорить. Он до пота старался, и наконец, в конце урока увидал, что труды его не пропали. Вслед за ним пришли также учиться Борис со своим товарищем, Грицьком, и Дуня к ним пристала. Так что сегодня мы положили начало домашней школе.

Позанявшись до 9 $^1/_2$ часов, мы начали разговаривать о чем попало. Борис же начал экзаменовать своего товарища в счислении. Я сидела на кровати и говорила с Иваном. Борис вдруг схватил меня за руку с намерением подвести меня к столу и показать ошибку Грицьки, и закричал: «Надежда Даниловна, Надежда Даниловна! Вин каже 345, посмотрите!» Я посмотрела. Написано было 3450. Все это пустяки, но мне нравится, что они начинают обращаться со мною, как со своею, и не считают меня барышнею, до которой нельзя дотрагиваться.

Читать сегодня не пришлось, но хоть одну песню, а попросили сыграть; я сыграла.

13-го октября. Уже перед вечером, я только что начала лучину щепать, приходит какая-то женщина, высокая, стройная и с симпатичным, умным лицом; видно по всему, что у нее громадный запас энергии. Она бойко загово-

* Чинарка, или короткая поддевка.

рила, приглашая меня на сватанье своей дочери (которую я немножко знаю), и попросила у меня бумаги какой-нибудь, чтобы сделать цветы к свадьбе. Я ей дала. Она много рассказывала о своем житье на Дону и здесь, о дочери, о женихе, и проч. Мужа ее я тоже знаю.

Только что она ушла, пришли Осип и Иван. Первый — так себе, поговорить, а второй — учиться. Осип принес показать мне книжечку, которую он выиграл* за 5 коп., на ярмарке где-то. Книжка эта под названием: «Рассказы Миши Евстигнеева»[25]. В ней три рассказа: 1) «Заколдованный портрет»; 2) «Потерянная квартира»; 3) «На днях». Цена 40 копеек. Ему ни один особенно не понравился, только первый, говорит, чудно́й, и он мне рассказал его. Рассказ глупый, но Осип не понял его совсем и не понял, что там один обманывает другого. Там попадается разговор о том, что можно сглазить или нет. Я спросила его: как, по его мнению, можно или нет? «Можно», — говорит. Тут у нас произошел длинный разговор, который привел его к тому, что этого не может быть. Осип стал читать какую-то из моих книжек, а я стала заниматься с Иваном. Он учится у меня второй день и знает уже 5 звуков. Сегодня он читал по букварю, и нужно было видеть его радость. «Эх! кабы Господь дал выучиться», — говорил он, и набожно при этом каждый раз крестился. Он считает уже себя обязанным мне и выдумывает, что бы для меня сделать. Я же говорю ему, что, уча его и других, я исполняю только свою обязанность.

Мы учились; вдруг торопливо входят Борис и Иван Лавриненко (новый ученик, вечерний), а за ним входят нарядные девушки, и одна в особенности: кругом головы все цветы, ленты и т.п.; кроме того, она поразила меня своею красотой, и особенно своими хорошими глазами. За ними вошло много детей, в том числе и школьники. Все — веселые, радостные. Нарядная девушка — невеста; она пришла приглашать нас на свое сватанье. Я поблагодарила, но не пошла, потому что была занята. Поучившись, мы, по обыкновению, стали разговаривать. Потом все ушли, кроме Ивана, который хотел еще почитать и поговорить. Он рассказывал мне про свое житье. Он живет с братом, у которого 5 человек детей. У них живы еще отец и мать — старики. С ними же жил раньше и третий брат, Василий (прикащик). И все они жили бы дружно и до сих пор, если бы не вздорный характер жены Василия. Во избежание неприятностей, он решился отделиться от них. И Иван в подробностях рассказал, как им тяжко было делиться.

— Сидит, — говорит, — это он на своем возу, та и плаче. А я взглянул на е́го, та и соби. Сидимо, та заливаемось. Так жалко, так жалко було, что и сказать не можно. Мій братко, Мирон, живе у пана в зроку, а я дома. А люди кажут, зачім я живу дома, що баче кормлю его дітей. А я сказаю, так е́го уважаю, так уважаю, все щоб ему лучше було, а він прійде, усе ругает, усе ругает міні; усе не так, усе не по е́го, а дома не хочет робить.

* На каждой ярмарке в нашей местности устраиваются лотереи без проигрыша.

Много, много он мне рассказывал. Но все это для него ничего, тяжелее же всего — в солдаты идти.

14-го октября. Сегодня мы очень рано пили вечерний чай, потому что Фекла пришла и говорит, что ей очень нездоровится и хотелось бы выпить чайку. Мы и поставили сейчас же самовар, и в 4 часа уже покончили с ним. Во время нашего чаепития входит какой-то крестьянин, здоровается, а на мое приглашение сесть и выпить чаю он застенчиво уклонился. Я не знала, к кому он собственно пришел: ко мне или к Фекле, так как Фекла его встретила, как знакомого. Оказывается, что этот крестьянин из соседней слободы и пришел попросить у меня книжечку, так как слышал, что у меня есть хорошие книжки, и некоторые из них уже попадали к нему помимо меня. Я ему дала: «Софрон», «Упустишь огонь», «Где любовь»[26], «Кавказский пленник»; читал же он «Чем люди живы», «Бог правду видит»[27] и «Христос в гостях»[28] — вот эти-то ему очень и понравились. Пианино мое открыто и на пюпитре лежали песни. Он сейчас же подошел и посмотрел, что за ноты. Увидал песни, и удовольствие разлилось на его лице. Я стала спрашивать его, понимает ли он ноты или нет? (Он певчий). Нот не знает. Учительница[29] учит их прямо с голоса, даже без всякого инструмента. Я с ним пропела две «Херувимские» Бортнянского[30]. Ему очень они понравились. Он очень расхваливал свою учительницу: что она очень проста и не делает никакого различия между собою и ими, что по вечерам с ними (певчими) очень много занимается: иной раз, говорит, до часу ночи, что она хорошо образовывает мальчиков, но что хочет уходить от них. Они просят ее остаться, а она посылает их к N.N.[31], чтобы они его попросили оставить ее. Сама же она послала прошение о перемещении, но сказала им, что если они попросят ее через N.N., то она, наверно, останется у них. Я не понимаю, какая у нее цель заводить эту канитель!

Вечером все пять учеников пришли. Борис пришел позднее всех и с заплаканными глазами, у него в стаде (панская череда[32]) пала одна телка и две больны; обвиняют его и, верно, побили. Учились с 7 до 10 часов. Ивану очень трудно дается грамота: я ему сегодня толковала, толковала, и сама устала. Лавриненко читает, но плохо, понимает плохо, пишет также. Но так как он учился по звукам у бывшего школьника, то с ним гораздо легче продолжать заниматься, чем с теми, которые учатся по азам[33]. Дуня лучше всех пишет и читает, но я ее еще ни разу не похвалила, так как она очень тщеславна. Лавриненко сегодня первый раз пришел учиться, и от волнения руки и голос все время дрожали у него; может быть, от волнения же он и не понимал, что читает. Иван же страшно напрягает свои мозги, так что это отражается и во внутреннем, и во внешнем проявлениях: пот выступает, и то живот заболит, то в холод бросает.

16-го октября. Фекла захворала. Я пошла к ней с чаем: она его очень любит. Застала ее топящей печь с какой-то жинкою. Ее всю разломало, и всюду колет: в бока, грудь, плечи; она не может ни вздохнуть, ни двинуться. А я

совсем не знаю, что ей посоветовать, что дать. Посмотрела только на ее страдания да подумала: у меня, наверное, никогда не будет таких болей.

18-го октября. Вечером я, в ожидании учеников, сидела и вязала чулок, издалека слышались песни, потом все слышней и слышней, и, наконец, у самой моей хаты замолкли. Двери распахнулись, и в моей хате очутилась целая толпа молодых девушек. Вперед выступила самая нарядная, это — невеста, и с поклоном заговорила: «Прохал[34] батько, прохала маты, и я просю вас на сватанье». Я поблагодарила, перемолвилась с знакомыми дівчатами и обещала прийти. Но только что они вышли, пришли все мои ученики, а за ними Степан Боковой (которому я даю книжки). Он уже три раза заходил ко мне и не заставал дома. Я стала заниматься с ними; Ивана смутило присутствие постороннего лица, он позабыл все звуки и сидел красный, как рак. Степан сидел и смотрел, как я их учу. В свободные минуты я разговаривала с ним. Он принес «О церковном Богослужении», Бел[л]юстина[35]. «Эту, — говорит, — книгу я хотел бы иметь всегда при себе; особенно хорошо, мне понравилось, псалмы по-русски — все понятно». Я ответила ему на это, что всякую книгу нужно читать и думать, согласна ли она с Евангелием, т.е. с тем, чему учит нас Христос. Если в ней есть согласное и противное учению Христа, то нужно разобрать это и брать из нее только согласное с учением Христа. Я долго говорила с ним в этом духе. Он во всем со мною согласился. Я, между прочим, упомянула, что хотела прийти к нему и прочитать «Два старика», но некогда было; ученики подхватили и наперерыв стали хвалить эту книжку, но больше восклицаниями, что «гарная книжка», чем какими-либо определениями. После ученья опять просили сыграть песен. Степан тоже присоединился к ним. Я стала играть, но они настаивали, чтобы и пела. Я удовлетворила их.

— Вот это так музыка! — сказал Степан, вставая.

От меня они пошли на сватанье; я тоже хотела пойти с ними, но было уже 10 часов вечера, и я не пошла.

19-го октября. Только что солнышко зашло, невеста с девушками опять пришли просить меня к себе на свадьбу. Меня осаждают просьбами сыграть что-нибудь и они тоже. Я не могу отказывать, и потому всякому играю. Этот раз и они пели вместе со мною. Потом я вместе с ними пошла на свадьбу к одной. Невеста должна была еще ходить приглашать, а я с Феклою пошла к ее родителям. Меня встречали очень радушно; мне эта семья очень симпатична, и в особенности жена сына их, на которую я не могу достаточно налюбоваться: какая стройность, грация, энергия, здоровье, веселье! И при этом душевная приветливость. Когда я пришла, баба все заняты были стряпнею и вели разговоры, в которых я не могла принять участие.

Под образами был накрыт длинный стол, и на нем кругом разложены паляницы; посреди же стола лежала паляница, и в нее воткнуты «ельцы»[36], украшенные цветами. Немного погодя, вошли два старика; один — отец не-

весты, другой — родич. Разговор пошел живее. Потом вошел высокий, седой старик — крестный отец; перед ним все расступились и дали дорогу. Он сел на самое почетное место. Я сидела около него. Он меня не знал и обратился к окружающим:

— Кто это такой?

Я сама ответила, кто я,

— А! так вот кто! мне хвалили, хвалили ее, славная, говорят, девушка, — сказал он, как бы обращаясь к другим, а потом повернулся ко мне, да и говорит: — Ну, да ведь всем не угодишь: одному хороша, а другому не хороша.

Кто-то обратился к нему с шуткой, что он сидит между девицей и вдовой. Старик-родич и говорит:

— Векле[37] треба хозяина, а то некому бить.

— Ні, бить не треба, от битья не будет толку, — сказал старик.

Я обрадовалась и подтвердила.

— Правда, правда, дедушка.

— Я на своем веку много бит бывал, да не так бит, как теперь бьют; бывало, бьют, пока всего в кровь не обратят. О-ох, времечко ж было!

Пришла невеста, и тут уже началась обрядовая сторона их обычаев. Невеста и другие молились Богу, она просила у него и у окружающих по очереди благословения, в знак чего она, положив несколько земных поклонов, подходила к тому из окружающих, у кого просила благословения и целовала его и руку. Меня тоже попросили стать в числе ее родичей, и она, подойдя, поцеловала меня и руку мою. Когда кончилась эта церемония, начали вечерять, а бабы с песнями лепить каравай. Повечеряв, я с Дуней и Феклой пошла домой. Впечатление осталось очень хорошее.

23-го октября. После вечерних занятий Борис стал мне рассказывать, что он прочел из Евангелия, и спрашивать о том, чего не понял. Прошлый год, когда он выучился уже читать, я дала ему Евангелие, но он на другой же день возвратил мне его, говоря, что ничего не понимает. Летом он пас скотину и теперь пасет. Отправляясь в поле, он не забывает вместе с хлебом взять за пазуху и книжку. Последнее время он брал с собой Евангелие от Матфея, и вот, прочтя нагорную проповедь, он понял ее и стал вглядываться на себя и других, сопоставляя свои и чужие поступки с учением Христа. Меня это чрезвычайно обрадовало; прошлый же год он меня огорчил нежеланием читать Евангелие, но я не настаивала, выжидая, что будет дальше. И вот сделан первый шаг — он стал понимать, и у него явилось желание читать дивную книгу, и второй — он стал делать сопоставления. Нужно надеяться, что будет и третий шаг — исполнение.

24-го октября. Ох, как трудно дается Ивану грамота! Думаешь, думаешь, как ему облегчить, и все напрасно: все дело в том, что у него совсем нет памяти; так, например, скажешь ему какой-нибудь звук, предварительно

поупражняв его слух, и пишет он его, и читает с ним. Сделав маленький перерыв, спросишь его, что это за звук, — не помнит. Ему становится совестно, и он совсем падает духом, а мне очень его жалко, потому что у него страстное желание выучиться, и я не знаю, выйдет ли толк из наших занятий, но стараюсь приободрять его.

27-го октября. Сегодня в моей хате очень холодно, несмотря на то, что два раза топили. Я все придумываю, как бы это удержать тепло, чтобы топливо напрасно не расходовать. Стала я конопатить окна, законопатила, а все ветер ходит по хате. Что за чудо? Прикладываю руку к стене в одном месте — дует страшно, в другом — также; и так я обследовала всю хату и пришла к тому, что ничего не поделаешь, нужно жить где Бог послал.

С сегодняшнего дня я решила и объявила уже, что по воскресеньям вечером я не буду заниматься ни с кем, имея в виду употреблять это время на чтение книжек им же. Иван пришел все же сегодня, и я занималась с ним; сегодня он лучше читал и писал, и сам ужасно рад: надежда выучиться возвратилась.

28-го октября. Сегодня хлопцы сошлись в школу в количестве 15 человек, из них 5 человек новеньких. Заниматься мы не могли, потому что школа была не топлена и холод такой, что не хочется и руку протянуть.

Перед вечером смотрю — двое верховых подъезжают к школе. Это племянница Николаевых, которая в это время у них гостила, барышня лет 16-ти, и кучер, сопровождающий ее. Она хотела застать занятия. От школы они повернули к моей хате. Я вышла.

— Здравствуйте, Надежда Даниловна, это ваша резиденция?

— Да.

— Ах, как у вас хорошо! (Все это она говорит, не слезая с лошади).

Я говорю: не очень хорошо.

— Отчего же?

— Попробуйте пожить здесь.

— Ах, я бы очень хотела две недели пожить в вашей хате.

Кучер все время улыбался, и ему как будто стыдно было, что его заставили бездельничать — кататься с барышней.

Вчера и сегодня я все хожу да кланяюсь — прошу топлива для школы: у пана, чтобы дал, а старосту — чтобы привез. Целый месяц просила обить дверь в школе и вставить окна и до сих пор прошу.

И в этом отношении глас мой всегда уподобляется гласу вопиющего в пустыне. На деле никто не хочет помочь, а на словах все готовы сделать. Я начинаю уже сердиться.

29-го октября. В классе у меня было сегодня 19 человек. Мы встречаемся уже как знакомые; я их знаю, они — меня. И нам хорошо; только при занятиях я постоянно разбрасываюсь в ущерб цельности урока. Меня сейчас же начинает беспокоить, если я вижу, что ученик кончил свою работу и сидит

без дела. Сегодня один из новеньких, не зная школьных порядков, начал есть селедку во время занятий. Я сама, может быть, и не заметила бы, но смех других и желание уговорить его не делать такого преступного дела обратили мое внимание. Я сказала, что лучше, если бы он подождал есть, а то и других соблазняет делать то же. Он, ничего не говоря, молча, согласился со мной и положил свои съестные припасы обратно в торбочку.

Придя из школы, я сейчас же поставила самовар и с наслаждением думала напиться чаю; вдруг слышу, кто-то подъехал к моей хате. Смотрю — учительница из соседней слободы[38]. Она сейчас же начала восторгаться моей «резиденцией»: «Столько поэзии — кругом лес, хижина и звуки Бетховена! Это просто рай! Счастливая, — говорит, — вы; живете себе в раю!..» И все в таком роде говорила. Она очень интересуется своим делом, но не альтруистически. На первый план ставится — что скажет начальство. Снабдила я ее книгами для чтения, для школьников и для нее. Музыку она очень любит слушать, и потому мы занялись пением песен. Она все повторяла, что я очень счастливая, так как умею играть и с помощью инструмента могу учить петь. Она уехала очень довольная и на прощанье сказала, что если бы ее школа была не далее 2-х верст, то она каждый вечер приходила бы ко мне со своими учениками. Мне было приятно, что она получила хорошее впечатление от моей обстановки, жизни и от меня самой.

2-е ноября. Я теперь бываю целый день занята обучением. С самого утра до 4 часов я занимаюсь в школе, потом в 5 часов приходят ко мне 2 девочки священника, с ними занимаюсь до 6 часов; потом приходят вечерние мои ученики, которые занимаются до 9-10 часов вечера, смотря по тому, когда им спать захочется. В школе у меня теперь гораздо тише, чем было прошлый год, так как большие теперь не ходят, а они-то больше всего и затевали разные шалости и желали ввести старые порядки, бывшие пять лет тому назад, т.е. ввести наказания, без которых им как будто было скучно. Мы все рады, что их нет с нами. Сегодня в младшем отделении читали из азбуки Толстого[39] короткие фразы: «я жду дядю, я тру семя», и т.д. Один из мальчиков прочитал: «я рву дули», а сосед спросил: зачем? «Зачем? їсти[40]!» — отвечал читающий. И все последовали его примеру, и стали спрашивать друг друга; а я только слушала. По окончании занятий они стали спрашивать меня: «Когда будем петь?» Я им отвечала, что нынешний год я не думала тратить на это время, так как прошлый год на пение ходили не дружно и не охотно. Но они стали просить, обещая не пропускать уроков пения. Значит, опять будем петь; только я затрудняюсь, что мы будем петь: они любят очень духовное пение, а я очень мало его знаю, да и не все тексты этого пения можно им уяснить, как должно. Когда они меня спрашивают, почему я не даю им петь некоторых молитв, я им прямо говорю причину. Они, конечно, молчат, но уже не настаивают на своем желании.

Прочла я рассказы, которые принес Осип (выигрыш на ярмарке). Расскажу вкратце их: первый называется «Заколдованный портрет», рассказ из жизни бедняков. Художник Воронецкий жил в городе, но по примеру других поехал на дачу и поселился у вдовы кирасира. Он был пьяница и преисполнен чувством собственного достоинства, особенно когда денег не было, и становился в это время очень свирепым. Один богатый мужичок приехал к нему с заказом написать портрет с него и с его жены. Происходит торг, во время которого Воронецкий придирался к слову «малевать», которое употребляет мужичок вместо «написать портрет». Сторговались за 25 рублей, и Воронецкий получил в задаток 10 рублей, на которые сейчас же подумывал выпить. У него были и краски, и кисти, и палитра, но не было ни полотна, ни бумаги, ни мольберта. После некоторых поисков он решил нарисовать портрет на лосиных брюках покойного кирасира.

Мужичок был очень доволен сходством портретов и прибавил ему еще 5 р[ублей]. Когда портрет был готов, он повесил его близ печки. Через некоторое время лица на портрете стали принимать неестественное выражение и, наконец, приблизились друг к другу до того, что как будто целовались. Чета же была уже в таком возрасте, что целоваться, да еще на портрете, было сущим соблазном для соседей. Жена прикрыла фартуком этот портрет. Потом они стали думать, отчего бы это могло случиться, и решили, что Власиха сглазила. Они отправились к Воронецкому и рассказали о случившемся с портретом и о своем заключении. Он стал подтверждать их предположение. Они стали спрашивать, как им быть и не может ли он исправить. Он согласился за 30 р[ублей] и написал новые портреты уже на полотне, но не вывел их из заблуждения.

Второй рассказ — «Потерянная квартира». Приехал в Москву один бедный художник и никак не мог найти себе по вкусу квартиру. Имущество его все заключалось в маленьком чемоданчике, отчего ему было легче переменять квартиру. Москвы он совсем не знал. Наконец, он нашел себе по вкусу и комнату, и хозяйку. Взяв ключ от комнаты, он нанял извозчика и велел себя привезти к какому-нибудь трактиру. В трактире он встретился с своим приятелем, который стал спрашивать, где он остановился. Тут только он спохватился, что не заметил ни улицы, ни дома, где оставил свой чемодан и откуда взял ключ от комнаты. Бросился к извозчику, хотел его спросить, но он уже отъехал. Приятель успокоил его и пообещал приютить на одну ночь. Вечером они отправились в театр, и, возвращаясь домой, Антилопов (художник) пристал к одной даме, предлагая ее проводить, уверяя при этом в своей честности. Она согласилась, и он проводил ее до самого дома, где встретил их ее муж, который очень любезно принял их.

Антилопов увидал, что у них отдаются комнаты, и захотел посмотреть, намереваясь поселиться. Хозяйка спросила, нет ли у кого-нибудь ключа, не подойдет ли, а то один господин нанял комнату, запер и взял ключ с собой,

а сам не является. Антилопов дал ключ, бывший у него в кармане, который как раз пришелся, и, войдя в отпертую комнату, он был удивлен, увидав свой чемодан, — хозяева также.

Вот весь рассказ.

Он занимает 13 страниц убористой печати книги средней величины!

Осипа очень забавили эти два происшествия и понравились, несмотря на то, что попадалось очень много незнакомых слов и выражений, как, например, «юпитерский взгляд», вольт, и т.п., кроме того, много непонятных художественных терминов.

3-го ноября 1885 г. Сегодня воскресенье, и я ждала в школу желающих заниматься по воскресеньям. В церкви было объявлено мое предложение, но никто не пришел почему-то. А между тем, я знаю двух, которые очень хотят учиться.

Мне все делают приношения: приносят яйца, баранину, кур и т.п. Я принимаю, стараясь отплатить им бумагой, карандашами, книжками. Я думаю, что учительницам можно жить совсем без жалованья. Я стараюсь отклонять приношения, но осторожно, чтобы не обидеть, а если поощрить, то мне будет некуда девать всего. Некоторые тоже осторожны теперь, и издалека, через третье лицо, спрашивают, приму ли я, если они мне принесут кое-что. Так как здесь ничего нельзя купить (никто не продает, все для себя берегут), то я прошу их приносить; взамен деньгами не берут с меня, а какими-нибудь вещами: письменными принадлежностями или клочками материи на карман и т.п.

4-го ноября. В школе у меня уже 32 ученика, в том числе пришли и старые, большие ученики, отсутствию которых мы так радовались. Сегодня они вели себя очень хорошо, не обижали товарищей и не производили шума; не знаю, как дальше будет.

Вечером Осип принес книжки, которые я ему давала. «Робинзоном» восторгается и говорит, что кому он ни давал читать, всем очень нравится. «Путешествие Головнина», из «Ясной Поляны»[41], тоже нравится. Он привел с собой товарища, который просил тоже дать книжек, и сам выбирал для него. Выбрал он: «Чем люди живы» и «Кавказский пленник». А когда я предложила «Упустишь огонь — не потушишь», то он сказал, что ему эта книжка не очень нравится. Я спросила, почему? «Да что, — говорит, — там все судятся».

5-го ноября. Школа моя переполняется; не знаю, куда помещать всех желающих учиться. Меня это радует, но вместе с тем хочется, чтобы всем хорошо было, и не знаешь, как быть.

Вечером пришел Иван, и уже с внешними признаками военной службы — его забрили. После занятий он стал мне рассказывать, что «Митька Гордеев читал в книжке, что кто не хочет идти на службу, да будет проклят, и что, кто плачет, уходя на службу, тому грех».

6-го ноября. Один из моих учеников с хутора болен хронической бо-

лезнью, костоедой[42], и не может далеко ходить. Прошлый год он жил у своих родственников в Городище[43], и ему привозили харчи, но нынешний год у них ничего нет, нечего везти, и потому он лишился возможности ходить в школу. Я сказала об этом Николаеву, и он принял участие — будет давать на его прокормление 1 пуд муки и 1 гарнц[44] пшена в месяц. Мальчик очень рад и доволен; мать его также. Она говорит, что они могут летом работой отплатить, но Николаев этого не хочет.

Иван, видимо, совсем увлекся своим новым положением рекрута: он сегодня не пришел учиться, и у меня зарождаются разные предположения. Сегодня я получила письмо от бывшего своего ученика, передаю его дословно: «Надежда Даниловна какбы вы мене уместили штобя ходить к вам учица вечерами говорят у васместа нет нокак нибудь поместите а то мине дьнем некода помилуйте можыт иденибудь и ошыбка есть потому што я малограмотный». Сверху написано: Ивана Васина.

Ну, как тут быть? И не хочется отказать, а между тем и места, действительно, нет. Осип тоже просится; вообще нынешний год очень много желающих учиться.

Вечером я прочитала «Галю»[45] (были: Дуня, Борис, Грицько и Лавриненко). Я простудилась, и мне было очень трудно читать, я хотела остановиться на V главе, но они стали упрашивать читать дальше — их заинтересовало. Я с горем пополам продолжала; когда я окончила, они стали на перерыв хвалить книжку и перебирать события, и им хотелось знать дальнейшую судьбу деда, и как жила Галя после того с отцом и Аннушкой, так как он все же остался язычником.

— Да и славное же читанье! — сказал Лавриненко.

— И разборно[46]! — прибавил другой.

А Борис сказал, что вначале ему не понравилось, он даже хотел уходить; много не понял, а потом все стал понимать. Раньше я давала ее читать кабатчику, в издании Шмидта[47]. Он говорит, что ему лучше всех книжек понравилась она. Он передал ее поповым дочкам, но дедушка их, священник, прочитав первую страницу, сказал им почему-то, что это нехорошая книжка и чтобы они ее не читали. Я сказала им, чтобы они убедили его прочесть всю. Что-то будет?

7-го ноября. После обеда, придя в школу, я хотела заняться подольше, но ученики спросили, принесла ли я книжку, которую обещала им прочитать, и буду ли читать? Я сказала, что нет, так как думала, что им не очень хочется слушать. Когда мы занялись часа полтора, книжка («Галя») была принесена, и я начала читать. Все притихли так, будто никого не было, кроме меня. Предварительно я им рассказала об язычниках и некоторых их обрядах. Прочтя до того места, когда рассказ прерывается на четыре года, я остановилась и хотела оставить до другого раза, но они просили продолжать, говоря, что до самого вечера будут слушать. Эти четыре года — пробел, видимо, им неприятный;

им хочется знать, что же в это время было, и приходится самой дополнять им этот пробел. Им смешно и дико казалось, что девочка, как мальчик, и на коне ездит, и стрелы пускает, и бесстрашная такая, что везде сама ходит. Когда я читала то место, где рассказывается, как собираются казнить Галю, один хлопец, слышу, спрашивает тихонько другого:

— Данило, чего ты плачешь?

Он только отстранил его в ответ. Когда я кончила, Данило сказал:

— А я аж заплакал.

— Чего?

— Та як же, таку дівчину, та він убить хотіл.

— Дайте мне эту книжку, я дома еще прочитаю.

Катря тоже подошла: «Дайте мне, я Семену понесу». И со всех сторон послышалось: дайте мне. Пришлось вынуть жребий, кому достанется. Досталась Катре.

Поповы дочки принесли сегодня эту же книжку в издании Шмидта и сказали, что когда дедушка прочитал всю, то ему и им понравилось.

В школе теперь у меня неграмотных набралось 12 человек, и с ними так трудно почему-то, что, кажется, и не научу их читать. Плохо двигаются в разложении и слиянии звуков, а без этого знание букв все равно, что ничего.

Вечером пришел Иван. Оказывается, что он не приходил потому, что учился маршировать у бывшего солдата. Борису предстоит тоже, Осипу — тоже.

8-го ноября. После заутрени у меня всегда бывает полная хата людей; большая часть, конечно, школьники. Сегодня тоже набралось очень много. После обедни мать одного школьника пришла справиться, как учится ее сын, не балуется ли, так как с ним и дома трудно справляться. Я сказала ей все, что есть: он сам уже большой, 17 лет, и маленьких очень обижает. Она долго сидела у меня, потом попросила прочитать ей какую-нибудь книжку из «божественных». Я сказала, что «житий святых» у меня нет, а если она хочет, то я ей прочту про простого хорошего человека. Я прочла «Где любовь, там и Бог». Ей как будто не понравилось, она ничего не сказала, только усмехалась во время чтения, и именно в тех местах, когда Авдеич принимает деятельное участие в судьбе ближних.

Вечером пришел Осип и принес книжки. Я ему давала «Махмудкины дети»[48]. «Прохожий»[49] и «Архангельские китоловы»[50]. Последняя больше всего ему понравилась, и он с начала до конца рассказывал мне ее, а особенно понравившиеся места находил в книжке и прочитывал мне. Ему очень понравился Федор за то, что он был веселый, и в какие бедствия ни попадал, никогда не унывал и поддерживал других. О «Прохожем» сказал, что сначала ему не понравилось, но потом стал читать — чудно́ стало, как они ряженые ходили, да про старостиху. О «Махмудкиных детях» он ничего не помянул, а я уже

ничего не спросила, потому что пришлось бы опять говорить о войне. Они же как будто боятся затрагивать со мной этот вопрос.

По просьбе всех я сегодня играла песни. Грицько попросил сыграть «Странника», как он называется, по моему указанию, «Wanderer» Schubert'a[51], с которым я познакомила его еще раньше.

9-го ноября. Во время обеда Катря прибежала ко мне из школы и спрашивает:

— Яку книжку вы читали матери вчора?

— А что? — спрашиваю.

— Та вони, як пришли от вас, так казали, что гарна книжка, и казали, что там написано, да я забула.

Это ее матери я читала «Где любовь, там и Бог». Она мне не высказалась, а вот, придя домой, стала хвалить и рассказывать. В нашей школе только одна девочка Катря. Около нее я посадила небольшого хлопчика, Якушу. Я уже начала заниматься и вдруг заметила, что Якуши нет. Спрашиваю товарищей, отчего Якуша не пришел?

— А він туточко! — ответило несколько голосов.

Оказывается, что он пересел на другое место; я спросила, почему он переменил место. Он ничего не отвечал; хлопцы же за него ответили и сказали, что он не хочет сидеть рядом с Катрей, потому что его дразнят: «кажут, як молоды сидят». Мне пришлось затеять по этому поводу разговор со всем классом и объяснить, что сидеть рядом с девочкой не стыдно и что мы сошлись не свадьбы играть, а учиться, и т.д. После этого Якуша взял свои пожитки и пересел на свое место.

Сегодня был сильный ветер, и хуторяне разговаривали о том, как им трудно придется идти домой против ветра, а кто-то сказал, что, может быть, кто-нибудь и замерзнет на дороге. Один и говорит: «Як хлопец замерзне, так нічóго — нас богато (много); а в тот дівчина у нас одна, так ее треба берегти».

Вечером Борис попросил меня почитать что-нибудь. Я взяла «Махмудкины дети». Борис слушал со вниманием, но Иван стал почесываться и позевывать и, наконец, вылез из-за стола, намереваясь идти домой. Он полон торжеством, что теперь уже солдат и принял присягу. Прежде он горевал и про семью поминал, а теперь он считает счастьем идти в солдаты. Мне кажется, что ему неприятно было слушать «Махмудкиных детей», так как, вероятно, он боится, что эта книжка ослабит его счастливое настроение. Я не кончила, оставила до завтра.

10-го ноября. Вчера я закутала одного хлопца в свой платок. Сегодня мать его пришла, принесла платок и сочла нужным отплатить мне: принесла «орешков» (они пекутся из пшеничной муки, на сале или на масле). Я отказывалась и говорила, что мне ничего не нужно, что я закутала его не для того, чтобы взамен получить от них что-нибудь, а просто потому, что у меня

есть другой платок и что я себя ничем не обидела. Но она просила принять.

После обеда пришли хлопцы и расположились в моей хате, а я стала письма писать, но они постоянно перебивали и мешали мне.

Вслед за ними пришли хлопцы с просьбой дочитать им вчерашнюю книжку. Я только что начала читать, пришла бабушка с внучком ко мне в гости. Я поставила самовар и угощала их чаем. Бабуся все спрашивала, не балуется ли внучек в школе: «Дедусь, — говорит, — ему строго наказывает, чтобы не баловался». И стали мне рассказывать, что как только он приходит из школы, дедусь расспрашивает, что делали в школе, чем занимались и все ли он понял. Как приятно слушать это!

12-го ноября. Сегодня священник занимался в школе. По уходе его хлопцы стали мне рассказывать, о чем он им говорил, и, между прочим, сказали, что велел им стричься под гребенку и чтобы в церкви становились все в одном месте.

13-го ноября. Осип сегодня пришел и рассказал мне содержание «Кассиан одинокий». Ему очень нравится читать разные приключения, вроде «Робинзона». Но он с удовольствием вспоминает рассказы Тургенева, которые я ему давала в полном собрании сочинений[52], и сегодня он выбрал для своего товарища «Бирюка»[53]. Он очень много читает, и у него все книги уже перечитал, так что я ему теперь даю «Русское богатство»[54] и т.п.

Дуня сегодня целый день, не отрываясь, читает «Робинзона»; утром только встала, не умывшись, схватила эту книжку и уткнулась в нее. И все читает да хвалит и рассказывает мне.

Вечером, по случаю дождя, ученики не собирались; пришел только один Грицько. Я прочитала ему и Дуне «Странника»[55]. Им эта книжка понравилась, но не очень.

Мать одного ученика пришла с просьбой написать письмо к родным, живущим «на линии»[56]. Она просит их написать ей, есть ли там земля, чтобы купить или на аренду взять. Если есть подходящая, то они хотят переселиться туда.

14-го ноября. Утром пришел Борис и просил прочитать ему «Странника». Он во время чтения останавливал меня, чтобы я объясняла ему незнакомые слова. Я люблю ему читать, потому что он все хочет понять и не хочет, чтобы что-либо оставалось для него неясным. По окончании я ничего не спросила, но он сам сказал, что ему нравится, и стал перебирать его весь. Я показывала некоторым новое издание «Чем люди живы»[57] с новою картинкой, чтобы сравнить, которая картинка им лучше нравится, старая или новая[58]. Всем нравится новая, кроме Грицька. Борис же сказал, что ему не нравится на новой картинке только то, как Семен ноги расставил, что на прежней картинке «ловчей он идет».

16-го ноября. Сегодня вечером я никак не могла скрыть и удержать свое-

го раздражения, вероятно, вследствие голода. Мы опять с Дуней сидим на одном хлебе: трудно здесь добывать продукты — каждый для себя бережет и в крайнем только случае продает, и поэтому приходится часто голодать. Хлебом же никак не наешься, и я удивляюсь, как крестьяне живут, так как из них есть много таких, которые только один хлебушко и жуют. В хате у нас сегодня тоже очень холодно, так что мы в шубах сидим: и снаружи, и внутри холодно, и эти обстоятельства сильно влияют на настроения духа. Я никогда не возвышаю сердито голоса, и сегодня мой возбужденный голос заставил учеников с удивлением посмотреть на меня. Мне сейчас же стало стыдно. Мне стало досадно на них, что они не то заниматься, не то только разговаривать сошлись; я им и сказала, что что-нибудь одно надо делать — или учиться, или так себе, баловаться; и что если я даю им работу, то, значит, считаю ее полезною, а не для того только, чтобы провести время. Это было сказано мной потому, что они неохотно исполняют самостоятельные работы по арифметике и грамматике. А первую один из них признает даже совсем ненужною. Я их не заставляю и говорю им, что я отдаюсь в их руки — что хотят, то и буду показывать, учить. Но они заявили желание, чтобы я их в свои руки взяла и сообщала бы им, что считаю нужным.

17-го ноября. После заутрени моя хата опять наполнилась. Дуня пошла за водой, а я осталась топить печь и принимала одна своих гостей. В числе пришедших один пришел с хлопцем, лет 11-ти, с просьбой принять его в школу.

— Поскубите (подержите за волосы) его, пожалуйста.

Я говорю ему на это, что «скубить» я не умею, а учить грамоте могу.

— А ведь поговорка така есть, что за битого двух небитых дают; значит, — говорит, — без того не обучишься.

— Эта поговорка устарела, — говорю.

— А вот я вам расскажу: сошлись раз у нас три солдата. Один и кажет, что ни разу не был бит, а те говорят, что они страсть что перетерпели и начали пытать, значит, небитого, что він зна. А він нічого не зна; так вони як начали его учить, як начали бить: «не хвались, что не бит, коли ничего не знаешь».

— Одно только могу вам сказать на это, — говорю, — что они нехорошо сделали: они не могли этим научить его ничему хорошему.

Потом долго еще я с ним беседовала о своем взгляде на обучение и возражала ему на требование наказаний. Он только повторял:

— Так, так вы говорите, истинно так.

Все пошли к обедне. Вдруг входит торопливо какая-то женщина и говорит:

— Ну, что, приняли?

— Кого?

— Да хлопца моего.

— Степана? Приняла.

— А я не усидела дома, думка така, пиду сама, спитаюсь, чи приняли, чи ни.

Она вдова, у нее пять сыновей, старшему 15 л[ет]. На вид веселая, энергичная и симпатичная женщина. Детей, видно, своих очень любит; довольно посмотреть на нее, когда она говорит про них — сколько любви, заботы о них!

В обед прибежали человек десять хлопцев, больших и маленьких. «Мы пришли, — говорят, — чтобы вы поучили нас петь». Ну, что делать, начали петь. Потом я им прочла «Старика Никиту»[59]. Им понравилось; немного не поняли — язык не совсем простой. Вечером собрались ученики. Сегодня учились, но не так долго. После занятий попросили сыграть. Грицько слышал как-то случайно, когда я играла «Коль славен»[60], и ему очень понравилась эта музыка. Он попросил повторить ее теперь, чтобы узнать, понравится ли товарищам. Все единогласно похвалили, а Иван прямо в восторг пришел.

18-го ноября. Сегодня читали мы в классе из «Новой азбуки»[61] отдельные слова, между которыми попались «черт»; оно произвело смятение, некоторые громко засмеялись, а некоторые многозначительно переглянулись. Я заранее видела, что прочитавшие про себя, шептались и недоумевали. Я сама не люблю слышать и произносить это слово, оно ужасно режет почему-то ухо. Я не сделала им никакого замечания и пропустила его без всякого пояснения. И вот, второй год мы читаем по «Новой азбуке», и всякий раз это слово производит волнение. Мне оно неприятно.

Собой я сегодня совсем, совсем недовольна: в школе очень вспылила и вслед за тем покраснела до ушей и смутилась. Хлопцы сегодня разбушевались, и заниматься было очень трудно. Один из больших нарочно начал отвечать неверно, чтобы сбить других с толку; вот это-то меня очень и рассердило. А с маленькими, т.е. неграмотными, гораздо труднее заниматься; у меня они ужасно туго идут. Вследствие тесноты у нас в школе страшная безалаберщина идет, и все это, конечно, способствует раздражению.

20-го ноября. Школа моя растет: сегодня еще прибавилось, всех теперь 51 человек. Вечером ученики читали «Рус[скую] кн[игу]» 1-ю и 2-ю Толстого[62]. Борис прочитал рассказ «Пожар»[63]. Ему очень понравился этот рассказ, и он с удовольствием, наслаждаясь, рассказал его, прерывая рассказ смехом. Я вместе с ними тоже смеялась и рассказала им, как после моего чтения этого рассказа одна девочка хотела повторить опыт Маши.

Сегодня Иван узнал последний звук, но читает еще плохо слова, в которых есть сочетание трех, четырех согласных. Он несколько дней не ходил, потому что учился маршировать.

21-го ноября. Идя к А[лексеевскому][64], я встретилась на дороге с отцом двух моих учеников. Он первым делом попросил меня дюжче «учить» их. А потом прибавил: «А еще просю вас, давайте им побільш книжек — казки али так яки, божественны, коли есть*. Оце що ви им давали, так по первах наче

* А еще прошу вас, давайте им побольше книжек — сказки или какие-нибудь

казка, а дальше, то и выходит діло. Вот хоть про вашего швеца[65], та и всі гарні, що ви давали».

Я ему давала «Чем люди живы», «Странник» и т.д.

Вчера один хлопец возвратил мне «Кавк[азского] плен[ника]», говоря, что батька не звеліл ему цю книжку читать. Я спрашиваю: почему? — Він каже казка.

На днях вечером мои ученики пришли в испут.

— Надежда Даниловна, что вона таке, що зірочки (звезды) як дождь севодни падают?

Борис говорит:

— Я боялся из хаты выйти, думаю — світ кончается.

Я вышла посмотреть — действительно, звездный дождь. Стали мы говорить про падающие звезды, я им рассказала, что знаю про эти явления и вдобавок прочла некоторые подробности из «Хрестоматии» Лихачевой[66]. Они успокоились и смело пошли домой.

26-го ноября. Эти дни я была в Л[изиновке][67]. Я уехала в учебный день; школьники собрались, и, когда я уже села в сани и поехала, они все высыпали из школы, чтобы проститься. Сегодня мы все очень обрадовались друг другу. Батюшка[68] занимался с ними два дня. Вечером большие все пришли. После занятий я дала Ивану Евангелие и написала на первом листке из Ев[ангелия] от Иоанна гл. XIV, 7 и 15: «Я есть путь, и истина, и жизнь»... «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди»...

30-го ноября. Утром пришел сын Данилы певчего, Иван, и попросил книжечку: «Я, — говорит, — не принес только ту, которую вы давали. Вчера батя ее читал, так плакал». Я спросила, почему же он плакал? — «А я, — говорит, — не знаю почему, прочитал, аж тогда заплакал».

Книжечка эта — «Два старика».

Никак я не могу уговорить половину своих учеников не приходить утром, а после обеда. Непременно все придут, и у нас страшно тесно становится и безалаберщины больше, потому что некуда положить ни капелюхи[69], ни шубы, ни доски. А назад не отошлешь, так как они живут на расстоянии трех верст. Я сегодня очень устала и почувствовала, что мой голос уже ничто для них и что они господствуют надо мною. И в это самое время пришла одна женщина посмотреть, что у нас в школе делается. И, увидя такой беспорядок, стала давать мне советы, как их учить, т.е. за чуб драть. Я ей резко что-то ответила; она почувствовала, что мне это «противно», как она потом выразилась, и отказалась от своих слов.

Вечером мы читали сказку «Липунюшка»[70]. Иван Лавриненко никак не мог читать, смех так его и разбирал, а за ним и мне смешно до слез было, и мы

божественные, если есть. Вот те, что вы им давали, сперва кажутся сказками, а потом оказывается, что выходит из этого дело.

едва дочитали эту сказку. По окончании чтения и пересказа, я спросила, как им нравится сам Липунюшка? Грицько и Борис с похвалой отозвались о нем. Дуня же указала на его нехороший поступок — обман барина. Грицько сказал, что радуется всегда тот, кому удается кого-нибудь «обдурить». А Иван добавил, что поддавшийся на обман «жалкует» о себе, что поверил.

Я спросила, кому же из них хуже.

— А кто е знает? — Я стала с ними по поводу этого говорить и довела их до того, что они сами признали, что потерпевшему лучше, чем обманывающему.

Жена столяра принесла «Галю» и сказала, что когда она читала то место, где Галю готовятся казнить, то бабушка заплакала.

1-го декабря. Воскресенье. По обыкновению, сегодня весь день народ у меня. Отцы досаждают просьбами бить хлопцев — и мне приходится каждому подробно объяснять свою систему обучения и воспитания. Мне всегда удавалось убеждать, но сегодняшний разговор с одним дедом привел к тому, что он в заключение сказал: «Если вы не хотите его бить, так я ж сам его побью». — Очень грустно это слышать, но ничего не поделаешь, так как он убежден, что без битья не выучиться.

Хлопцы прибежали, чтобы петь, но я поехала в соседний хутор навестить больную дочь Феклы. Мы приехали и застали всю семью в сборе. Больная лежала на лавке, положив голову на колени другой женщины, которая «искала» у нее в голове. Дед сидел на печке, а муж встал и поторопился надеть свитку: два хлопца копошились около дедушки. Больная стала жаловаться, что муж и свекор не хотели исполнить ее просьбу — привести попа и причастить ее. Дед смеялся и шутливо сказал:

— Мы знали, что ты одужаешь (выздоровеешь).

— А кабы я померла?

— Так що ж?

— Вот яки! Им и не жалко! — шутливо заметила больная.

— Кабы умерла, так мы бы другу взяли. Ивась (внучек его, сын — больной) кажет (говорит): «Тогда бы мы учительницу поiхали сватать, она бы нас чаем поила».

Тут обратились все к Ивасю с расспросами, стал ли бы он меня матерью звать.

Он застыдился и спрятался за печку.

Мне очень понравилась вся эта семья; видно, что тут живут любовью и берегут больную, несмотря на то, что на словах выказывают равнодушие. (У нее сильный ревматизм до онемения членов). Мы ездили к ней со Степаном Боковым, с которым дорогой я стала говорить о состоянии школы и о том, что родители досаждают просьбами бить их детей. С этого разговора он перешел к воспитанию своей дочери и сказал, что принял мой совет не допускать с детьми обмана, даже в шутку. Он говорит, что теперь он строго следит за тем, чтобы

и домашние не учили ее обманывать. Результат обмана ребенка даже в шутку (чем прежде часто забавлялись для потехи) доказал ему, как легко испортить ребенка: ей два года, а она уже хитрит и нагло обманывает. Прежде его потешало это, но теперь он стал серьезно смотреть и старается оградить дочь от всего дурного. Сам он воспитывался в ежовых рукавицах вотчима и школьного законоучителя, который подавлял его своим деспотизмом. Но, несмотря на это, он остался кротким, незлобивым; только мыслить самостоятельно совсем не может, — он соразмеряет с тем, что говорил ему законоучитель и ему трудно отделаться от этого подчинения, оно въелось в него, присосалось. И как сейчас заметно, когда в нем говорит внушенная мудрость и когда — непосредственное чувство!

2-го декабря. Я все собираюсь описать по порядку весь день, как он у меня проходит: в будни с 8 ч[асов] утра до 12 ч[асов] я занимаюсь в школе; назначаю до 12, но обыкновенно прихожу к себе не раньше 12 $^{1}/_{2}$ ч[асов]; до 1 ч[аса] обедаю. Во время обеда хлопцам не терпится, и они по нескольку человек прибегают ко мне. От 1 ч[аса] до 3 $^{1}/_{2}$ я опять с ними занимаюсь, а полчаса употребляем на уборку школы. Школа может вместить 35 чел., а нынешний год у меня их 52 чел. и поэтому приходится класс делить — одних до обеда, а других после обеда учить.

Придя домой, я всегда застаю у себя хлопцев, которые приходят без всякой определенной цели, а просто хочется им быть около меня. Иногда я их прямо гоню, так как в 5 ч[асов] приходят две дочери священника, с которыми я занимаюсь до 6 ч[асов]. Они не успевают еще уйти, приходят взрослые ученики. И мы занимаемся до 9 ч[асов], после чего я просматриваю уроки для будущего дня и ложусь спать. В праздничные же дни опять целый день пребывают у меня хлопцы и заходят родители учеников и др. Так что в праздник мне трудно улучить время, чтобы пообедать; на народе же не хочется.

Сегодня Иван приходит прощаться, завтра отправляется в солдаты. Вчера же он только что похоронил старика отца, а сестра лежит больная: быть может, и ее тоже скоро придется хоронить. Ее муж прибил так, что она замертво упала и начала кровью харкать, а теперь чахнет.

Сегодня угощают рекрутов водкой на общественный счет, но Ивану не хотелось пить, и он убежал ко мне. Но через несколько времени пришел от старосты посол звать его. Иван выпроводил его, обещая придти, и мы принялись читать. Крестьяне ждали, ждали его и прислали за ним брата. Брат пришел уже выпивши. Он попросил сыграть ему песенку; я заиграла «Жито мати», и он стал подпевать. Потом Иван стал собираться уходить и опять — бух мне в ноги; я подняла его, и мы попрощались, поцеловавшись. «Уж где, — говорит, — не буду, а вам низкий поклон пришлю». Я сказала ему на это, что буду очень рада, если и без поклона он вспомянет меня когда-нибудь добром.

Вечером писарь привез мне картины издания склада «Посредник»[71]. Все

мы стали их рассматривать. «Спесь»[72] вызывает смех; но хлопцы не понимают этого слова и соли этой картинки. Дети набрасываются на нее, так как она цветистей всех. Но те, у которых чуть-чуть поразвитее вкус, сейчас же отличают «Страдание И[исуса] Хр[иста]»[73]. Борис заметил что это «жалостливая» картина. «Искушение»[74] неприятна всем, потому что дьявол торчит тут же и мешает светлому впечатлению Христа.

3-го декабря. Якуша (сын Данилы певчего) опять попросил дать ему «Два старика». Я спросила, для кого он берет, для себя или для кого другого? Он ответил мне, что «тятька веліл попрохать». А Кузьма Забара, не зная названия книжки, которую желал прочесть, стал просить: «ту, что два соседа судятся» («Упустишь огонь»). Я спросила, от кого он слышал об этой книжке, но он мне ответил неопределенно, сказав, что «кажут, гарна книжечка».

4-го декабря. Вечером, после занятий меня попросили что-нибудь почитать. Дуня настояла на том, чтобы прочесть «Вора» (из «Рус[ского] Бог[атства]»[75]; она слышала маленький отрывок, и ей очень понравилось. Я стала читать. Рассказ этот написан очень живо, лица так и рисуются в воображении. Я читала с удовольствием, и читалось хорошо, выразительно. Они несколько раз прерывали чтение похвалой мне: «наче вы рассказываете, а не читаете». Особенно понравилась им сцена, когда Алешка играет, а девки пляшут, и потом, когда померла мать Алешки и началась суета между бабами. Это очень правдиво написано. Один маленький хлопец засиделся у меня и потом побоялся идти один. Он тоже слушал, и, когда я предложила остановиться, оставив до другого раза, он настаивал, чтобы еще читать. Я его спрашиваю: разве ты понимаешь?

— Понимаю, та не все.

— Так тебе должно быть не интересно?

— Вас гарно слухати.

Словом, сегодня меня совсем захвалили, и я рада, что они слушают мое чтение с таким удовольствием, т.е. рада, что могу доставить им это удовольствие.

5-го декабря. Сегодня мы продолжали читать «Вора». И они очень смеялись над проделкой Сидорки во время кражи овцы, и вспоминали, как они тоже воровали гусей, кур и жарили в поле. Им очень понравилось, когда описывается, как Сидорка заранее облизывается бараниной и у всех начинает воображение рисовать вкусные блюда. Борис и говорит:

— Мы иной раз также сидим да жуем хлеб один святый, а каждый и почнет вспоминать — колись то было, что іл баранинку, свининку, аб що небудь таке. О так и Сидорка!

При чтении любовной сцены с Наташкой они стали все многозначительно переглядываться, и мне было неприятно это место читать, так как оно ими понималось нехорошо.

Семен Бондаренко взял у меня картину «Искушение» и говорит, что его родные боятся этой картины, потому что там диавол, и вынесли ее в другую хатину.

6-го декабря. Отец Кузьмы Забары пришел сегодня с просьбой не отсылать его сына после обеда из школы, а чтобы он весь день учился. Я ему говорю на это, что я отсылаю их потому, что мест не хватает.

— А він аж плаче — хочет весь день учиться, хочется ему щоб до ума дойти. Я собі и думаю, пиду, спросю, що ви міні скажите — мабуть, можно сділать так, щоб він бул в школі, аж поки выпустите усіх?

Я его успокоила, что он ничего не теряет, так как я с ними занимаюсь столько же часов, как и прежде, а что им самим приходится меньше заниматься, так как они могут дома позаняться, кому есть время и охота.

Я его спросила, почему он не позволяет сыну читать книжки, которые я ему даю. «Да оце я так казав, що "казка" була у него»*.

— Да если бы, говорю, и сказка, так отчего же ему не прочитать, ведь и сказки есть хорошие и хорошему учат.

— Да это вы справедливо говорите; вот хоть про братьев, что судятся, — это про наше мужицкое житье написано; притча выходит. Оно хорошо. Вы давайте ему; это я так сказал.

7-го декабря. Вчера я не пошла на именины к Николаеву (помещику), а отправилась сегодня, надеясь пробыть недолго, но они оставили меня ужинать; я не сопротивлялась. Хлопцы же ждали меня с 9 $^1/_2$ ч[асов], и я пришла в тот момент, как они собрались уходить. «Долго же вы ходили!» — Я должна была просить у них извинения.

8-го декабря. Сегодня по приглашению я пошла обедать к Николаевым. По дороге встретилась с Борисом. Поздоровались.

— Теперь идите, в ввечері — читать, — сказал он, удаляясь**.

Вечером мы дочитали рассказ «Вор». До самого конца они слушали с большим интересом и жалели Алешку, которого после острога народ попрекает воровством, и никто ему не дает проходу.

— И всегда, — говорят, — так бывает: как кто сворует, так люди и начнут казать вор та вор. А він уже давно покаялся, мабуть.

9-го декабря. С утра занимался батюшка в школе. В те дни, когда не мне приходится начинать класс, я не читаю Евангелия. Но сегодня они стали сами просить прочитать им хоть немножко; я же не удовлетворила их желанию, потому что многие уже завозились со своими досками, и нежелающие могли бы помешать слушающим.

Вот уже два дня Дуня в ужасно строптивом настроении: ей нельзя сде-

---

* Да я это потому сказал, что у него была сказка.

** Теперь можете идти, а вечером приходите читать.

лать никакого замечания, даже во время занятий — сейчас губы надует. Но вчера она меня очень удивила. Мы посылали за крупой в Ровенки[76]; я ее и спрашиваю: «Дуня, чего бы еще купить из съестного?» В ответ она мне строптиво буркнула:

— Я знаю чи що? Што знаете, то и покупайте.

Я стала ее спрашивать, чем я ее обидела и на что она сердится, но она мне ни слова не отвечала.

9-го декабря. Вместе с школьниками пришел еще один новенький хлопец и просил его принять. Я не приняла его, и сказала, что ему придется ждать до будущего года. Он ушел, понурив голову.

Сегодня я, к удивлению своему, заметила, что несколько хлопцев, расставаясь, целуются друг с другом. Может быть, это и не всегда бывает так, но сегодня это было так.

10-го декабря. После урока батюшки хлопцы прибежали ко мне с известием, что Никон и Андрюха стояли во время урока на «колешках». Рассказывают, что дело было так: сидели они, сидели и сговорились сделать так, чтобы им на «колешках» постоять. Они решили, что для этого достаточно будет, если они поменяются местами. Решили и сделают. Товарищи выдали их. И они поставлены были на колени.

Во время обеда пришла Фекла с хлопцем, который вчера приходил в школу, и с его матерью. Она стала упрашивать принять его; говорила, что вчера он пришел и все плакал, и просил ее пойти упросить меня. Он тоже тут стоял во время нашего разговора и едва удерживал слезы. Я не знала, как мне быть, так как в школу я никак не могу уже его принять, потому что пришлось бы с ним одним заниматься. Но мать так начала меня просить, что я согласилась подучить его по вечерам и тогда принять в школу.

23-го декабря. Вот уже более 10 дней прошло, как я не бралась за свой дневник. Материалу для внесения в него было очень много, но время не позволяло выполнить это.

К позднему вечеру до того утомишься, что не хочется ни о чем думать, кроме как о постели. Сегодня я распустила свою школу. Расстались мы очень мирно, любовно, хорошо. Я не сердилась, не кричала, и хлопцы вели себя очень хорошо — жалоб совсем не было. Сегодня с звуковиками кончила я азбуку, т.е. дала им «Новую Азбуку». Все были веселы и рады. Некоторые жалели, что придется долго праздновать.

В эти дни (в которые я не писала сюда ничего), было много хорошего; отношения наши с учениками все более и более крепнут и становятся семейными. По вечерам приходили еще двое новых — маленький Матюшка, которого я хотела принять в школу, и его брат Илья (он десятский[77]). Матюшку я отказалась принять, так как он оказался очень неспособным и с ним пришлось бы всю зиму отдельно заниматься. Брат же его, Илья, учится исключительно

письму. Он был два года в школе; читать выучился, а писать совсем не умел, даже не знает, как держать грифель. Он слывет за дурачка, и все над ним смеются, обижают, но он очень не злобив (или не понимает) и кротко все принимает. Наружность его не симпатична, смешна и притом, вероятно, у него много физических недостатков — руки у него тоже неуклюжие, и никак его не выучишь держать грифель как следует.

24-го декабря. Я вся за это время ушла в свое дело, и мне не хотелось от него отрываться. Прежде меня стесняли ученики, когда приходили во время еды или не в урочное время, теперь же этого нет — они приходят ко мне как домой и нисколько мне не мешают, а напротив, мне скучно без них. И мне все больше и больше хочется быть с ними, отдавать им все свое время.

Сторож церковный купил у меня две картины: «Страдание» и «Спесь». Народ видит их, читает[78], и является спрос на них.

На праздниках хочу съездить в Ольгино, повидаться со всеми. Елка будет у нас на 2-й день, и хлопцы просили не уезжать. Сегодня они собираются нести мне вечерю (у них обычай), а завтра колядовать, а на елку, чтобы вместе пойти — смилийше[79].

25-го декабря. Сегодня я уже в Ольгине. Думала остаться дома для елки, но потом решила, что лучше, если меня не будет на ней, так как я не сочувственно отношусь к ее устраиванию, тем более что она делается не для того, чтобы доставить удовольствие детям, а для удовлетворения собственного тщеславия.

Дуня была очень не рада моему решению уехать. Дома ее все стращают битьем и бранят, и она боится без меня остаться. Когда я стала собираться, она навзрыд заплакала. Я ее уговаривала быть кроткой с родными и не противоречить им без нужды, но она утверждала, что это не подействует на них. Тогда я написала письмо ее старшему брату Ивану приблизительно так:

«Зачем вы ругаете и бьете Дуню? Неужели вы думаете этим научить ее чему-нибудь? Научить добру можно только добром, а бить и ругать — это зло; все это от диавола. Мне жалко всех, кого бьют и ругают, — потому что им больно и они учатся тому же; и жалко тех, кто бьет и ругает, потому что они не знают Бога или позабыли его. Если ты любишь Дуню и желаешь научить ее доброму, то не ругай и не бей ее. Прощайте. Дай Бог вам жить в мире и любви».

Не знаю, как он принял это письмо и имело ли оно влияние на отношения к Дуне; во всяком случае, я желала помочь им.

Теперь гощу здесь и совсем изолирована от простых людей. Беседую с учителями, сравниваю их школы со своей по отношению к успехам. И немножко легче становится, когда услышишь, что и у других также минутами опускаются руки, как и у меня, и является тоже неуверенность, что можно чему-нибудь выучить. А вслед за этим упадком духа является двойная сила энергии. Но в момент упадка духа трудно уверить себя, что это пройдет, что это только временное состояние.

28-го декабря. Я все еще гощу в Ольгине. Сегодня я весь день почти читала. Перед вечером ученики моих знакомых учителей и учительниц сошлись на спевку, после которой 4 хлопца остались ночевать. Они стали петь сами песню «Ах ты ноченька». Я выглянула из своей комнаты, Соколов оглянулся и говорит: «Идите с нами співать». Я подошла, и мы начали петь. Потом затеяли играть в «панаса»[80]. Но тут случилось несчастье — Соколов разбил окно и порезал себе руку.

Игра прекратилась. Все желали помочь горю. Чтобы обвязать его руку, я позвала его в свою комнату. За ним последовали и все другие. После перевязывания они тут и остались, чему я была очень рада. Они стали просить прочитать им что-нибудь, какую-нибудь сказку про лисичку или волка. Я удовлетворила их желанию, но потом предложила что-нибудь по-русски прочитать и, думая, что им будет интересно, начала читать «Бежин луг»[81], так как когда я сама читала, то у меня сохранилось в воспоминании хорошее впечатление от этого рассказа.

Но теперь, как только я прочла одну страницу, я почувствовала, что им не интересно и они скучают. Да и самой скучно стало читать длинные описания природы, которым Тургенев чересчур много места уделяет в своих рассказах и от которых почти ничего не остается в голове. Я пропустила две страницы и начала читать с того места, когда автор натолкнулся на мальчиков, и продолжала читать до конца. Рассказ не произвел на них почти никакого впечатления, и они опять подсунули мне книжку со сказками с просьбой почитать. И так мы до 11 $^1/_2$ ч[асов] все читали. Мне было очень приятно и хорошо в этот вечер. Они не сторонились меня, как обыкновенно.

17-го января 1886 г. Вот я и опять дома. Давно не бралась я за эти листки.

Приехав из Ольгина, я сейчас принялась за дело, но было как-то не так хорошо, как обыкновенно после небольшого отдыха. Хлопцы рассказывали, что им было скучно и они очень ждали меня, но меня это не трогало. Рассказывали они также сны свои про меня, и все я им во сне являлась «сумной», невеселой; а один видел, что меня хоронят и что он не пускал опускать гроб с моим телом и заливался слезами. Они как будто предчувствовали, что мне было грустно...

Несколько дней я, против обыкновения, не читала перед классом Евангелия.

Я хотела узнать, как они к этому отнесутся и заметят ли этот недостаток. Сегодня они, наконец, решились спросить меня, отчего я не читаю Евангелия, и просили прочитать сегодня побольше, взамен упущенных дней. Я с радостью исполнила их желание.

Я убедилась, что я не навязываю им, а они сами хотят слушать это чтение.

В школе сегодня у нас было очень холодно; хлопцы пришли и давай все разуваться, класть портянки в печурку и друг другу обтирать ноги. Писать холодно, что же делать? Со всеми отделениями разом нельзя заняться толком; решили, что все будут читать по Евангелию; среднее отделение — русский текст, а старшее — славянский. Это совместное занятие я переняла у Ф[едора] Э[дуардовича][82], и все остались довольны.

На днях, во время моего обеда, хлопцы набежали ко мне, кто за книжкой, а кто и без всякого дела — так; я же просматривала материал для следующего урока и совершенно поглощена была этим занятием.

Вдруг входят старшина[83] и урядник. Старшина привез мне жалование, а урядник потребовал от меня сведения о моей личности. Они сделали замечание большим хлопцам, что им пора самим учителями быть и что мои ученики настоящие серенькие[84] мужички.

18-го января. После чтения Евангелия Петр Кузнецов спросил меня: по какому тексту я читаю. Я ответила, что по русскому. А что, спрашиваю. — «Да старшина у меня пытал, читаете ли вы нам Евангелие и как: по-русски или по церковному?»

19-го января. Сегодня я не была у помещиков и весь день провела в обществе самых маленьких хлопцев, с которыми я успела и поговорить, и картинки посмотреть, и песнями их позабавить. Только что они ушли, пришла Фекла с одной женщиной. Пришли и стоят, переминаются, ни та, ни другая не начинают говорить о причине своего посещения. Наконец, я вызвала их на разговор. Оказывается, что та пришла просить принять ее сына заниматься по вечерам. Он совсем неграмотный. Она говорит, что сегодня он не дал ей покою, гнал все ко мне. Я приняла. Сегодня же пришел и другой — просит о том же, — тот, что мне раз написал письмо с этой же просьбой. И этого приняла.

Матушка попадья приходила просить увеличить число уроков для ее детей и чтобы я назначила себе вознаграждение. Это дело было при хлопцах, так что, когда она ушла, они начали мне советовать: «Надежда! Вы прямо рублевку с них берите». А другой кричит: «Hi, це мало, треба пятишницу с них взять» и т.д.

20-го января. Погода сегодня была совсем плохая, так что только самые рьяные школьники пришли. Занятия шли у нас обыкновенным чередом. Перед обедом Данила попросил меня прочитать ему сказку: «Царевич и два его товарища»[85] (Из «Рус[ской] кн[иги]» 3-2[86]), а после обеда — «Солдаткино житье», оттуда же. Оба рассказа им очень понравились.

Вечером ученики собрались в полном комплекте, даже сверхкомплектных оказалось двое. Учились до 10 ч[асов] вечера. Два из них очень любят арифметику, и мы увлеклись деланием задач.

26-го января. Всю эту неделю мне было очень скучно: занятия не могли идти хорошо, потому что вместо 47 человек являлось только 12-14 мальчиков.

Погода была ужасная; ветер срывал крыши. Трое рьяных школьников, несмотря на погоду, ходили в школу. Я их уговаривала переждать и не ходить пока в школу, но они не слушали и, наконец, доходились до того, что заболели и пришлось нанимать подводу, чтобы доставить их на хутор. Оказалось, что они заболели корью и что другие в этом хуторе также больны этой же болезнью. Тогда мне пришлось распорядиться, чтобы с того хутора никто не приходил в школу. И все эти холодные дни я занималась только по утрам, а остальное время сидела на лежанке и читала Дуне книжки. Она просила дочитать ей «Мокея» («Кривая доля» Савихина[87]), которую мы давно уже начали. Я прочла ей, и, когда мне оставалось дочитать только два листочка, в это время пришли вечерние ученики и прослушали конец. Одному из них так понравилось, что он попросил дать ему домой, чтобы весь этот рассказ прочитать.

Осип принес «Франциска»[88] и сказал, что хорошая книжка! «Как, — говорит, — у него ничего не было, а женщина просила у него милостыню, так он и Евангелие даже отдал, чтобы она продала и купила бы себе что нужно. И просто так ходил и одевался; не любил, чтобы богатая одежда на нем была»... и т.д. Он долго мне рассказывал и спрашивал, отчего он «не наш святой».

Я повесила у себя в хате картину: «Страдания И[исуса] Христа». Хлопцы рассматривали ее и делали свои замечания о том, как воины больно бьют Христа. А Дуня и говорит: «Прочитайте, что подписано. Мабуть мы робим Ему ще больнее, чем вони Его бьют». Они прочитали.

Вчера я была на «подвесілке» у Феклы. Иван, старший брат Дуни, женится на какой-то бедной девушке, как и он сам. И про него говорят: «горе женится, а беда замуж выходит». На подвесілке было бы очень хорошо, если бы Фекла не прибила Дуню, которая подняла плач. После вечери вошли музыканты: скрипач и на цитре[89]. Стали играть плясовые и стали выступать пары танцоров, и старые, и молодые. Я ушла, когда еще не все переплясали, и не знаю, что потом у них было. Свадьба эта обошлась им более 30 руб. За венчание 11 р[уб]., за невесту 7 р[уб]., водки 2 ведра[90] 8 р[уб]., подарки 2 р[уб]., говядина, сало и пр. около 2-3 р[уб]., мука для паляниц у них своя, не покупная. Фекла очень рада, что женит сына и невестка попалась работящая, почтительная и чистоплотна.

6-го февраля 1886 г. Я каждый день воюю с своими учениками: шумят, смеются, дерутся и все такое, самое обыкновенное в этом возрасте, но подчас и досадно, что они очень шумят.

Во время обеденного времени у нас происходит пение гамм, интервалов и простых молитв, но я совсем не умею этим делом заниматься и потому — плохо. 20-го января поступил ко мне еще новый ученик, очень способный, между прочим (15 л[ет]). Завтра мы кончаем букварь, все буквы уже прошли, и читает хорошо, пишет еще медленно, но хорошо. Это первый случай, что мне удалось так скоро выучить читать. Он чрезвычайно доволен и с удивительным

старанием все делает, несмотря на то, что вечером у меня еще свободнее, чем в школе. Во время учения позволяется все — и говорить, и смеяться, и все веселы, а дело идет, хоть и не так скоро, как может быть у других, но зато весело; и я не учительница, а только помощница — товарищ. Вечером с ними я отдыхаю.

9-го февраля. Круг моих читателей все расширяется и потому каждую книжку (изд[ания] «Посредника») я встречаю с распростертыми объятиями. «Сократ»[91] очень нравится, а «Франциск» нравится, но не так. Я сама читала нескольким ученикам эту книжечку, и не произвела она особенного впечатления. «Гарна книжка», но и только. Мне лично тоже не нравится — остается какое-то расплывчатое впечатление, а кроме того и язык не такой простой, встречаются выражения: «восторг», «восхищение» и т.д., которые не понятны. Все же книжка хорошая, но второй раз не захочется читать. Самый большой успех выпал на долю «Двух стариков» и других произведений Толстого.

Большие певчие просили меня подготовить голоса из моих учеников. Так что я едва успеваю пообедать, потому что в эту большую перемену я упражняю их в пении. В воскресенье же после заутрени все певчие приходят ко мне, и у меня происходит что-то вроде спевки, посторонние же приходят послушать, и хата моя тогда точно бочонок, наполненный сельдями.

На днях вечером девочки поповы пришли и спрашивают меня: как лучше жить — кривдой или правдой?

Я обратила этот же вопрос к ним. А они говорят, что из сказки («О Кривде и Правде») выходит, что кривдой лучше жить, потому что и писарь и судья сказали им (т.е. Кривде и Правде) так. Ученики мои тоже стали говорить, что из сказки выходит, что кривдой лучше жить. Я хорошо не помнила этой сказки, и потому мы ее сейчас же все прочли. Я им сказала, что выводить заключение из слов писаря и судьи нельзя, потому что, кто кривдой живет, тот и скажет, что кривдой лучше жить, и наоборот. И в опровержение того, что кривдой хуже[92] жить, я привела то место из сказки, где говорится, что кривда знается с нечистым. Они согласились со мной и сознались, что не так поняли.

Без даты. Сегодня, по случаю непогоды, ученики плохо собрались, и притом у нас школа была не топлена — опять пришлось нам мерзнуть. До начала класса я начала читать «Фабиолу»[93], но скоро послышались протестующие голоса, просящие начинать учение. Те же, которые были заинтересованы чтением, просили еще хоть немножечко прочитать. Я прекратила чтение, обещав дочитать после обеда. Но после обеда попалась мне книжка с хохлацкими сказками; я прочла им несколько сказок, что их очень позабавило. Потом, позанявшись, я дочитала им «Фабиолу». Им понравилась эта книжка, только незнакомые имена очень путаются у них. Вечером Грицько (17 лет) принес две книжки: «Где любовь» и «Братья» Сетковой[94]. Про первую сказал, что очень хороша, так хороша, что он два раза ее прочел, а про вторую сказал, что ему не нравится. Я спросила: отчего? — «Да что ж, там только ругаются, да и толь-

ко». Пришел сельский писарь, который прошлый год ходил ко мне учиться по вечерам. Он долго переминался, ничего не говоря, но, наконец, сказал, что пришел попросить меня написать форму приговора. Я знаю немножко, видела, как их пишут, но, не доверяя себе, обещала ему достать формы от более знающих в этом деле людей.

15-го марта. Сегодня я отпустила учеников в 12 часов на обед. Придя домой, я только что успела съесть корочку хлеба, вдруг вижу, кто-то едет ко мне в паре, якій-то пан, седой, как лунь. Войдя в мою хату, он сказал:

— Вы меня не знаете; я — предводитель[95], приехал с вами познакомиться.

Я ничего не сказала на это и ждала, что дальше будет. Он стал спрашивать о школе: сколько учеников, отделений, сколько времени в продолжении дня занимаюсь.

— Вы, — говорят, — держите очень свободно учеников.

Я спрашиваю:

— Как так очень свободно?

— Да как же! Они у вас стекла бьют!

— Нарочно, — говорю, — они не бьют, а случайно я и вы можем побить. А при такой тесноте, как у нас, было бы удивительно, если бы стекла были целы. Я догадываюсь, что вам об этом сказал N. N.[96]

— Это все равно, N. N. или кто другой, только нельзя же детям все позволять, это в воспитательном отношении даже нехорошо.

Я подумала про себя: а мучить, озлоблять детей хорошо в воспитательном отношении? Сказала же вслух, что гораздо легче поставить на колени и успокоить себя, что это в воспитательном отношении лучше, чем вводить внутреннюю дисциплину, действовать посредством слова?..

Окончив разговор по этому поводу, он оглядел мою хату и, увидя пианино, сказал:

— Должно быть, резонанс здесь хороший! Ну, а вы, верно, раздаете книжки... издания?

— В школе я не раздаю, а частным образом, у себя, даю читать эти книжки и другие.

— Вы будьте осторожны с ними, потому что они не одобрены. Вообще вы будьте осторожны.

— Почему? Разве я замечена в каких-нибудь противузаконных действиях или потому что знакома с...[97]?

— Вот именно поэтому. В школу я сегодня уже не пойду, когда-нибудь в другой раз.

И уехал. У меня осталось от этого свидания горькое чувство: не видав школы, не зная всех обстоятельств, при которых приходится заниматься, и, основываясь только на слухах, берутся обвинять и наставлять. И вместо того, чтобы поддерживать энергию учителей, эти ревизоры, по-моему, только при-

бавляют лишнее огорчение. Вечером сегодня я пошла за почтой к N. N.; там были еще предводитель и М.[98] Я осталась пить чай. Потом N. N. предложил прочитать (из «Ист[орического] Вест[ника]») «Поездка в Ясную Поляну»[99] и настоял, чтобы я была при этом чтении. Во время чтения обращались ко мне с вопросом, нравится ли мне? Я сказала: «Нет, потому что эта статья очень мало дает понятия об образе жизни Л[ьва] Н[иколаевич]а, а наполнена описаниями аллей, дома и т.д.». N. N. же в восторг пришел, что Данилевский[100] восстановил в нем прежнего Толстого. Говорили, осуждали его жизнь. Я отказалась давать какие-либо ответы, касающиеся его личной жизни, так как я ее не знаю. И потом, говорю, важно — согласны мы или нет в том, что он нам говорит, и вот об этом я могу и хочу говорить. Они начали возражать, что он наш учитель и поэтому всякая мелочь, касающаяся его, должна иметь значение для нас и мы можем судить его личную жизнь, потому что он должен давать пример.

17-го марта. Дуня не так милостива почему-то ко мне стала — перестала заботиться о печке. Мне же очень трудно поспеть управиться с печкой, самоваром и уборкой хаты. Я сегодня встала в 6 час., и, когда все уже было готово и чай на столе, я стала будить ее; а она буркнула в ответ: «Чего я буду вставать?» Я не стала ее больше тревожить, но мне было неприятно.

18-го марта. Пришла из школы очень уставшая, так что голос спал, и, к удивлению своему, увидела, что Дуня затопила печку и задумала варить вареники мне на вечер. Она с участием спросила, что со мной. Поставив самовар, мы пили чай, и она попросила меня во время чая почитать, но я не могла. Давно я так не уставала. Но отдохнув немного, вечером мы занимались. Они попросили меня прочитать что-нибудь. Я начала читать «Сорок лет»[101] и хотела остановиться, прочтя несколько страниц; но они очень были уже заинтересованы этою легендой, и сколько я ни порывалась прекратить чтение, — они просили еще хоть немножко прочитать. На Дуню очень сильно подействовало убийство купцов. Она выразилась: «Так в сердце и кольнуло и до се, наче что тут лежит», — говорила она, показывая на грудь.

19-го марта. Сегодня мы дочитали «Сорок лет». Я заметила, что им как будто неприятно слышать речи об отрицании Бога. По окончании чтения все молчали некоторое время. Иван Лавриненко особенно упорно молчал и сидел, нахмурившись. Впечатление, видимо, осталось тяжелое и смутное; они не могли разобраться в нем. Мне лично кажется, что жизнь Яшникова, после того как совесть его заглохла, описана слишком кратко, и вывод получается как бы неясный. Я не стала задавать наводящих вопросов, а они ничего не говорили.

23-го марта. Сегодня утром я решила, что нужно сходить к N. N., во-первых, потому что давно их не видала, а во-вторых, узнать, лучше ли больному их сыну. Сын выздоравливает, а они гораздо веселее смотрят. N. N., по обыкновению, начал со мною говорить по поводу Л[ьва] Н[иколаевич]а и его произведений, в том числе о «Свечке»[102]. В «Рус[ских] Вед[омостях]» об этом

рассказе появилась маленькая рецензия[103], с которою он совершенно согласен. Автор говорит, что этот рассказ показывает, как сильно живет чувство возмездия у Л[ьва] Н[иколаевич]а, несмотря на его проповеди непротивления злу. Прочтя эту статью, я сказала N. N., что не согласна с ней, потому что из рассказа Л[ьва] Н[иколаевич]а видно, что сочувствие автора лежит к «доброму мужику», который олицетворяет в себе его проповедь; а смерть прикащика есть следствие его жизни и конец его очень естественен и правдив, исключая быстрого пробуждения совести. Конечно, мы не сговорились, и каждый остался при своем. Мне как-то тяжело было у них, хотелось домой.

Когда я пришла домой, у меня явились гости: Никон, Иван и Борис. Мне стало очень весело, стали мы балакать так себе, кое о чем, а потом я начала читать «Брат на брата»[104]. Мы не успели всю дочитать, потому что всем захотелось спать (уже 10 ч[асов] было). Никон попросил меня сыграть что-нибудь из Бетховена. Он сам подал мне книгу с сонатами и сказал: «Из этой сыграйте, як вы называли ...маркс, чи як... коли ховают, та его грают». Ему хотелось «Marche funébre»[105]. Я ему сыграла по желанию, а потом еще сыграла одно Allegro. Иван же попросил ему сыграть из «Русалки»[106] славянский танец. Никон же совсем вошел во вкус сонат, и если когда просит играть, то непременно сонату, а не песенку, как прежде. Этот мальчик очень впечатлительный и чуткий. Я его очень люблю, и он тоже, кажется, любит меня. Словом, мы друзья. Ложась спать, я посмотрела на мешок с пшеном (которого накануне я купила 10 ф[унтов]) и вижу, что там осталось одна пригоршня. Дуня уже спала. Мне ужасно стало обидно — зачем они крадут, когда я им ни в чем еще не отказала. Это обстоятельство меня очень огорчило. Я стала думать, как поступить: оставить ли этот случай незамеченным или сказать им. И решила, что завтра утром я отнесу им остальное пшено и скажу им, зачем они так делают? Раньше я тоже замечала, что у меня то масло, то крупа исчезнет, но я не хотела обращать на это внимание; но теперь вижу, что нужно им сказать об этом.

24-го марта. Сегодня утром, затопив печку и поставив самовар, я разбудила Дуню, а сама взяла пшено и пошла к ее матери. Фекла топила печь, невестка стояла посреди хаты, а Борис только что встал и прибирался. Поздоровавшись, я положила на стол пшено, сказав, что принесла остальное, чтобы оно больше не искушало их. Я обратилась к Фекле и спросила, зачем она так нехорошо делает? Она начала божиться и кричать, что никогда она ничего и ни у кого не брала; что Дунька сама принесла пшена и сказала: «Мамо, я принесла пшена, сварите кулешика!» — «Хорошо, дочко́. А Надежда Даниловна?» кажу. А вона каже: «Надежда Даниловна нічогісенько не скажут; вони николи нічого не говорят, як я вам що даю».

— Это верно, что я никогда ничего не скажу, если она дает, но если крадет и дает, то я всегда скажу, что это нехорошо, и постараюсь удержать ее или кого-либо другого от этого.

Фекла не унималась и все кричала. Я удалилась. Когда я пришла домой, Дуня стала спрашивать, где я была и зачем я к ним ходила. Когда я рассказала ей, то она сначала заплакала, а потом сказала, что мать пришла к ней и стала просить пшена. Я не знала, кому верить, и теперь не знаю, кто из них правду говорил. Дуня сказала, что она не будет теперь так делать. Фекла же сказала, что она теперь не придет ко мне. Я говорю: очень жаль, потому что ты за свою вину хочешь меня возненавидеть. Я совсем не хочу ссориться с вами, и буду очень рада, если ты придешь ко мне. Но она не пришла сегодня.

25-го марта. Я отдала переплетать несколько книг крестьянину соседней слободы, в том числе одну книжку, составленную из 9 лучших книжек издания «Посредника». Родственница его принесла мне их сегодня и сказала, что он все их прочел, и лучше всех ему понравилась «Два старика». (Там были еще: «Чем люди живы», «Упустишь огонь», «Бог правду видит», «Где любовь», «Кавказский пленник», «Сократ», «Свечка», «Филарет»[107]). Он попросил через нее, нет ли еще таких книжек почитать. Я дала все остальные, какие есть.

Школа моя сильно уменьшается с каждым днем, так что я думаю, — через неделю я совсем осиротею.

26-го марта. Сегодня «Андреево стояние», и поэтому случаю народу у меня было очень много; большую часть, конечно, составляли ученики. Я пила чай, а один из старших учеников читал Евангелие, около него образовалась кучка. Другой взял книгу «Великие явления природы»[108] — и тоже кучка. Третий сел около пианино и одним пальцем подбирал что-то; товарищи ему помогали. Тем, которые читали Евангелие, я прочла объяснение некоторых непонятных для них слов из книжки, которую они сами мне подали. А те, которые сидели около пианино, просили сыграть и спеть. Мы спели «Коль славен». Потом старшие начали делать задачи, а другие просили объяснить рисунки, встречающиеся в книге. Потом зашла речь между хлопцами и Иваном[109] (крестьянин, бывший учитель в хут. Л[озовый][110]) о «Свечке». Стали хвалить эту книжку и спрашивать, «чи правда, чи ни, что так було. Оце ж, каже, в Широкове е такій прикащик и Михеич е. Коли б ему пидсунут цу книжку, так вiн бы сказав, що це про éго кто-с написав. Оце ж як е так; вiн такій». Вот, говорю, как же вы спрашиваете, правда это или нет, когда у себя дома нашли таких людей. — «Гарна, гарна, книжка!.. И сам избавился от греха, и других отвел, и прикащик трохи надломился через него».

С четырех до семи часов вечера мы все так вкупе сидели. Взрослые все кивали головами, что хлопцы вели себя, как дома. Иван сказал: «Хлопцы, що вы будете робить, як ваша мати уедет?» Это он говорил про меня. Я не люблю, когда меня хвалят, мне как будто стыдно становится, но я была рада услышать такую похвалу, — значит, мои отношения к ученикам хоть немножко напоминают родственные.

Фекла пришла сегодня, попросила денег и платок повязаться. Я с радостью удовлетворила ее. Мне самой неприятна история с пшеном, и я искренно обрадовалось ее приходу.

27-го марта. Сегодня в школе у меня было только 7 учеников. С наступлением поста их стали похищать прямо из школы: отцы сговорятся, отдадут в наймы, и новый хозяин приходит в школу и берет его. Жутко за них становится, жалко; но они, по-видимому, легко отрываются от семьи и идут весело, второпях отвечая на вопросы учеников. Раз случилось, что во время обеда приехали за Данилой (ученик). Смотрю я и вижу, что вся школа двинулась ко мне и всякий заглядывает Даниле как бы в глаза, и суетятся около него — оказывается, что это его проводы.

Фекла опять сегодня пришла, выдумала какой-то предлог придти к чаю. Я бываю рада всегда, когда со мной кто-нибудь разделяет чаепитие, но она возмущает меня своим «хапужничеством», так и смотрит, чтобы ей сегодня унесть. Пила она чай и отворотила громадный кусок хлеба, так что при всей жадности своей не могла съесть и сказала: «Это ничего, хлеб хороший, я возьму его до дому».

28-го марта. Занималась сегодня только с двумя учениками. Вся школа разбежалась. Перед вечерней у меня было очень много народу; все больше матери учеников. Две женщины в особенности мне понравились, и по наружности, и по речам. Они очень сочувственно относятся к обучению детей грамоте и не только мальчиков, но и девочек. «И гарно же дивиться, як дивчина чита», — говорят они. А другая говорит: «Як мій выросте, дак я біспрімінно отдам в школу. Дуже хочется міні, шоб у нас читака бул. Великая утіха, як кто уміе читать и для себе!» Они рассказывали мне про свою жизнь и удивлялись, что я живу так одиноко. Одна из них стала рассказывать, что ей (и другие также видели) привиделось «наче мертвец по комнате ходит». Она очень боится мертвецов, а у них недавно дід умер: они объясняют это явление так, что дід приходил подивиться, так ли они живут, как жили при нем. Когда она рассказывала про это, я улыбалась, а ей показалось, что я от страха смеюсь, она и говорит: «Я вас страхаю[111]?» Я ей сказала, что, сколько бы она мне ни рассказывала, я не буду бояться, и объяснила ей, что наше воображение, главным образом, играет роль в этих случаях. Другие бабы пришли, стали говорить, что их Ванька и Гришка все хвалятся, как придут домой, как вы их тут привитаете. А я им кажу: «Піду спытаюсь, мабуть, вы кажнаго дня на колюшках стоити». — «Ні, кажут, мамо, вони и ругаться ни як не велят, а сами ни бьются, ни ругаются». — «А на нашу думку, як побьешь, так наче скорій він пойме и разумнійше буде». Эти слова уже были ответом на мое подтверждение, что я не бью их и не ругаюсь. «Як придут до дому, так зараз за стіл, книжки развертают и сидят. Я скажу: хлопцы! вы цілый дінь сидели, підить внесить дровец. — "Что ж, что сиділи, так мабуть мы там ни то родили, что теперь". — И гарные ж вы им книжки даете; одна

книжка так в плач нас ввела». — «Какая?» — спрашиваю. — «Да та, что про швеца Семена, та Михайлу, та и гарная яка книжка; така гарна, така гарна!»

29-е марта. До вечерни пришли ко мне один взрослый ученик и товарищ его. Они стали просить меня рассказывать им про движение земли и луны, так как они слышали от одного человека, которому я объясняла, но от него не поняли. Я объяснила им и старалась показать наглядно. В атласе[112] лежал у меня № «Детской Помощи» в котором «Учение 12-ти апостолов»[113]. Я им прочитала, они сейчас же узнали, что и в Фабиоле то же самое.

30-го марта. Григорий (ученик) забежал от обедни второпях: «Дайте мне ненадолго, что вы нам вчера читали». Я дала.

Фекла сегодня пришла и начала говорить про историю с пшеном: что ей было так совестно, что она два дня все никак не могла собраться с духом, чтобы придти ко мне. Я ей сказала, что просила забыть и не поминать больше про это, а что совесть ее мучила, то это хорошо.

Василий, брат ее, пришел и сидел у меня. Фекла говорит:

— Василь, Галька казала, что у тебя рубаху украли, да еще новую?

— Ну, что ж, пускай берут. Один Бог может обидеть, а люди не могут. Он дает, Он и берет.

В этих немногих словах, по-моему, выразилось его отношение ко многому. Он пришел просить у меня денег взаймы и просил 10 р. Я сказала ему, что у меня ни копеечки не останется, если я отдам 10 р[уб].

— Ну, так я, — говорит, — 6 р[уб]. возьму, а 4 р[уб]. принесу вам.

Так и так. Когда я ему отдавала, то первым делом подумала про себя, как это я останусь без копеечки, и мне нечего будет есть?[114] Зачем являются такие соображения? Просят — отдай! Нет, — а как же я-то буду? И вечно забота о себе подставляется и мешает!

Пришел старик Забара попросить бумаги для письма к сыну. Он стал говорить, что хочет известить сына о смерти своей старухи. Воспоминание о ней вызвало слезы, и он заплакал.

Дуня совсем дома теперь не живет, она, как серна, бегает по долам и лесам: лазит по деревьям, качается на них, ест «пролески» (цветы) и никак ее не удержишь дома и не засадишь ни за какую работу. Возьмет, сядет, а через минуту ее уже нет. Придет домой и сейчас же спать заляжет.

2-е апреля. Настает время затишья для нашей учительской деятельности, а вместе с тем и общение с крестьянами уменьшается. Как чувствовалось зимой, что я нужна им; так теперь чувствуется, что не нужна. Пока еще ничего не имею в виду, чем заняться и к чему пристать — все только думаю об этом, хочется быть полезной тем же, окружающим меня, людям.

3-е апреля. Семен Балюков принес мне молока: я покупаю у него. Он живет на хуторе. Я только что встала, когда он пришел. Он очень любознателен, и потому у меня с ним всегда очень длинные разговоры. Сегодня он на-

чал говорить что-то о воздухе и стал спрашивать. Я ему рассказала о составе воздуха, о частях, годных для дыхания, и т.д. — словом, постаралась вкратце передать все, что сама знаю; только не знаю, составится ли у него что-нибудь ясное из моего толкования. Сегодня был у нас инспектор[115] и не застал, конечно, ни одного школьника. Он сказал: «Первая школа, что я не застаю ученья, чем это объяснить?!» Я говорю: очень просто — началом полевых работ.

— Да, но ведь и в других местах начались работы, а учатся же.

— Ну, может быть, — говорю, — наш народ беднее и потому праздных людей, даже хлопцев, не остается.

Он очень подробно справлялся о всех мелочах, которые мало могут иметь значения, и очень недоволен остался сообщенными мною сведениями.

— Ничего, ничего у вас нет! Я опять остаюсь как в тумане.

Он сказал «опять», потому что прошлый год он приехал еще позднее, и не только учеников, но и меня не застал. У меня всегда неприятное что-то остается от этих посещений. На главное, на то, что сделали ученики с помощью учительницы, мало обращается внимание, и вот это-то неприятное и есть, я думаю.

Пастухи-хлопцы целою гурьбой пришли ко мне воды пить. Напившись, уселись перед моею хатой, а я стала смотреть, что они делают. Один из них снял с другого шапку и бросил в канаву с водой. Этот стал реветь, достал свою шапку и хотел снять с своего обидчика и сделать то же. Я остановила его, и он послушался. Только что стала я удаляться от них, а этот, которого я защищала, начал дразниться. Хлопцы-школьники начали мне кричать: «Надежда, вас Егорка перекривливает!».

— Ну, что ж, пускай дразнится, — говорю.

Через несколько минут этот Егорка пришел опять ко мне воды пить, и я уже не поминала о том, что он дразнил меня, хотя у меня было намерение помянуть об этом.

Какая-то незнакомая мне старуха пришла за водой к канаве и, видя, что дверь у меня отворена, взошла в сени и стала у порога. Я говорю: «Чего же ты не взойдешь?» — «Я тiлько подывится зайшла, як у вас в хатi».

Долго она стояла и все осматривала: картины в особенности привлекли ее внимание. Она долго, долго смотрела на «Страдания Иисуса Христа» и спросила: есть у вас ще така картинка?» — «А что, — говорю, — тебе понравилась?» — «Я хочу смотрiть на нее». У меня не было другой и потому я ей отдала свою. Она очень обрадовалась и сказала, что яиц мне принесет. Я отказывалась.

3-го апреля, вечером. Целый день сидела я одна-одинешенька.

Вечером Никон пришел ко мне и просидел до 11-ти часов. Я чинила свое белье, а он рисовал разные фантастические фигуры, и кроме того мы разговаривали. Между прочим, был разговор, который нагнал на меня грусть. Начался он с того, что Никон стал припоминать, как он выучился, и говорит: «Я сам

не знаю, як я выучился», и потом, помолчав, прибавил: «А вы мучились надо мною. Чего вы нас не бьете?».

— Зачем? — говорю.

— Мы бы дюжче слухали вас; меня все сперва страховали, что вы бьетесь!

— Неужели, Никон, тебе хочется, чтобы тебя били? Мне что-то, — говорю, — не верится. От меня ты никогда, надеюсь, не дождешься этого.

Стала я ему говорить о своем чувстве, когда вижу, что другого бьют, ругают — и не только человека, но и животное. В конце концов, сказала, что у меня рука не поднимается и не поднимется на это. Мне жалко, — говорю.

— А вам не жалко было, як мене прошлый год Моисей побил до крови.

— Нет, жалко, — говорю. — Но мне жалко было обоих вас: тебя — потому, что тебе больно сделали, а его — потому, что он нехорошо делает и от него другие страдают: другим же нужно делать и желать то, что себе желаешь.

На эту тему я с ним долго говорила. Он меня очень огорчил своим желанием, и я сказала ему об этом. Так как он очень чуткий мальчик, то мне показалось, что он понял меня и мое огорчение. Я пошла его проводить; ночь была тихая, лунная, вдалеке сверкала молния, в слободе все уже спали.

— Мне что-то страшно, — говорит он, и при этом его нервно передернуло.

Я вернулась домой и долго не могла заснуть, мысли вертелись около этого вечера и разговора.

4-го апреля. Фекла с Ариной (невесткой) собрались сегодня мазать мою хату. Я сказала, что я тоже буду мазать. Они не поверили, но я настойчиво сказала, что буду сама мазать. Фекла оказалась лишнею и ушла. Арина развела глины и мелу, и мы начали вдвоем мазать. У меня сначала не клеилось: я никак не могла вклеить глину гладко. Но потом немножечко приловчилась. Однако скорость моей работы к Арининой относилась, как 1:3. И притом я измазалась ужасно и желтою, и белою глиной, а Арина совсем почти не обрызгалась. Вымазав хату, пришлось вытаскивать вещи, обмывать их. Так мы провозились с 8 утра до 5 часов вечера, почти не отдыхая и не обедая. Потом я поставила самовар, и мы, уже втроем с Феклой, напились чаю с большим аппетитом.

Вечером пришел опять Никон и долго сидел. Я проводила его и обещалась завтра прийти к нему на поле.

5-го апреля. Утром пришел один маленький хлопец, и я с ним занималась, а потом, получив почту, пошла в поле. По дороге встречалось много знакомых пастухов. Они ловили овражков[116] и копались в их норах. Я останавливалась около них, но мне скорей хотелось добраться до Никона. Шла я довольно долго, а все не показывается он со своею паствой. Наконец, увидала я овец, похожих на его; подхожу ближе — пастухов нет. Овцы с удивлением посмотрели на меня, а потом стали смотреть в ту сторону, куда ушли их пастухи. Я села и тоже стала смотреть туда, куда овцы смотрели. Скоро увидала я бегущих от-

туда двух хлопцев. Они ходили пить воду. Пока они ко мне приближались, мое внимание было обращено на овцу, бесстрастно, как машина, жующую свою жвачку. С Никоном был еще Иван Шевченко.

С Никоном я больше всего сблизилась: не только я вхожу в его интересы, но и он в мои. Он знал, что я ходила за почтой, и потому первый его вопрос был: получила ли я что-нибудь. Я развернула «Три старца»[117] и прочла им. Никон не удовольствовался этим и попросил взять домой, чтобы еще раз прочитать. Я сообщила ему тоже свою радость, что А[нна] К[онстантиновна][118] собирается ко мне. Он говорит:

— Я приду, подывлюся, яка вона.

Я говорю:

— Приходи, подивишься и побалакаешь с ней.

— А что я буду балакать с ней?

— Ну, если не ты, так она с тобой поговорит.

— Я знаю що она скаже. Она скаже: ходишь ты в школу? Я скажу: хожу. А хорошо ты читаешь? Я скажу: ловко. Оце и все! — и он мотнул головой.

Я говорю:

— Почему ты знаешь, может быть, она об этом и не спросит?

— Ні, я добре знаю, что спросит.

Потом, немного помолчав, он сказал:

— Я, як увидел вас, та и кажу Иванови, це Надежда до нас в гости иде. А Иван каже: чем же мы ii гоститымо? А я кажу: батигом (палкой).

Я говорю:

— Вот так гарно, Никон, ты меня привитаешь! Це ж міні не треба було идти до тебе, коли так. Ба, якій добрый!

Ему как будто стало стыдно, и он стал спрашивать:

— Вы рассердились и теперь не прійдите більш до мене?

— Ні, кажу, приду; ты, ведь, пошутковал, сказав так: ты ведь просишь меня остаться до вечера, значит, батіг тут тілько к слову пришелся, и нечего мне сердиться.

Долго я с ними сидела; они все просили, чтобы остаться с ними, пока они овец домой не погонят, но я с самого утра ничего не ела, да и поработать нужно было дома. Они просили завтра придти к ним с книжками, чтобы почитать.

Вечером пришли трое мужиков, один за другим, просить денег взаймы, так как они по одному рублю просили, то моего капитала хватило, чтобы удовлетворить их. Вскоре пришла Дуня с работы (она у меня уже не живет), усталая, печальная, и стала говорить со мной, едва сдерживая слезы. Но вдруг не сдержалась и громко заплакала. Я спросила, конечно, о чем она плачет. Она сказала, что ей не хотят покупать новой кофты, а старая вся порвалась, не в чем выйти. Я пошла вместе с ней к ним, чтобы узнать, в чем дело. Оказывается, что причина очень простая — денег нет. Я дала один рубль, и мы рассчита-

ли, что и кофту и платочек можно купить на эти деньги. Дуня повеселела, но, идя домой, она вдруг опять заревела. Что такое? «Они не купят». Мне стало досадно на нее, что раньше времени начинает плакать; поворчала я на нее и перестала обращать внимание на ее хныканье.

6-го апреля, воскресенье. Всего купили, и Дуня в хлопотах, как шить. Хотела я идти к Никону в поле, но погода ужасно холодная. Вместо поля я уселась на призьбе[119] у Феклиной хаты, и скоро около меня образовалась «улица», так называют сборище праздных людей. Сошлись все больше бабы с ребятами. Потом пришло время топить печи и вечерю варить, и мы разошлись, поболтав добре.

7-го апреля. Я только что встала, Никон подошел к окну (он гнал овец на пастьбу) и сказал:

— Что же вы вчéра не прихóдили; я виглядал, виглядал вас — нема! И не спал весь день.

Я сказала ему причину, но мне было жаль, что я не пришла; я не думала, что он будет так ждать меня.

Сегодня очень холодно, пастухи приходят ко мне греться, и я пользуюсь этим временем и предлагаю им заняться: кто почитает, а кто напишет несколько строк под диктовку. Потом побегут, посмотрят на овец и опять продолжаем начатое занятие.

Я не думаю, как всегда было, ехать в Ольгино встречать праздник, а думаю остаться здесь и встретить его в одиночестве, если Никон не придет, — он обещает придти. Все хлопцы просят, чтобы я не уезжала, так как они будут свободны, и мы можем чаще видеться опять.

Николаев дает мне земли под огород, я хочу взять и заняться им с весны, так как потом уже над ним нечего будет работать. А кроме того, хочу входить в работу Феклиной семьи как на огороде, так и в поле. Вот пока что я имею в виду, чем заняться и как жить.

Мои отношения с семьей Феклы остались те же самые. Дуня у меня теперь не живет, чему я даже рада, так как, сколько я ни старалась с ней сблизиться, мы не сблизились и не можем сблизиться больше того, насколько может сблизиться материальная помощь. Ее интересы состоят только в том, чтобы купить себе какую-нибудь обнову или съесть что-нибудь. Мои же интересы совершенно чужды ей, и она не желает входить в них. Вместо Дуни я отыскала себе маленького друга в лице Никона. Он каждый вечер приходит ко мне, и мы делимся впечатлениями дня. Мы очень друг друга полюбили, так что если Никон не придет день, то мне как будто чего-то недостает.

Последнее время Евгений Анатольевич (Николаев) стал что-то постоянно поминать, что мы вместе не можем жить, так как не соглашаемся ни в чем, и называет меня «крайнею».

Все это шуткой говорится, но мне все кажется, что тут кроется серьезное недоброжелательство.

11-го апреля. Вчера, когда Никон уходил, я, шутя, стала ему гладить голову и показала, как гладит мать и как мачеха. Он посмотрел на меня и сказал:

— Оце моя рідна мати, — а потом прибавил: — Надежда! Чего у вас нема діток? Они, мабуть, ловки були б!

12-го мая 1886 г. Была в соседней деревне Ольгиной. Меня, по обыкновению, возил Степан, и Z[120] дал Степану прочитать «Ивана дурака» (сказку Толстого) и потом спросил его, можно ли так прожить, как Иван-дурак. Степан отвечал ему, что отчего же нельзя? Только, говорит, надо отказаться от всего и не противиться злу. Когда я ехала с ним сегодня из Ольгина, он мне все это рассказал. Я спросила его, что такое значит «не противиться злу», как он понимает это выражение? Он сказал: «По-моему, это значит терпеть на себе зло». Меня совершенно удовлетворил этот ответ. Навстречу нам попадались знакомые мужики и бабы, едущие на ярмарку. Предвидя снова встречу с едущими, он сказал:

— Кто е знает — свои или чужие едут? Не так сказал — чужих нет, а сторонние. Чужие, говорят, в болоте живут.

19-го мая. Все это время я занималась самыми обыкновенными делами, нужными только для своей собственной жизни. Затеяла я завести огород, и вот нужно было просить других (Грицька и Бориса) загородить мне его. Работа, кажется, не трудная, и я попробовала вбить один колышек — оказалось, что нужно довольно много силы, и притом все внутренности должны встряхнуться столько раз, сколько стукнешь колом в землю. Я нашла, что за это не следует мне браться и взялась с Грицьком плести. Чтобы не задерживать его, я должна была также скоро плести, как и он; в то время как он берет хворостину, я должна своею перебрать снози[121] и воткнуть, и работа у нас шла очень скоро — Борис не успевал приготовлять хворост. Поработала я так не более двух часов. Потом топор освободился, и я начала приготовлять из оставшегося хворосту дрова для топки. В этот день я не чувствовала никакой усталости. Но зато по прошествии ночи я почувствовала, что у меня все тело болит и в особенности спина и живот, и боль мускульная, а не внутренняя. На другой день я чувствовала то же самое. На третий же день, не обращая на это внимания, я начала возиться над уборкой хаты — мазать печку и доливку. По окончании этого дня, к удивлению своему, я заметила, что боль тела пропала, и я вспомнила пословицу: «Чем ушибся, тем и лечись».

По прошествии нескольких дней. Антон, мальчик 10-ти лет, пасет ватагу; на время обеда он пригоняет ее на выгон, и овцы прячутся от жару под амбары и спокойно лежат все время, пока не спадет жар. И вот в это свободное для него время он приходит ко мне. Сегодня я сидела на призьбе у своей хаты, он пришел и подсел ко мне; я стала его расспрашивать, как они пасут и в ка-

кое время едят. Он пообедал дома и нес с собою коржик на случай голода, но не утерпел — сейчас же стал есть, и половину отломил для меня. Я не хотела брать, но он просил меня есть. И мы ели. А потом я спрашиваю, когда же, в какое время ты пойдешь опять домой, чтобы поесть (это было в 12 ч[асов] утра).

— А тоді, каже, коли прижену[122] ватагу до дому.

Я говорю:

— Ведь, ты здóрово есть захочешь?

— А хиба нельзя перетерпеть?

Вот с которых пор они приучаются терпеть все: и холод, и голод, и т.п. невзгоды. Он принес с собою тетрадь и карандаш.

— Надежда, вы мне кажите, а я буду писать.

И он в неудобном положении, на призьбе, писал под диктант. Меня порадовало, что тут была чисто его инициатива, без малейшего намека с моей стороны об учении.

23-го мая 1886 г. Учитель Николаевых (который иногда исправлял и обязанности объездчика у Николаева и загонял крестьянский скот) подъехал верхом к нашей хате и, любезно раскланявшись, сказал, что он искал нас в лесу, чтобы передать почтовую расписку и ноты, которые, между прочим, не с ним были и за которыми он сейчас же поскакал. Видя его подъезжающим снова, я хотела избавить его от труда слезать с лошади и встала, чтобы взять от него сверток, но он живо соскочил, очевидно, желая войти в хату и побеседовать с нами. Он вошел и сел. Начался безразличный разговор, о погоде, о собаках. Я спросила его:

— У вас завтра стрижка, кажется, будет?

— Да, кажется.

— Какую же, — говорю, — вы роль там будете играть?

— Ах, это вы говорите о том, что я ездил в объезд!

— Нет, о стрижке; какую там вы роль будете играть — зрителя, распорядителя или еще кого-нибудь?

Но он уже не слушал меня и стал оправдываться относительно объезда.

— Я, — говорит, — удивляюсь, как они не боятся вас?

— Чего же, — говорю, — им бояться меня, они знают, что я не буду их ловить и не донесу.

— Но все ж таки они знают, что вы в хороших отношениях с Николаевым... А как же, по-вашему, не оберегать? Не брать штрафов? Тогда все имение растащат.

Я ему сказала все, что думаю об этом. Что штрафами они только увеличат воровство, что зло злом не искоренишь. И когда он вопрос прямо поставил: что бы я сделала с вором, если бы он украл у меня, то я сказала, что простила бы. Я не запомнила всего, что говорилось еще. Он сказал, что подумает и, может быть, переменит свой взгляд. Так мы распрощались.

23-го мая. Николаев только что приехал и сейчас же прислал за мной, чтобы явиться к нему тоже сейчас. Я пришла. Прихожу и, заранее предчувствуя какую-нибудь неприятность, нисколько не удивилась, когда он сказал, что призвал меня по очень неприятному делу. Учитель передал мой разговор с ним, и началось обвинение меня в том, что я собираю народ и проповедую «непротивление злу». Я попросила его хорошенько подумать о том, что говорить, но он не слушал меня и продолжал говорить свое, и, между прочим, сказал, что я возмущаю народ и что он просит меня оставить лучше школу и подать прошение в училищный совет о переводе меня в другую школу. И при этом успокаивал меня, что в училищном совете он ничего не будет говорить обо мне. Так как перед этим только он утверждал, что я противозаконно поступаю и что он принимал присягу и должен оберегать порядок, то я ему ответила, что он может и должен даже предать меня суду.

Но он сказал мне, что предавать суду он не будет меня, а лучше будет, если я удалюсь. Я, конечно, согласилась исполнить его желание.

31-го мая. Сегодня мы, т.е. я и знакомые, гостившие у меня (О[льга] Н[иколаевна][123] и А[нна] К[онстантиновна]), отправились из Ивановки. Я поехала с своим неизменным Степаном. Я с ним так сдружилась, что так и тянет поделиться с ним тем, что лежит на сердце, и я не удерживаюсь, говорю с ним. Вот и сегодня я говорила с ним о том, чем голова моя занята была, а именно: своим удалением из Ивановки. Он спрашивал, почему пан недоволен. Я сначала ответила ему неопределенно, но он сам догадался и говорит: «Я так думаю, что ему не нравится, что к вам люди приходят». Я подтвердила это и сказала ему в общем, чем он недоволен и чего боится. «Куда ж вы теперь уедете?» Я ему сказала, что уезжать мне никуда не хочется и что я хочу предложить крестьянам деревни Ольгиной учить их детей. Он обрадовался за ольгинских крестьян, одобрил мое намерение и сказал, что они, наверно, будут очень рады. Между прочим, я попросила его узнать в разговоре с ними, как они к этому отнесутся. И так я переселяюсь опять куда-то...

Часть III. Октябрь 1886 г.

20-го октября 1886 г. Сегодня я приехала из Петербурга домой, чтобы сдать школу моей наместнице, Софье Никаноровне, и попрощаться с «дытішками» и друзьями. Подъезжая к своей хате, я увидела ее в очень плачевном состоянии: огород разгорожен, призба разорена, не вымазана, — словом, она производит очень и очень грустное впечатление. Когда я вошла в хату, на меня пахнул тяжелый, теплый, но сырой воздух. Печка была только что вытоплена, и труба закрыта. Я, не раздеваясь, прошлась раза два по хате, посмотрела на запустение, царившее в ней, и хотела тотчас же идти к Фекле. Вдруг дверь быстро растворилась. Смотрю — Дуня. Она вбежала и, рыдая, кинулась

мне на шею. За ней вбежала Фекла и — то же самое. Они долго плакали, и я не могла утешить их, тоже едва сдерживая слезы. Они никак не могут себе представить, как теперь будут жить без меня. Рассказывали мне, как они все лето скучали, плакали по мне и с каким нетерпением ждали меня. Дуня говорит, что это лето она только на работе «трохи позабывала» обо мне, а то все грустила и плакала, еще не зная того, что придется навсегда расстаться. За ними тотчас пришла и Арина (невестка Феклы), а за ней пришли хлопцы целою гурьбой и четыре мужика. Хата наполнилась так, что негде было повернуться, и я почувствовала, что приехала домой, к родным. Я поставила самовар, и мы стали пить чай. Сейчас же натащили мне хлеба, кавунов[1], молока, картофеля, масла. И это делают голодные! Я так была тронута их радушием, что растерялась и не знала, как выразить им свою благодарность. Разговаривали о том, о сем, потом Мирон (брат Ивана солдата) обратился к хлопцам и сказал:

— Хлопцы! Ну як ви теперь без своей матери житымо? Вони до вас, як до матери біжат, — обратился он ко мне. — Заросте, мабуть, дорожка до цеей хатки!..

Я ответила, что, может быть, Софья Никаноровна будет в ней жить.

— Ні, вона туточка не буде; кажут, у панів житымо.

— Ну, тогда, конечно, и дорожка зарастет, — сказала я.

В хате стало очень жарко. Когда все ушли, у меня страшно разболелась голова и начали являться мрачные, невеселые мысли: жалко расставаться, жалко оставлять начатое дело; оторвавшись от него, не знаешь, куда деть себя. «Не знаешь, куда деть себя!..». А здесь предъявляются требования на мой труд и на все, что я в силах и могу дать. И нужно уходить. Обидно!..

21-го октября. С самого раннего утра опять начали посещать меня. Но в 9 час. вдруг около моей хаты остановился экипаж. Это Марья Алексеевна (Николаева) прислала за мною. Самого Николаева не было дома. Я у них обедала и пробыла до 2-х часов. Чувствую ее доброту, но вместе с тем, после нескольких слов и расспросов, нам как-то не о чем стало говорить, и мы надоели друг другу. Придя домой, я застала дожидающихся у меня хлопцев. Потом мало-помалу опять стали сходиться взрослые. Опять хата наполнилась так, что если бы еще два-три человека пришли, то негде бы было стать, не только сесть. Все сожалели, что я уезжаю, и каждый высказывал это сожаление посвоему. Степан сказал:

— За эти два года, что вы здесь были, много я поперечитал и много хорошего узнал. Свету больше увидел. А теперь, как вы уедете, и свету у нас убавится.

Я сказала, что, может быть, Софья Никаноровна еще лучше меня угодит вам. Она же, — говорю, — кажется, добрая.

— Мы же, — говорит, — ее уже знаем, учились у нее. Она добрая, пока только здоровается, а за ученьем страсть сердита.

— Да куда там. Она нам недоступна, горда. К ней не пойдешь; до вас же всякий идет, без стеснения, как к своему брату, мужику.

А Борис сказал:

— И що воно таке значит? Вона и не знатного рода, а бач яка гóрда. А коли из нашего роду запанствуют, так и дивится не хочут на нашего брата. Вот як Евгешка (модистка у Николаевых): вместе колись грались, бывало, у ней сопляки біжат, аж самому тошно стане, а теперичко поди-ко! Поклонишься ей, а вона прямо и не дивится! А вы вот зáраз не такие.

— Я не понимаю, — говорю, — чем нам гордиться друг перед другом, когда мы все — люди, и когда я сама вижу, что другие гораздо даже лучше меня. И потом наше дело, я думаю, не в том, чтобы гордиться, а в том, чтобы любить и помогать друг другу; и помогать не только деньгами, вещами, трудом, но и добрым словом, которое иногда бывает нужнее всего другого.

— Это вы верно говорите, — подтвердили Степан и Мирон, — только мало таких людей теперь на свете!

— Кто знает, — говорю, — может быть, и много, да и, наверно, много, только мы их не замечаем.

Опять стали все хвалить меня.

— Вот вы, — говорю, — все сидите да хвалите меня, я и возгоржусь, подумаю, что я и вправду очень хорошая, а на вас и дывиться не стану.

Иван Лавриненко и Борис разом заговорили и почти одно и то же: «Ні, ні, ні, це не буде; як скажут про вас таке, так не повіримо». Все засмеялись, а баба Фекла прибавила: «Бач що кажут». Потом продолжала:

— И що воно таке зробилось, що пан прогнав вас? Я, бач, так думаю, що це беспрімінно пан Хведько (Федор Павлович, дядя Николаева[2]) с о. Никанором наробили. В літку частенько піп[3] іздів до его.

— Я же здесь, — говорю, — не была и ничего этого не знаю, а знаю только-то, что Евгений Анатольевич давно уже недоволен мной, ученьем моим и всем, что я делаю, а потому и попросил меня уйти отсюда. Вот я и ухожу.

Борис начал делать разные догадки в подробностях, почему пан мог быть недоволен мной и говорит:

— Це, мабуть, им не нравится що вы усе з мужиками да з дытішками водытесь?

— Не знаю, — говорю, — может быть, и так.

Иван (солдат, брат Мирона) спросил:

— Куда ж вы поідіте? На місто, чи що?

— Нет, — говорю, — я теперь без места. Но у меня думка така, что раз уже заехала сюда, то мне хотелось бы эту зиму где-нибудь здесь поблизости прожить — ребятишек поучить и еще чем могу послужить. Так вот я и думаю, не захотят ли липовцы принять меня: я буду хлопцев учить, а они кормить меня. Платы я с них никакой не хочу брать, а лишь бы только не дали мне

умереть с голоду. Вот и все. Как вы думаете, согласятся они меня принять?

Не успела я всего этого договорить, как все весело заговорили, но я слышала то, что говорил Степан, так как сидела рядом с ним. Он говорил:

— Кабы наши петровцы узнали про это, так они бы не выпустили вас, и все бы хлопцы до вас ходили.

— Вот хорошо! А в школе, говорю, кто бы учился?

— А хиба нам нужно? — отозвался какой-то хлопец.

Мирон сказал:

— Тiлько горе, хаты нема?

Кто-то ответил:

— А оця? Кто в ней житымо? Стоятымо, да стоятымо такочко, без дiла.

— Я бы, — говорю, — с радостью у вас осталось, только ведь если я останусь здесь, значит, и вы, и я пойдем против желания пана. А из этого может выйти лихо. Нет, — говорю, — как мне самой ни жалко и ни трудно расставаться с вами, а, знать, придется. Ну, да если липовцы примут меня, то мы будем видаться, и это хорошо.

— Це правда ваша, — сказали они.

Я подумала: вот, говорят, что голодным не до грамоты, что нужно сначала дать возможность быть сытым и не холодным. Но я вижу, что и голодные ищут культурной пищи и они видят там свет и всеми силами стараются пробраться к нему. Урожай здесь плохой, значит только наполовину зимы, дай Бог, чтобы хватило своего хлеба. Но чем объяснить, что, несмотря на это плачевное положение, они берутся с радостью кормить лишнего человека, лишь бы он дал им той духовной пищи, от недостатка которой они также голодают?

Еще о чем-то говорили, а потом стали просить почитать, а то, говорят, отъiдiте, так николи не почуемо, як гарно читают. Я прочитала «Кающийся грешник»[4]. Всем понравился этот рассказ. «Ну, а теперь еще что-нибудь прочитайте». Я начала читать из «Цветника», «Апостол Иоанн и разбойник»[5]. По окончании посыпались одобрения: «Ох, и ловкая же книжка!», — «Оця мiнi самая лучшая?», «Да и гарно же рассказана» и т.д., в таком роде; но более существенных отзывов не высказывали, а я не вызывала. В заключение я прочитала «Бедный богач». Этот рассказ вызывал смех по мере того, как жадность богача увеличивалась. А потом сказали: «Вот так разбогател! Оно ж так и есть: усе мало, хоть и богат, усе мало!»

— Ну, читанья наслухались, теперь заграйте нам.

Я заиграла и даже спела «Жито маты» и еще несколько песен. Из выражений лиц, одобрений я могла заключить, что я доставила им большое удовольствие. Степану первый раз пришлось слышать такой концерт, и он все время сидел около меня и следил, как я играю, а Мирон басом подтягивал мне, так что у нас выходило недурно. Потом я им сыграла несколько арий из «Жизни за царя» и спросила, понятна ли им эта музыка.

— Та чего ж оно понятно? Слухаешь, так гарно.

Мирон сказал:

— «Міні понаравилась: тут наче співают то веселое, то жалибное».

Потом зашло дело — как пианино устроено. Я рассказала и показала весь механизм его. Потом кто-то из хлопцев увидал на полке глобус и спросил: «Що це за кавун?» Тут пришлось прочесть маленькую лекцию о вращении земли, о временах года, о поверхности земного шара, чем он наполнен внутри, и об извержении огнедышащих гор. Все это цеплялось одно за другим по их вопросам. Было уже половина двенадцатого, я уже уморилась. Стали собираться уходить. Мирон и Иван, прощаясь, сказали, что они теперь каждый день будут приходить, пока совсем не «выпроводят» меня.

22-го октября. С утра я хотела отправиться в хутор Липовцы[6] (в 5-ти верстах от нас), чтобы переговорить с крестьянами о своем переселении к ним. Но мне пришло в голову, не лучше ли справиться сначала, как на это пан посмотрит. Я пошла к нему. Он еще не приехал. Мария Алексеевна была дома. Я ей сказала, что хочу поговорить с ней. Она как будто удивилась. Мы отправились в отдельную комнату, и я ей рассказала о своем намерении поселиться в Липовцах, но мне хотелось бы, говорю, раньше знать, не будет ли мое соседство настолько неприятно Евгению Анатольевичу, что он постарается и оттуда меня выжить?

— Я, право, не знаю, Надежда Даниловна, — сказала она с улыбкой.

— А мне кажется, — говорю, — что вы очень хорошо можете сказать за Евгения Анатольевича, так как вы хорошо знаете его и, вероятно, говорили с ним о моем удалении. Поверьте, — говорю, — что наши отношения нисколько не пострадают от этого.

— Ну, Надежда Даниловна, я скажу вам, только, пожалуйста, чтобы это осталось между нами. Видите что: у нас не было речи, что вы можете быть в Липовцах или где-нибудь поблизости. Мы были уверены, что вас здесь не будет. Но дядя, Федор Павлович, очень против вас и говорит, что он давно бы удалил вас, если бы Евгений Анатольевич не был с вами в хороших отношениях.

— Ну, так значит, — говорю, — мне не дадут ужиться в Липовцах?

— Я, право, не знаю, Надежда Даниловна, — сказала она с тою же улыбкой, — я передаю вам то, что слышала.

Я хотела еще поговорить с ней по поводу этого, но она позвала гувернантку, и разговор перешел на их семейные дела. Немного погодя, я пошла домой. Тяжело как-то на душе было: из-за какой-то мнимой опасности затеяли целую историю, и меня, мнимо опасного человека, гонят и гонят подальше от себя... Придя домой, я у себя уже застала хлопцев, но я не вдруг могла отбросить все свои думы и войти в беседу с ними. Вечером опять пришли взрослые, несколько вчерашних и новых посетителей. Опять читали и играли, но разошлись раньше.

23-го октября. Сегодня открытие школы. До молебна хлопцы все сошлись у меня. Но скоро их позвали. После молебна они опять пришли ко мне. Пришли и хуторяне. Спрашивают, отчего я уезжаю. Думают оттого, что мне «погано» жить в Петровке. «Хоть бы ще цю зиму поучили нас, а тоді і поіхали бы».

— Что делать, — говорю, — хлопцы, не в моей это воле. У вас другая будет учительница. Будет учить вас так же, как я. Вы полюбите друг друга, и вам так же хорошо будет.

— Ні! оця не така уж буде, до ней и не подходь. Вона и книжóк не даватымо. Тільно учитымо, тай годи. Ні, ні, це не така.

Вот что они мне ответили. Мое старание помирить их с новою учительницей давало плохие результаты. «Оця, кажут, битымо и за волосья таскатымо».

— Да ведь вы, — говорю, — этого и хотели. Помните, как я с вами об этом спорила, и вы сами советовали мне наказывать вас, обещая при этом лучше слушаться меня?

— Да це колись[7] казали. А теперь так наче не захочется и учиться, як так буде.

Антон (ему 10 лет) все время молчал и слушал, опершись локтями на стол. Потом вдруг торопливо заговорил (у него такая манера говорить):

— Оце я не пиду до ней, Пилипп не пиде, Грицько не пиде, уси б не пишли! И школы не було б — кого вона учитымо? А мы казатымо: мы хотим до Надежды ходыть.

Я и все хлопцы засмеялись.

— Оце, дак так «скирда» каже!

Его дразнят «скирдой», потому что у него длинный, раздвоенный череп и белые, густые волосы. Мне удивительно было услышать от этого маленького хлопца такой обдуманный проект стачки, и я как-то не могла сразу поверить своим ушам. Я опять начала говорить им в том же духе, чтобы потушить их неприязненное отношение к Софье Никаноровне. Но это было довольно трудно, так как они уже знают ее по рассказам отцов, братьев, учившихся у нее. Поповы дочки пришли звать меня в гости. Я пошла. Матушка и сестра ее стали выражать свое сожаление, что я уезжаю, и главное то, что некому будет учить их детей. Софья Никаноровна не берется. Напившись чаю, я пошла домой. Хлопцы уже ждали меня. Стали просить почитать. Им попался на глаза «Иван Дурак», и они настояли, чтобы прочитать его. Я начала читать, и, когда читала то место, где чертенята рассказывают старому дьяволу свой способ, как поссорить братьев, Грицько не вытерпел и сказал: «Да и ловко він придумал! знает що зробить!» Нужно заметить, что все то, что чертенята задумали сделать с братьями, он испытал на себе. Дед выгнал его отца со всею семьей (жену и 7 сыновей, из которых старшему, Грицьке, 12 лет) и ни хаты, ни хлеба, ни одежды — словом, ничего не дал. «Свалил их в одну кучу, а жрать

нечего» и, конечно, жизнь их полна недовольства, руготни и упреков. Это лето (срок 15 ноября) Грицько и его два брата живут в найме. На хозяев своих они не жалуются, говорят, что те жалеют их и дают работу по силам. А мне сколько раз приходилось слышать, что отцы должны были нарушать договор с нанимателями, так как 9-ти и 10-летних хлопцев заставляют работать то, что под силу только взрослому человеку. Но то хозяева-кулаки. Обыкновенные же хозяева-крестьяне не делают никакого различия между наемным хлопцем и своими детьми. Прочитав сказку, мы занялись музыкой. Никон, по обыкновению, на закуску попросил сыграть «Marche funèbre» Бетховена. В аккордах этого марша удивительная полнота и вместе с тем что-то раздирающее душу. Вот это-то, я думаю, и действует на него.

Потом они пошли домой.

24-го октября. До начала занятий в школе хлопцы собрались у меня. Я хлопотала около печки и самовара, так что не могла все свое внимание отдать им. С двумя братьями Бондаренко я сегодня только что увиделась после разлуки. Один из них, Иван, сидел, понуря голову. Я спросила:

— Бондаренко, чего ты такой невеселый?

— Так, нічóго.

Помолчав, он прибавил:

— Скучно нам буде без вас! — и опять наклонил голову.

— Він сейчас заплаче, — сказали хлопцы.

— Так що ж? — сказал за него брат, Семен, — вже плакал много разів.

— Да як же не плакать, — отвечал Семен, — хиба богато таких людей? Ні, хлопцы, такой учительши більш нам не нажить!

— Отчего, — говорю, — не нажить? Наживете! Мне ведь, — говорю, — тоже нелегко с вами расставаться, и я только, только что не плачу.

— А хиба у вас не буде хлопців?! Ще більш, мабуть. А у нас не буде вже такой учительши. Не буде, не буде и не кажите! — сказал он на мое возражение.

— Я тоже, — говорю, — думаю, что у меня не будет больше таких хлопцев. Оттого-то нам так трудно и расставаться. Мы успели полюбить друг друга, и нам кажется, что с другими людьми у нас не будет уже той любви. А это ведь неверно. Любовь живет в каждом человеке, и потому, если мы расстанемся, то ведь она не пропадет, а останется в каждом из нас и будет скреплять всех, с кем нам придется жить. Вот у вас теперь Софья Никаноровна будет и, наверно, если вы ее полюбите, то и она вас. А я тоже где-нибудь буду, и буду жить с какими-нибудь людьми, с которыми любовь точно так же соединит меня.

Семен то и дело порывался возражать мне, но я все же успела досказать все, что хотелось. А потом он сказал:

— Ні, ні, це не буде. Коли б вона така була, як вы. А вона з нами и не забалакае.

Грицько прибежал и сказал, что Софья Никаноровна уже «иде на гору». Они все похватали свои шапки и побежали в школу. После обеда они опять пришли ко мне. Я сидела и шила. Они вбежали и тотчас стали критиковать приемы Софьи Никаноровны: «Погано учит!», «Не так, як вы». Я стала им говорить, что ко мне они привыкли и потому им больше нравится, как я учу, и что когда привыкнут к Софье Никаноровне, то уже не будут так говорить о ней. Но они отвергали мои доводы, указывая на ее гордость и неприступность. Я стала их расспрашивать, кому как жилось летом, и тут посыпались эпизоды различного характера с непременным прибавлением колотушек и волосянок, получаемых от объездчиков и прикащиков (это специальное их занятие).

Только, что хлопцы ушли, пришла старуха, мать Семена. Не успела она войти, как заплакала, стала целовать меня и приговаривать: «Уж як мы вас дожидали! як скучали, так прямо аж...» и она махнула рукой. «Дожидали вас як Бога, як рідну мати. А хлопцы каждую ніділю до вас приходили. Придут до дому, та кажут: "ні, ще не прііхала, да це, мабуть, их и не буде!" та журятся[8]. Оце повстрічался міні Семен, иде та плаче, та усе дивится на ті книжки, що вы ему дали, спасібі вам».

Я стала говорить ей, что хотя мне и приходится оставить их, но что меня заменяет другая. «Да цю мы знаем» и опять началась целая тирада в пользу мою. «Вона не выуче, як вы! Ванька теперичко сяде читать, да гарно чита, а мы слухаем, та плачем. Уж мы дякуем[9], дякуем вам: похлопотались коло наших дытей, дай Бог вам здоровьичка».

Я поставила самовар, и мы стали чай пить. Фекла пришла, и мы вместе стали чай пить. Сдиивна продолжала рассказывать о сожалении хлопцев и что старики их хутора поговаривают о том, чтобы просить пана оставить меня. Я ей сказала, что теперь уже ничего не поделаешь — новая учительница назначена и что я на этих днях должна сдать ей школу и удалиться отсюда.

Напившись чаю, я принялась убирать посуду, а они, утирая пот, вызванный горячим питьем, разговаривали между собой. Потом Фекла обратилась ко мне.

— Надежда Даниловна, чи вы пойдете куда, чи дома сидітымо?

— А что?

— Та бач, коломенские присоглашают вас до себя, та шоб и книжечку гарненьку взялы.

— Ну что ж, — говорю, — пойдем; я давно к ним собиралась.

И, проводив гостью, мы пошли. Я взяла 12-й том Толстого[10] и азбуку-копейку[11] для маленького хлопчика, которому очень хочется учиться. Ему всего три года, и он бегает еще в одной рубашонке, но матери всегда большого труда стоит удержать его дома, когда брат его идет в школу. Придя к ним, мы застали хозяйку Горпину за стряпней (она готовила вечерю). Бабуся укачивала внучку, а дідусь с двумя внучатами забавлялся на печи. На столе стоя-

ла зажженная лампа и освещала всю эту семейную картину. Старшего сына, мужа Горпины, не было дома, а младший парубок Якуша только что пришел с портняжной работы. Поздоровавшись со всеми, я дала хлопчику азбуку и рассказала несколько картинок. Он так и просиял. Дедушка смеялся, глядя на его радость, и сказал.

— Ну, Михайло, оце ж треба берегти книжечку, ото ж Даниловны не буде, дак и книжечек не побачишь.

Он только мотнул головой и прижал ее к своей груди. Антон («скирда») подошел к нему, и они оба с азбукой в руках растянулись на печке и стали искать знакомые предметы и время от времени из их угла слышалось: дивись, оце чоботы, оце рогач... Меня попросили сесть к столу и почитать. Но мне не хотелось читать, мне хотелось побыть еще всем своим существом в их семейном мире. Хорошо мне показалось в нем. Пока мы разговаривали и возились с детьми, Горпина в это время успела убраться около печи и, оправив свою головную повязку, села рядом со мной.

Кто-то заглянул и стукнул в окно. Кузьма вышел посмотреть — оказалось, что это хлопцы дожидаются меня. В это время Горпина захлопотала около печки и стола. На столе очутились ложки и паляница, потом она поставила большую чашку с борщом и стала усиленно угощать меня. Борщ был вкусный, и я ела с удовольствием. Михайло тоже, с азбукой в руках, присоединился к нам. Азбуку он осторожно положил на лавку, а когда кончил вечерять, вымыл сначала руки и тогда только взял ее. Все обратили внимание на его заботливость. После борща подали говядину, нарезанную кусочками. Вилок не было, а брали кусочки прямо руками, и каждый расправлялся с ними, как умел. Третьим подали моргуны, это — печенье, похожее на то, что мы называем хворостом. Я ела очень много, но им казалось, что мало, и все угощали меня. Горпина уже успела все убрать и сидела с грудным ребенком. Она прижала его к своей груди и начала целовать его и разговаривать с ним. И, между прочим, и про меня с ней заговорила:

— Оце, Наташка, нажили мы собі родичку, та не надовго! Далеко, далеко Даниловна теперь уіде и не побачишь ii...

Ее сожаление подхватили и другие. Меня глубоко тронули ее слова — чего еще больше, когда называют родной. Да я так и чувствую себя, живя здесь, так меня и притягивает этот мир большой семьи. За эти дни я еще сильнее почувствовала эту связь, и потому мне страшно трудно и больно отрываться от нее.

Пора было идти домой. Мы попрощались. Кузьма пошел проводить нас до ворот. Хлопцы все еще сидели и дожидались меня, так что я вместе с ними пошла домой. Дома мы еще прочитали кое-что и поболтали.

25-е [октября]. Вместо школы хлопцы опять собрались у меня и сидели, пока не возвестили им, что «учительша прійшла». Сегодня я как-то не

разговорчива была с ними — меня охватило грустное настроение. Несмотря на это, они все же и после классов пришли ко мне и оставались до самого вечера.

26-е [октября], воскресенье. После обеда я отправилась прощаться с Николаевыми. Придя к ним, я прошла прямо в комнату гувернантки; туда же пришла и Марья Алексеевна. Она стала меня расспрашивать, куда я поеду и что намерена делать. Среди нашего разговора вдруг влетел Евгений Анатольевич и, как будто ни в чем не бывало, встретил меня с своим бесшабашным радушием:

— А! Надежда Даниловна, сколько лет, сколько зим не видались мы!

Я стала извиняться, что до сих пор не уехала и не очистила его помещение. Он мне ответил на это:

— О, нет, оно мне теперь совсем не нужно; живите, сколько хотите. А вот с Нового года я хочу в вашей хате кабак открыть!

— Ну, что ж, — говорю, — исполать вашему доброму намерению.

Он начал дальше развивать свой план относительно этого учреждения, Марья Алексеевна стала его унимать:

— Ах, Евгений, перестань, пожалуйста, глупости говорить.

— Какие глупости, матушка! Ведь, это чистое благодеяние будет для крестьян. Теперь они пьют водку пополам с водой, а я им буду давать без всякого надувательства.

С окончанием своей речи он обратился уже ко мне. Но я ничего ему не отвечала, я видела, что ему хотелось на прощанье потешиться надо мной и посмеяться над тем, что мне дорого.

Простившись с ними и приняв от них благие пожелания, я пошла домой. Дома меня уже ждали гости, и Дуня занимала их. При входе моем они прямо заявили мне, что еще раз пришли послушать мою музыку. Я, конечно, сказала, что с удовольствием поиграю. Но у нас затеялся довольно длинный разговор по поводу влияния «легкой руки». Зашел разговор об этом в связи с жестоким отношением людей к своим же собратьям.

В отсутствие мое крестьяне нашей слободы поймали конокрада — молодого парубка, с которым захотели раньше суда и расправы разделаться с ним. Они стали мне рассказывать, как его вели по слободе в сопровождении целой толпы, и все, кто имел желание, били его, как кто мог. Некоторые из моих гостей жалели его, а Иван Карпенко выразил сожаление, что ему мало досталось; что если бы он был при этом, то добавил бы сам, что следовало, по его мнению. Вор, по их рассказам, плакал все время и оправдывался тем, что не хотел красть, а взял лошадь из табуна только для того, чтобы съездить к своей невесте, пешком пришлось бы много потратить времени для этого. Ему не верили и били без пощады, присоединяя ругательства. Я обратилась к Карпенко и говорю:

— Неужели у тебя не явилось никакой жалости к этому человеку?

— Та я ж вам кажу, що як би він міні попався, то я б ему всыпав так, що б він добре запамятовав, як коней красть.

Я стала говорить, что обыкновенно не только людей, даже всякое животное жалко, когда его бьют или когда оно страдает, мучается.

— А міні байдуже[12]! Міні що дня доводится бить скотину, дак що ж, и жаліть ii? Тоді и без мса насідішься, Бог даст.

— Ну, так что же: говорят, что и без мяса можно жить и будешь здоров.

— Хиба ж нельзя! Адже ж схимники[13] живут и без мяса, то то ж схимники, а нам и сам Бог звелів[14] істі скотину и поблагословив ii на те.

— Так-то так, но Бог же и вложил в душу человека любовь к жизни, жалость ко всему живому, и потому-то не всякий может так равнодушно уничтожать ее. У тебя это чувство слабее, чем у других, и потому тебе это легче делать, и я не верю, чтобы для тебя так-таки совсем все равно было убить или не убить животное.

— Та ни вірьте...

Он хотел еще что-то сказать, но я перебила его.

— Тебе, наверно, — говорю, — было неприятно, когда в первый раз пришлось убивать скотину?

— Хто его знае.

— А потом с каждым разом тебе легче стало совершать это, и, наконец, у тебя до того притупилось чувство жалости, что ты, в конце концов, становишься жестоким человеком.

— Да це може и правда, хто его знае. Тiлько міні байдуже. Е люди такі, що заріже, а сам як мертвый упаде, та це рідко случается.

— Как трудно, значит, иным людям победить в себе врожденное чувство жалости. А вот, говорят, что настанет время, что не только люди не будут убивать животных себе на пищу, но и сами животные не будут поедать друг друга.

— А куда ж воні дінутся, — сказал он, смеясь. Тоді и земля их не сдерже, та и корму не стане, однаково с голоду поколіют.

— Этого я уже не знаю, что тогда бы было.

— А що ж Бог-то поблагословив их для нас, — продолжал он. — Ні, це николі не буде, це брехня. А ви хиба вірите, що це колись буде?

— Нет, я не верю. Если бы я верила, то с этой же минуты перестала бы есть мясо, но я ем, значит не верю. А есть, которые верят этому и не едят никакого мяса.

Фекла подошла ко мне и стала унимать меня:

— Та буде вам з ним балакать, заграйте нам.

Она уже несколько раз порывалась прекратить наш разговор.

Ответив ей, я снова обратилась к Ивану.

— Но ты, вероятно, сам не очень-то любишь мясо, я думаю, противно есть, когда самому приходится вонзать нож и видеть, как животное умирает от твоей руки.

— Тілько було б що істі, противно не буде. Противно стане тоди, як нічего істі.

— Ну, — говорю, — не всякий может быть таким, как ты. Вот я знаю, что охотники, которые не по необходимости, а ради удовольствия убивают, и не так ужасно, как скотину бьют, и те не всегда могут есть убитое ими животное. И это случается не только с панами, но и с мужиками. А почему тебе так часто, «що дня», как ты говоришь, приходится бить скотину? Разве у тебя своей так много?

— Яке там своя! Люди кличут, кажут: у тебя, дядя Иван, рука легка. Ну и пойдешь. А и справді, я як заріжу, дак у мене скотина як жива запрыгает, а другій заріже, дак ніколі так не бувае.

— И ты веришь, что это оттого, что у тебя рука легка?

— А як же?

— Ну да расскажи мне, что такое значит «рука легка»?

— Це я вам не зъумію рассказать. Легка, та й годі[15]!

— А, по-моему, так это совсем не от легкой руки.

— Та отчего ж?

Тут я начала объяснять ему, как умела и как сама понимала, отчего происходят эти движения убитого животного. Пришлось говорить о нервах, рефлексах. Он слушал с интересом, но так сильно верил в «легкость» своей руки, что даже поколебать только эту веру и то было очень трудно. Я, впрочем, приписываю это своему неумению объяснять, тем более что на этот раз меня застали врасплох, так как раньше никогда в голову не приходило подумать о подобных предрассудках и объяснить их себе; хотя часто приходилось слышать о них, но все это пропускалось мимо ушей.

Наконец, я села играть и тихо запела наигрываемую песню. Иван и Борис подхватили, и мы вместе запели уже во весь голос и пропели весь наш общий репертуар. Насладившись музыкой, они все, исключая Феклы, пошли домой, а мы стали пить чай и беседовать насчет подвод и о разных хозяйственных делах, так как я решила, что во вторник непременно уеду. После чая Фекле нужно было идти домой, топить печку и варить вечерю, но ей не хотелось и расставаться с нами, и потому я с Дуней отправилась к ней; все равно, думаю, время проходит в возне, суетне, а у ней, по крайней мере, побуду в семье и поговорю с ними. Борис был дома и читал какую-то книжку, но, когда мы пришли, он свернул ее, а сам сел к печке. Он был одет по-праздничному — в чистой ситцевой рубахе и жилетке. Фекла принялась сейчас же топить печку, а мы стали говорить о том, как бы устроить так, чтобы они, т.е. Дуня и Борис, могли и без меня продолжать учиться чтению и письму. После нашего разговора они пришли к такому заключению, что все мои советы были бы хороши, если бы они дружнее жили, «а то, говорят, як сойдемось, так зáраз и поругаемось».

— А кто же, говорю, виноват?

— Да це Борька всегда сперва зачинает; зачнет ругать, да толкать...

— Дунька, Дунька! — сказал Борис и лукаво посмотрел на нее.

Я им посоветовала хотя бы во время учения не ссориться, так как тут имеется в виду обоюдная польза. Но я и сама сомневалась, чтобы они могли что-нибудь делать, не ругаясь, и даже не подравшись друг с другом. Дуня обыкновенно в этих случаях кончает слезами. Несмотря на такую как бы вражду, они любят друг друга и скучают, если долго не видятся.

Фекла, управившись с своими делами, села на печку и любовно смотрела на своего сына, который в это время замолк и глядел в одну точку. Потом вдруг он задал матери такой вопрос:

— Мама, коли вы мене женытымо?

Мы засмеялись такому неожиданному его вопросу, но он оставался серьезен.

— Коли прійди время, сынок, тоді и женытымо, — отвечала, смеясь, Фекла.

— Та коли ж воно прійде, мамо?

— А тоді, сынок, як грошей заробимо...

— Та треба и хату справить, а в таку хату хто за тебе и піде, хлопче? — сказала Дуня. — Хиба яка ледаща[16] дівчіна, так на що вона тобі здалась?

— А вот мне, Борис, и не придется на твоей свадьбе погулять, — говорю.

— А мы до вас пісьмо напишемо, вы и пріідіте.

— Нет, должно быть, не приеду, далеко больно.

Пока мы разговаривали, я все смотрела на это большое дитя — Бориса, и мне хотелось знать, какие соображения им руководят, чем наполнена его душа.

Фекла зажгла лампу и обратилась к сыну:

— Борька, ты бы пошукал сказку про Иванушка-дурачка. Надежда Даниловна нам почитала бы, я ще не чула[17] іі.

Борис порылся в своих книжках и подал мне ее. Только-только я начала читать, как вошли один за другим все ее соседи. Ивану Карпенко очень понравилась эта сказка, и у него то и дело вырывались одобрительные восклицания.

Посреди чтения дверь шумно растворилась, и вошли горничная и кухарка Николаевых.

— А мы, — говорят, — к вам хотели, Надежда Даниловна, послушать еще вашу музыку.

— Ну что ж, — говорю, — вот дочитаю и пойдемте.

Но голос мой стал мне изменять, и я сказала, что не могу больше читать. Заинтересованные этою сказкой стали предлагать воды выпить или хлебца поесть. Им очень хотелось конец узнать, но я не могла удовлетворить их желанию. Я пошла домой в сопровождении всех присутствовавших при чтении. Дома мы занялись музыкой, а потом, отдохнув, я им дочитала и сказку. Иван

Карпенко отозвался, что это самая лучшая книжка. Много было смеху и разных метких замечаний, которые я теперь не могу воспроизвести.

С некоторыми из моих гостей я совсем попрощалась и приняла от них массу пожеланий, сожалений и целований.

Все ушли, и мы остались с Дуней вдвоем. Я начала укладываться, а Дуня помогала мне и все плакала.

27-е [октября]. С раннего утра пришли хлопцы. Вчера во время укладки я отобрала книжки, которые они бы могли читать, и раздала им. По уходе хлопцев я пошла к знакомым крестьянам попрощаться, в том числе и к Степану. Описывать все те сожаления, которые мне пришлось выслушивать, и все то радушие, которое мне оказывали, я считаю излишним, так как и так много пришлось говорить об этом.

Завтра я решила ехать. Хлопцы сказали, что они придут рано утром прощаться со мной и проводить меня.

Вечером я продолжала укладываться, но скоро пришлось оставить, так как опять пришли гости, в том числе и батюшка с матушкой. Этого визита я уже никак не ожидала. Они удивились, увидя у меня мужиков и хлопцев. Батюшка прямо обратился к ним с вопросом, зачем они пришли. Они сказали, что пришли провожать Надежду Даниловну. Батюшка с матушкой скоро ушли, хлопцы тоже, а Мирон и Иван долго оставались и помогали мне увязывать добро. Иван ехал со мной.

28-е [октября]. Пишу уже не в Гришевке[18]. Сегодня рано утром, попрощавшись с Дуней и Феклой, которые плакали, как по покойнице, я садилась на таратайку и посматривала в ту сторону, откуда должны явиться хлопцы. Они изо всей мочи бежали и все же застали меня, и мы попрощались друг с другом, поцеловавшись. Это были именно те, с которыми у меня связь была крепче, чем с другими. Они как-то точно не верили своим глазам, да и мне как-то странно было подумать, что вот была у меня семья, а теперь не будет.

Сижу я теперь одна на перепутье и смотрю назад, что было. Многое, может быть, я не так делала, как нужно, и, может быть, многое даст зло вместо добра, но мое искреннее желание было делать добро и, насколько можно больше быть полезною окружающим меня. Как удалось мне это — трудно судить, да и возможно ли? Время было так коротко и так мало пришлось пожить вместе.

Чувство оторванности не оставляет меня, и я думаю не оставит, пока я опять не войду в ту же жизнь и дело.

Надеюсь, что я их опять найду.

Примечания

Часть I

1 Петровск — слобода Ивановка Ровенской волости Острогожского уезда Воронежской губернии; ныне — село Ивановка Ровеньского района Белгородской области.

2 Николаев — Астафьев Николай Иванович (1854 г.р.), коллежский секретарь; в 1884—1886 гг. — непременный член Острогожского по крестьянским делам присутствия. Земская школа в слободе Ивановке была открыта осенью 1884 г. по его инициативе и дополнительной финансовой поддержке (80 р. в год). См.: Журналы Острогожского очередного уездного земского собрания. Сессии 1884 года. С докладами, отчетами и другими приложениями. Острогожск, 1885. С. 15-16.

3 Марья Алексеевна — Наталья Александровна Астафьева, урожденная Ахшарумова (1855 г.р.). Дети Астафьевых: Николай (1875 г.р.), Сергей (1877 г.р.) и Наталья (1879 г.р.). — ГАВО. Ф. И-29. Оп. 123. Д. 109. О дворянском достоинстве семьи Астафьевых. Л. 126, 130, 140.

4 Петропавловская церковь слободы Ивановка. Точная дата постройки здания неизвестна. По преданию когда-то в нем находилась мечеть, о чем свидетельствует его круглая форма и четыре входа с северной, южной, восточной и западной стороны. Освящена в 1859 г. после реконструкции здания. До 1873 г. считалась приписанной к Троицкой церкви слободы Верхняя Серебрянка.

5 Согласно списку населенных мест Воронежской губернии, в 1885 г. в слободе Ивановке было 60 дворов с населением в 256 чел. См.: Памятная книжка Воронежской губернии на 1887 год. Воронеж, 1887. С. 171.

6 Ольгино — Лизиновка, слобода Острогожского уезда, где находилось имение В.Г. Черткова; ныне — село Россошанского района Воронежской области.

7 Пешехонова Мария Степановна — выпускница С.-Петербургской учительской школы; учительница Лизиновского женского училища. См.: Ведомость о начальных народных училищах в г. Острогожске и его уезде за 1884/5 учебный год (вклейка) // Журналы Острогожского очередного уездного земского собрания. Сессии 1885 года. С докладами, отчетами и другими приложениями. Острогожск, 1886.

8 Кизяк — высушенный и смешанный с соломой навоз; используется для сжигания в печи (для обогрева или приготовления пищи).

9 Старый государь — Александр II (1818—1881), убитый народовольцами 1 марта 1881 г.

10 Иеромонах — священник, принявший монашеский постриг.

11 Чем люди живы. Рассказ гр. Л.Н. Толстого. М., 1883. 31 с.

12 Гарно — хорошо, красиво, прекрасно.

13 Дуля — сорт груши.

14 Стушеваться — стараться не обращать на себя внимания, быть незаметным.

15 Залихватский — удалой, бойкий, бесшабашный.

16 Сажень — русская линейная мера, равная трем аршинам, или 2,134 м.

17 Мера — русская мера вместимости сыпучих тел, равная 26,24 л.

18 Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения. Т. 1. СПб., 1884.

19 Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — великий русский писатель и мыслитель почвеннического направления; создатель теории непротивления злу насилием.

20 Толстой Л.Н. О переписи в Москве // Современные известия. 1882. № 19. 20 января. В статье прозвучала боль от ужасающей бедности городских низов, открывшейся писателю во время его участия в московской переписи 1882 г.

21 Сорочинская ярмарка, или Похождение красной свитки Н.В. Гоголя. СПб., 1882. 47 с.

22 Манухин Александр Иванович — московский лубочный издатель середины — второй половины XIX в.; [Евстигнеев М.Е.] Иван царевич и его приключения. М., 1879. 12 с.

23 Конфекты — устаревшее написание слова «конфеты».

24 Позычить — взять взаймы.

25 Хиба — разве.

26 Мабуть — наверное, должно быть, пожалуй.

27 Ляснуть — стукнуть, ударить.

28 Грифель — палочка из особого вида глинистого сланца для писания на грифельной доске.

29 Городищи — слобода Александровка; ныне — село Россошанского района Воронежской области. О пребывании Н.Д. Кившенко в двухклассном Александровском земском училище свидетельствует «Ведомость о начальных народных училищах в г. Острогожске и его уезде за 1883/4 учебный год» (вклейка). См.: Журналы Острогожского очередного уездного земского собрания. Сессии 1884 года. С докладами, отчетами и другими приложениями. Острогожск, 1885.

30 С 1881 по 1884 г. Ивановская земская школа была закрыта за недостатком учащихся. В 1880/81 г. здесь обучался 21 чел. См.: Народное образование в Острогожском уезде. Воронеж, 1887. С. 23.

31 С 1 апреля 1884 г. должность уездного земского врача IV участка (в Ровенках) занимал Василий Алексеевич Евменьев. См.: Журналы Острогожского очередного уездного земского собрания. Сессии 1884 года. С докладами, отчетами и другими приложениями. Острогожск, 1885. С. 278.

32 Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — виднейший русский поэт-демократ. Стихотворения Н.А. Некрасова. СПб., 1882. 41 с.

33 Инцертов Федор Иванович — священник церкви Успения Пресвятой Богородицы Клименковой слободы (ныне — село Клименково Ровеньского района Белгородской области).

34 Зоя Ивановна Инцертова — выпускница Воронежского женского епархиального училища 1884 г. Окончание этого учебного заведения давало право на преподавание в земской и церковноприходской школе.

35 Бач — поди (для выражения удивления).

36 Паляничка — украинское блюдо, маленькое изделие из теста.

37 «Родное слово» (Ч. 1-2) — учебная книга для младших классов начальной школы, написанная великим русским педагогом К.Д. Ушинским в 1864 г. До 1917 г. вы-

держала 146 изд. «Мужик и медведь» и «Лиса и козел» — сказки, обработанные Ушинским.

38 1 русский фунт = 1/40 пуда = 409,50 г.

39 Отец Никанор — Александр Андрианович Шовский (1829—1903) — священник Петропавловской церкви слободы Ивановка с 1878 (1884?) по 1903 г.; с 1875 по 1881 г. — законоучитель Ивановской земской школы, затем в Верхне-Серебрянском земском училище. См. его некролог: Воронежские епархиальные ведомости. 1904. № 6. С. 247—256.

40 Чоботы — обувь.

41 Парубок — парень.

42 Свидетельство об окончании школы. Его получение не являлось обязательным, но было желательным для мальчиков, т.к. оно сокращало срок военной службы на два года. Во время учительства Н.Д. Кившенко в Ивановской школе такого свидетельства никто не получал.

43 Речь идет о Клименковской слободе, где в декабре 1884 г. была открыта земская школа. См.: Народное образование в Острогожском уезде. С. 83.

44 Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт. Тарас Григорьевич Шевченко. Народный поэт Украйны. СПб., 1877. 41 с.

45 Поэма Т.Г. Шевченко «Батрачка» (1845).

46 Пидтоптався — натоптавшийся.

47 Пхика (от птихати) — тихо плакать.

48 Софья Никаноровна — Вера Александровна Шовская, выпускница Воронежского женского епархиального училища 1875 г.; в первой половине 1880-х гг. — учительница в земской школе соседней с Ивановкой слободе Верхняя Серебрянка.

49 Речь идет о второй половине 1870-х и самом начале 1880-х гг.

50 Н.Д. Кившенко имеет в виду свое преподавание в земском училище слободы Александровка.

51 Бука — страшилище, которым пугают детей; нелюдимый, угрюмый человек.

52 Косушка — полбутылки водки.

53 Робить — делать.

54 Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — великий немецкий композитор.

55 Сочинения А.С. Пушкина. Издание для школ. Т. 1. Для сельских и городских училищ и для младших классов учебных заведений. М., 1882.

56 Родной быт. II. «Беглый». Детский рассказ. М., 1883. 33 с.

57 Родной быт. I. «Саша». Детский рассказ. М., 1882. 52 с.

58 Общественный магазин — склад хлеба, устраиваемый на случай голода или дороговизны.

59 Имеется в виду отравление угарным газом от несгоревших в печке углей.

60 Вучетич Николай Гаврилович (1845—1912) — детский писатель. Митина нива. Рассказ Н.Г. Вучетича. СПб., 1881. 19 с. (Серия «Рассказы для детей младшего возраста»).

61 Священник Благовещенской церкви слободы Жилиной — Стефан Васильевич Попов.

62 Жилина — слобода Богучарского уезда; ныне — село Россошанского района Воронежской области.

63 Знакомый учитель Надежды Кившенко — крестьянин Иван Алексеевский; во второй половине 1870-х гг. он преподавал в Верхне-Серебрянской земской школе, а затем учил детей у себя на дому, предположительно в хуторе Лозовый. См.: Народное образование в Острогожском уезде. С. 35.

64 Псалтырь — священная книга псалмов (духовных песен).

65 «Жизнь за царя» композитора М.И. Глинки — первая классическая национальная русская опера (1836).

66 Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — известный русский писатель; Антон-Горемыка. Повесть. Д.В. Григоровича. СПб., 1882. 112 с.

67 Вечерницы — посиделки.

68 Мужичка — женщина из простого народа, крестьянка.

67 Наче — как будто, словно.

70 Пропастница — лихорадка.

71 Зробиться — сделается.

72 Стихотворения Н.А. Некрасова. СПб., 1882.

73 Дедушка Назарыч. Повесть А. Погоского. СПб., 1880. 56 с.

74 N.N. — коллежский асессор Александр Федорович Ульянищев — штатный смотритель народных училищ Острогожского уезда.

75 Чоловiк — мужчина; женатый человек (муж).

76 Громека Михаил Степанович (1852—1884) — русский литературный критик. Последние произведения графа Л.Н. Толстого: Крит. этюд М.С. Громеки. М., 1884. 226 с.

77 [Флобер Г.] Юлиан Милостивый. [Рассказ]. М., 1883. 48 с.

78 Злякался — испугался.

79 Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — великий русский писатель. Мальчик у Христа на елке. Рассказ Ф.М. Достоевского. СПб., 1885. 15 с.

80 [Мельников-Печерский П.И.] Гриша. Рассказ из раскольничьего быта. СПб., 1861. 93 с.

81 Кетижд (Китеж) — мессианский город, находившийся, как гласит легенда, на берегу озера Светлояр (в современной Новгородской области) и ушедший под воду во время монголо-татарского нашествия.

82 Милости хочу, а не жертвы. В.К. Туренина. Рассказ для народа. М., 1882. 56 с.

83 Христианский подвиг солдата. Изд. 5-е. СПб., 1880. 32 с.

84 В 1884 г. при Воронежской губернской земской управе возникло статистическое отделение. Сведения о состоянии земских школ собирались в том числе и путем опроса учителей. Материалы по Ивановскому земскому училищу за 1884/5 учебный год вошли: Народное образование в Острогожском уезде. Приложения.

85 Штатный законоучитель появился в Ивановской земской школе только после ухода Н.Д. Кившенко. С осени 1886 г. это место занимал священник Василий Попов. Что касается священника Александра Шовского, то он остался законоучителем в Верхне-Серебрянском земском училище вместе с молодой учительницей Анной Шовской — другой своей дочерью. См.: Ведомость о начальных народных учили-

щах в г. Острогожске и его уезде за 1886/7 учебный год (вклейка) // Журналы Острогожского очередного уездного земского собрания. Сессии 1887 года. С докладами, отчетами и другими приложениями. Острогожск, 1888.

86 Имеется в виду пословица «взялся за гуж, не говори, что не дюж» (взявшись за дело, не говори, что слаб).

87 Н.Д. Кившенко получила домашнее образование. См.: Ведомость о начальных народных училищах в г. Острогожске и его уезде за 1885/6 учебный год (вклейка) // Журналы Острогожского очередного уездного земского собрания. Сессии 1886 года. С докладами, отчетами и другими приложениями. Острогожск, 1887.

88 Свитка — верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна.

89 Черевики — женские башмаки.

90 Торбинка (торба) — сума.

91 Жгут — народная игра, участники которой должны как можно быстрее поднять предмет, находящийся в центре круга.

92 Черкеска — русское народное название верхней мужской одежды (кафтана) жителей Кавказа.

93 Толстой Лев. Жизнь в городе // Русское богатство. 1885. № 4. С. 1—5.

94 В данном случае Городищи — это Ивановка (в начале дневника так именовалась слобода Александровка).

95 До возвращения в Ивановку.

96 Храмовый (престольный) праздник в Ивановке — Петров день (29 июня по старому стилю). Возможно, здесь имеется в виду Троица (в 1885 г. праздновалась 12 мая).

97 Ныне Шевцов — это населенный пункт Ровеньского района Белгородской области; до 1954 г. находился на территории Воронежской области.

98 Запаска — род несшитой юбки или фартука из темной шерстяной материи у украинцев.

99 Пополудновать — сесть за полдник.

100 Кавказский пленник. Быль. Гр. Л.Н. Толстого. СПб., 1884. 40 с.

101 Из «Ясной Поляны» (журнал графа Л.Н. Толстого). Рассказы для крестьянских ребят. Книжка 3-я. Одесса, 1874. Рассказ 2-й.

102 Видимо, речь идет о сестре М.С. Пешехоновой. См. прим. № 7.

Часть II

1 Городище — Ивановка.

2 [Толстой Л.Н.] Упустишь огонь — не потушишь. М.: [Посредник], 1885. 35 с.

3 Острогорский Виктор Петрович (1840—1902) — педагог и литератор; Вавило: Рассказ, составленный из подбора русских примет. В. Острогорского. СПб., 1883. 27 с.

4 Тит. Подбор русских пословиц и поговорок. В. Острогорского. СПб., 1883. 19 с.

5 Русские народные россказни. Писаны Иваном Ваненко. М., 1882. 29 с.

6 Речь идет о Покровской ярмарке в Нагольной слободе (ныне село Нагольное Ровеньского района Белгородской области).

7 Скорее всего, это младшие дочери нового священника Петропавловской церкви А.А. Шовского.

8 Присна — призьба. См. Ч. II, прим. № 119.

9 Привитать (от укр. привітати) — приветливо принимать.

10 Мовчить — молчит.

11 Полова — мякина.

12 [Толстой Л.Н.] Где любовь, там и Бог. М.: [Посредник], 1885. 35 с.

13 Взалкать — захотеть есть.

14 Суд мирской — не Божий, или Дед Софрон. Рассказ В.И. Савихина. М., 1885. 71 с.

15 Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — первый народный поэт-песенник. Алексей Васильевич Кольцов, его жизнь и сочинения. (Чтение для юношества). Изд. 3-е. М., 1877. 166 с.

16 Агасфер — легендарный персонаж, по преданию обреченный скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа.

17 Любимые стихи. СПб., 1882. 64 с.

18 Сочинения А.С. Пушкина. Издание для школ. Т. 1. Для сельских и городских училищ и для младших классов учебных заведений. М., 1882. 220 с.

19 Яхонтов Александр Николаевич (1820—1890) — составитель популярных книжек для народа; Приключения Робинзона Крузе. По роману Д. Дефо сост. А.Н. Яхонтовым. СПб., 1883. 140 с.

20 [Толстой Л.Н.] Два старика. [Рассказ]. М.: [Посредник], 1885. 35 с.

21 Эпиграф был взят Л.Н. Толстым из Евангелия от Иоанна (Четвертая книга Нового завета).

22 Юшка — похлебка.

23 Поскубить — таскать за волосы.

24 Дрейшок Александр (1818—1869) — чешский композитор.

25 Евстигнеев Михаил Евдокимович (1832—1885) — лубочный писатель. Рассказы Миши Евстигнеева. М., 1876. 45 с.

26 См. Ч. II, прим. № 12.

27 Бог правду видит, да не скоро скажет. Быль. Рассказ Л.Н. Толстого. М., 1883. 14 с.

28 Христос в гостях у мужика: рассказ Н.С. Лескова. М., 1885. 35 с.

29 Возможно, это Вера Александровна Шовская.

30 Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825) — русский композитор; автор семи «Херувимских песен», исполняемых на Литургии во время совершения Великого выхода.

31 N.N. — видимо, речь идет о Н.И. Астафьеве.

32 Череда — стадо крупного скота.

33 Буквослагательный метод обучения грамоте был распространен в России до середины XIX в., после чего, стараниями К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и др. отечественных букваристов был вытеснен более эффективным звуковым.

34 Прохать — просить.

35 Беллюстин Иван Степанович (1819—1860) — священник, публицист; О церковном Богослужении И.С. Беллюстина. 4-е изд., переделанное для училищного употре-

бления. СПб., 1874. 151 с.

36 «Ельцы» — фигурное печенье.

37 Векла (Фекла) — церковное имя.

38 З.И. Инцертова — учительница Клименковской земской школы, у которой Н.Д. Кившенко была в гостях в декабре 1884 г.

39 Азбука. Гр. Л.Н. Толстого. Кн. 1-12. СПб., 1874.

40 Їсти — кушать, есть.

41 Из «Ясной Поляны» (журнал графа Л.Н. Толстого). Рассказы для крестьянских ребят. Книжка 7-я. Капитан Головнин в плену у японцев. Одесса, 1876. 124 с.

42 Костоеда — болезнь, состоящая в воспалении и разрушении костей.

43 Городище — слобода Ивановка.

44 Гарнц — мера объема сыпучих тел, равная 3,28 литра.

45 Галя. Рассказ для детей. О.И. Шмидт. СПб., 1885. 22 с.

45 Разборно (разбірно — укр.) — понятно.

47 Шмидт — фамилия (по первому мужу) детской писательницы Ольги Ильиничны Роговой (1851—?).

48 Махмудкины дети. Рассказ В.И. Немирович-Данченко. М., 1884. 31 с.

49 Прохожий. Святочный рассказ. Соч. Д.В. Григоровича. 2-е изд. СПб., 1883. 79 с.

50 Архангельские китоловы. Повесть А. Сетковой. СПб., 1883. 86 с.

51 «Wanderer» Schubert'a — фантазия «Скиталец» австрийского композитора Франца Шуберта (1797—1828).

52 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: в 9 т. СПб., 1883.

53 Тургенев И.С. Записки охотника // Там же. Т. 2.

54 «Русское богатство» (1876—1918) — ежемесячный литературный, научный и политический журнал; с 1883 по 1891 г. редактировался Л.Е. Оболенским, при котором превратился в орган, пропагандирующий толстовское учение о непротивлении злу насилием. Из учителей Острогожского уезда «Русское богатство» выписывалось только Н.Д. Кившенко. См.: Народное образование в Острогожском уезде. С. 77.

55 [Оболенский Л.Е.] Странник. Рассказ. М., 1885. 34 с.

56 Линия — железная дорога.

57 Чем люди живы. Рассказ гр. Л.Н. Толстого. М.: [Посредник], 1885. 35 с.

58 Иллюстрации к новому изданию рассказа Льва Толстого «Чем люди живы» были выполнены Алексеем Даниловичем Кившенко (1851—1895) — известным русским художником, старшим братом автора дневника.

59 Старик Никита и три его дочери. [Рассказ] А. Сетковой. СПб., 1885. 51 с.

60 «Коль славен наш Господь в Сионе» — неофициальный русский гимн XIX в., насыщенный христианской символикой; музыка Д.С. Бортнянского, стихи М.М. Хераскова.

61 Новая азбука. Гр. Л.Н. Толстого. М., 1875. 95 с.

62 Первая русская книга для чтения. Гр. Л.Н. Толстого. Изд. 9-е. М., 1883. 44 с.; Вторая русская книга для чтения. Гр. Л.Н. Толстого. Изд. 9-е. М., 1883. 64 с.

63 «Пожар» — рассказ Л.Н. Толстого из «Первой русской книги для чтения»; в опубликованном тексте дневника Н.Д. Кившенко ошибочно назван «Позор».

64 Алексеевский Иван — учитель из крестьян.

65 Швец — портной.

66 Великие явления и очерки природы: Географическая хрестоматия. 2-е изд. СПб., Е. Лихачева и А. Суворина, 1874. 681 с.

67 См. прим. № 6.

68 Священник Александр Шовский.

69 Капелюха — шапка с ушами.

70 «Липунюшка» — русская народная сказка в обработке Л.Н. Толстого. Вторая русская книга для чтения. Гр. Л.Н. Толстого. Изд. 9-е. М., 1883.

71 Издательство «Посредник» было организовано в 1884 г. В.Г. Чертковым для издания дешевых книг духовно-нравственного содержания и репродукций картин, доступных простому народу. Девизом издательства стало знаменитое изречение Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». Первой книжкой стал рассказ Л.Н. Толстого «Чем люди живы» (апрель 1885 г.).

72 «Спесь» (1885) — хромолитографированное переиздание «Посредником» иллюстрации художника Ф.Л. Соллогуба к стихотворению А.К. Толстого «Ходит Спесь, надуваючись...» (1856).

73 «Страдание Господа нашего Иисуса Христа» (1885) — хромолитографированное переиздание «Посредником» картины французского художника А. Бугро «Бичевание Иисуса Христа» (1880), для которого И.Е. Репиным (по требованию цензуры) была написана новая фигура Христа.

74 «Искушение Господа нашего Иисуса Христа» (1885) — хромолитографированное переиздание «Посредником» картины французского художника А. Шеффера «Искушение Христа» (ок. 1859).

75 [Гололобов Я.И.] Вор. Повесть (О том, как жил один Алешка) // Русское богатство». 1885. № 5-6. С. 231-304.

76 Ровенки — слобода Ровенской волости Острогожского уезда; ныне поселок городского типа Белгородской области.

77 Десятский должен был наблюдать за тем, чтобы все члены его десятка своевременно были налицо в школе (до прихода учителя) и заняли свои места.

78 Под каждой картиной был текст, разъясняющий ее содержание.

79 Смилийше — видимо, производное от смилиться, т.е. оказать милость, снисхождение.

80 «Панас» — детская игра, в которой водящий с завязанными глазами ловит других; водящий в этой игре.

81 См. Ч. II, прим. № 53.

82 Спенглер Федор Эдуардович (1860—1908) — учитель Архиповского земского училища Острогожского уезда; толстовец; будущий муж подруги Н.Д. Кившенко — О.Н. Озмидовой (см. Ч. II, прим. № 123). Под теми же инициалами «Ф. Э» упоминается в дневнике В.Г. Черткова за 13 мая 1886 г. — ОР РГБ. Ф. 435. Оп. 1. Картон 2. Ед. хр. 33. Л. 28.

83 В 1886 г. должность старшины Ровенской волости исправлял крестьянин Михайл Млин.

84 Серенький (мужичок) — простой, грубый.

85 Более точное название сказки Л.Н. Толстого «Царский сын и его товарищи».

86 Третья русская книга для чтения. Гр. Л.Н. Толстого. Изд. 2-е. М., 1874. 68 с.

87 Савихин (Иванов) Василий Иванович (1858—1912) — крестьянский писатель; Кривая доля: рассказ В.И. Савихина. М.: Посредник, 1886. 36 с.

88 Жизнь Франциска Ассизского. Рассказано Е. Свешниковой. М., 1886. 36 с.

89 Цитра — музыкальный инструмент в виде треугольного ящика с натянутыми на нем струнами.

90 Ведро — старинная мера объема жидкостей, равная 12,3 литра.

91 [Калмыкова А.М.] Греческий учитель Сократ. М.: Посредник, 1886. 71 с.

92 Описка. Вместо «хуже» следует читать «лучше».

93 [Свешникова Е.П.] Фабиола, или древние христиане. М.: Посредник, 1886. 70 с.

94 Сеткова Александра Пантелеймоновна (1834—?) — писательница; Братья. Рассказ Сетковой. СПб., 1884. 54 с.

95 С 1885 по 1895 г. должность предводителя дворянства Острогожского уезда занимал подполковник Иван Николаевич Тевяшов.

96 N.N. — Н.И. Астафьев.

97 Имеется в виду Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) — помещик Острогожского уезда; близкий друг Л.Н. Толстого и издатель его произведений; как один из лидеров толстовства, находился под негласным надзором полиции.

98 Возможно, речь идет о волостном старшине Михайле Млине.

99 Данилевский Г. Поездка в Ясную Поляну (Поместье графа Л.Н. Толстого) // Исторический вестник. 1886. № 3. С. 529—544.

100 Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — русский писатель и публицист.

101 Сорок лет. (Малороссийская легенда). Н. Костомарова. М., 1881. 93 с.

102 Рассказ Л.Н. Толстого «Свечка, или как добрый мужик пересилил злого приказчика» впервые появился в «Книжках Недели» (1886. № 1. Стлб. 169—178).

103 [Введенский А.И.] Аристархов. Литературные беседы [Глубина мировоззрения гр. Л. Толстого] // Русские ведомости. 1886. 29 января. № 28. С. 1—2.

104 Брат на брата. [Переделка из романа Гюго «Девяносто третий год»]. М. [Посредник], 1886. 35 с.

105 «Marche funèbre» — Похоронный марш.

106 «Русалка» композитора А.С. Даргомыжского — первая русская опера в характере драмы (1855).

107 Житие святого Филарета милостивого. М.: [Посредник], 1886. 35 с.

108 См. Ч. II, прим. № 66.

109 Иван Алексеевский.

110 В настоящее время хутор Лозовый — это село Лозовое Белгородской области.

111 Страхаю — припугиваю.

112 Атла́с — ткань.

113 Учение 12 Апостолов // Детская помощь. 1885. № 8. Стлб. 426—431. Перевод, предисловие и послесловие Л.Н. Толстого (анонимно).

114 За свою работу в Ивановской земской школе Н.Д. Кившенко получала от земства 180 руб. в год. Кстати, в Александровке точно такое же жалование ей платил попечитель школы В.Г. Чертков.

[115] Коллежский советник Иван Константинович Максимович — инспектор народных училищ по Острогожскому и Павловскому уездам.
[116] Овражка — суслик.
[117] Три старца // Сочинения гр. Л.Н. Толстого. Ч. 12-я. М., 1886. С. 154—162.
[118] Анна Константиновна Дитерихс (1859—1927) — подруга Н.Д. Кившенко, последовательница учения Л.Н. Толстого.
[119] Призьба — то, что находится при избе; завалинка.
[120] Z — учитель из Лизиновского мужского училища, видимо, сочувствующий толстовству.
[121] Снози (от снаживать, сводить) — жердочки, вставляемые поперек изгороди для ее большей прочности.
[122] Прижену — пригоню.
[123] Ольга Николаевна Озмидова (1865—1899) — подруга Н.Д. Кившенко, гостившая у нее вместе с А.К. Дитерихс после посещения ими в начале мая 1886 г. Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.

Часть III

[1] Кавун — арбуз.
[2] Федор Павлович — Владимир Петрович Астафьев (1826 г.р.); проживал в собственной усадьбе в 5 верстах от Ивановки.
[3] Піп — поп.
[4] Кающийся грешник // Сочинения гр. Л.Н. Толстого. Ч. 12-я. М., 1886. С. 477—479.
[5] [Толстой Л.Н.] Апостол Иоанн и разбойник // Цветник. Сборник рассказов. Киев, 1886.
[6] В списках населенных мест Острогожского уезда нет хутора Липовцы. Возможно, речь идет о хуторе Лозовый, который находился от Ивановки в тех же 5 верстах.
[7] Да це колись — да это когда.
[8] Журятся — горюют.
[9] Дякуем — благодарим.
[10] Сочинения гр. Л.Н. Толстого. Ч. 12-я. М., 1886.
[11] Азбука-копейка. СПб., 1882. 12 с.
[12] Байдуже — безразлично.
[13] Схимник — монах, принявший схиму (обет).
[14] Звелів — велел.
[15] Та й годі — да и только.
[16] Ледаща — лодырь.
[17] Чула — слышала.
[18] Гришевка — хутор в Острогожском уезде (примерно в 90 верстах от Ивановки); ныне — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.

Надежда Даниловна Кившенко
на новом пути к народному просвещению

1880-е гг. в истории российской общественности — время сложное и противоречивое. Одни называют его эпохой реакции и застоя, другие — временем пробуждения русской интеллигенции, когда она отказалась от безуспешных попыток организации революционного переворота и вновь отправилась в народ, но не ради революции, а на так называемую «культурную работу»[1].

Среди тогдашних подвижников на ниве народного просвещения выделяется фигура Надежды Даниловны Кившенко (рубеж 1850/60–1903). Это была личность во всех отношениях неординарная, а если говорить о том деле, которому она посвятила свою жизнь, — несомненно выдающаяся, истинный представитель «трудовой» интеллигенции 1880-х гг., сумевшей совместить «идейность» и созидательный труд на благо горячо любимого народа.

Биографические сведения о Кившенко в справочной литературе предельно лаконичны: беллетристка крестьянского происхождения, автор «Дневника сельской учительницы» (СПб., 1887); сестра известного художника Алексея Кившенко; последовательница идей Л.Н. Толстого, которые она первой попыталась осуществить в народной школе[2].

Более подробная информация о культурно-просветительской деятельности Кившенко содержится в комментариях к Полному собранию сочинений Льва Толстого под общей редакцией В.Г. Черткова[3]. Лично с Толстым Кившенко знакома не была[4], но с середины 1880-х гг. она занималась распространением его сочинений для народа, выпускаемых издательством «Посредник».

Будущая писательница появилась на свет в эпоху отмены крепостного права в семье Даниила Васильевича Кившенко — управляющего конным заводом графа Д.Н. Шереметева в селе Серебряные Пруды Тверской губернии. У отца было 12 детей. Будучи крепостным, он, по воле графа, получил среднее образование и хорошо позаботился о воспитании детей, привив им любовь к

музыке и рисованию. Один из сыновей (Николай) учился в консерватории, другой (Алексей) — в Академии художеств[5].

Надежда Даниловна получила домашнее образование и, видимо, готовилась стать пианисткой. Первый факт биографии Кившенко, попавший в печать, — газетный анонс ее выступления в составе группы певцов и музыкантов на литературно-музыкальном вечере в Благородном собрании Петербурга 6 апреля 1880 г. Там же Ф.М. Достоевский прочитал «Сон Раскольникова» из своего нового романа «Преступление и наказание»[6].

В Острогожском уезде Воронежской губернии Кившенко оказалась по приглашению Владимира Черткова. Их знакомство могло состояться через старшего брата Надежды — Алексея. Известно, что в 1882 г. художник гостил в одном из имений родителей Черткова, и даже написал его портрет[7]. С начала 1880-х гг. Чертков был членом уездного училищного совета и попечителем земской школы слободы Александровка, где находилась усадьба Чертковых, так что изначальный выбор места работы Кившенко вполне понятен[8].

Почвой для сближения Черткова и Кившенко стало их увлечение учением Льва Толстого о непротивлении злу насилием. Известно об их совместной подготовке к гектографированию летом 1884 г. одного из главных произведений их духовного учителя «В чем моя вера?», излагающего основы так называемого «толстовства»[9].

По воспоминаниям учителя Александровского училища Василия Сохнышева, осенью 1883 г. попечитель школы пригласил вторую учительницу «с целью распространения толстовщины». Но Кившенко не смогла направить школу по «толстовскому рецепту». «Методы и приемы ее были, — по словам Сохнышева, — не учеба и не воспитание, а какое-то уродство»[10]. На этой почве между учителями возник конфликт. Чертков попытался разрешить его, удалив из школы Сохнышева, которого считал «не подходящим» учителем, приносящим детям вред, но «александровские хохлы» неожиданно встали на его сторону[11]. В итоге Чертков отказался от попечительства, а Кившенко перешла на новое место — в слободу Ивановка, в 25 верстах от Александровки.

Ивановка была населена исключительно малороссами. Местный церковный приход слыл богатым. С 1861 по 1873 г. здесь действовала церковно-приходская школа, содержавшаяся прихожанами. Но в 1873 г. по ходатайству священника отца Шовского и местного землевладельца В.П. Астафьева она перешла в ведение земства. В 1881 г. из-за неисправного содержания и недостатка учеников Ивановское земское училище приостановило свою работу[12]. И возобновить ее должна была получившая это место Кившенко.

В Ивановке Надежда Даниловна начинает вести свой школьный дневник. Среди тогдашних народных учителей — не такое уж редкое явление. Делалось это, прежде всего, для самоанализа. Ведь в таком глухом месте, где оказалась Кившенко, поделиться своими сокровенными переживаниями было

не с кем. Не случайно в дневнике так много жалоб и сетований по поводу недостатка образования и опыта, неуверенности в собственных силах, отсутствия нравственной поддержи со стороны местного «интеллигентского» сообщества (помещика, священника и т.п.) и постоянных сомнений в правильности выбора педагогического поприща. После неудачи в Александровке эти вопросы не могли ее не беспокоить.

Дневник Кившенко охватывает период с 30 сентября 1884 до 28 октября 1886 г. Записи касаются только времени ее занятий в Ивановском земском училище. Это два учебных года: 1884/85 и 1885/86. За пределами Ивановки (во время отлучек учительницы в соседние села и на каникулах) они не велись. Хотя впечатления от посещений других школ и знакомства с методикой обучения грамоте других педагогов также получили отражение в дневнике.

Всего записей около 190 (по одной на 2-3 дня[13]), но делались они нерегулярно. Например, за весь апрель 1885 г. появилась всего одна запись, зато в ноябре того же года — аж 19. Некоторые записи вообще не имеют точной даты. Сама Кившенко объясняла все это отсутствием времени и сил. Ведь писать приходилось после напряженного трудового дня.

Дневник невелик по объему[14] и не очень разнообразен по содержанию. Автор описывает свое прибытие в село, знакомство с местным обществом, открытие школы. Но это в самом начале. Основное место в дневнике занимают обычные школьные будни.

Занятия в Ивановской школе проходили в церковной сторожке, в две смены. Дети в течение трех лет должны были освоить чтение, письмо и арифметику. Из-за тесноты помещения (а количество учеников колебалось от трех до пяти десятков человек) Кившенко была вынуждена перенести обучение старшей группы и всех тех, кто хотел учиться индивидуально (за отдельную плату), на вечернее время, в свою хату.

Для всех желающих Кившенко устраивала у себя на дому внеклассные чтения. Ученики называли их «вечерницами» (посиделками). Кроме чтения книг, которые Надежда Даниловна закупала на свои средства, ученики могли послушать настоящее пианино, привезенное ею из родительского дома, и попеть под аккомпанемент живой музыки. Доступ в хату был открыт в любое время, включая воскресные и праздничные дни. Кившенко даже жаловалась, что иногда ей некогда было пообедать, т.к. при учениках она стеснялась.

Таким образом, обычный рабочий день учительницы продолжался с 8 утра и до позднего вечера. Однако такой график работы был установлен самой Кившенко, которая хотела полностью раствориться в работе, чтобы не оставаться наедине с мыслями о себе и своем неясном будущем.

За свою работу Кившенко получала от земства 180 руб. в год и в деньгах особо не нуждалась (мужики регулярно одалживали у нее «рублевки»). Однако с приобретением продуктов в Ивановке была проблема. Никто ничего не

продавал, и за всем необходимым нужно было ездить в Ровеньки за 10 верст. А потому время от времени ей приходилось перебиваться с хлеба на воду. Не случайно весной 1886 г. молодая «барышня», как ее называли крестьяне, решилась завести собственный огород.

Кившенко стала народной учительницей для пропаганды педагогических идей Толстого, озвученных им еще в 1860–1870-х гг. Решительно отвергнув официальную педагогику, основанную на муштре и зубрежке, Толстой предложил теорию «свободного воспитания», по которой содержание уроков должно было определяться исключительно интересами детей. Отвергались также учебные программы, оценки и экзамены и... школьная дисциплина[15].

В своей школе Кившенко также взяла за правило: учить детей тому, что они хотят знать, не принуждать к учению, а только удовлетворять их желания.

Через весь дневник красной нитью проходит вопрос: нужно ли наказывать учеников за шалости и нерадение, бить или не бить.... О необходимости отказа от насилия в воспитательном процессе Кившенко постоянно спорит со своими коллегами по цеху, с родителями учеников и посторонними наблюдателями. Интересно, что сами дети, особенно те, кто постарше, понимали необходимость поддержания в классе хотя бы элементарного порядка. Судя по дневнику, в школе Кившенко с этим была проблема. Дети постоянно смеялись, шумели, дрались, но молодая учительница упорно отказывалась ставить их на колени и драть за волосы. У нее был другой метод воздействия: любовь, доверие и дружеские (товарищеские) отношения[16]. И надо отдать должное ее терпению и упорству. Дети свою учительницу полюбили, некоторые из них даже делились с ней своими переживаниями и проблемами, а взрослые ученики, среди которых встречались и женатые мужики, называли ее «Надеждой», как старшую сестру. Правда, результаты их учебы, судя по отзывам посещавших школу инспекторов, оставляли желать лучшего.

Еще одна важная сюжетная линия дневника — приобщение простого народа (детей и взрослых) к чтению произведений классиков отечественной литературы — А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.В. Кольцова, Т.Г. Шевченко, Н.А. Некрасова и т.д. Предпочтение, по понятным причинам, отдавалось новым сочинениям Льва Толстого («Чем люди живы», «Бог правду видит, да не скоро скажет» и др.) и писателей его круга (Е.П. Свешниковой, В.И. Савихина, Л.Е. Оболенского), специально написанным для духовно-нравственного воспитания народа. Для их распространения в 1884 г. было создано издательство «Посредник». Кившенко рекомендовала эти издания своим ученикам и их родителям, записывая их отзывы о прочитанном у себя в дневнике. И если верить Кившенко, читательские запросы крестьян полностью соответствовали толстовским идеалам.

По замечанию исследователя Бориса Банка, дневниковые записи Кившенко — живые, яркие, но крайне тенденциозные. Она тщательно подбирала

желательные ей факты и изображала крестьян такими, как их видели толстовцы. Будто бы простой народ больше всего интересуется религиозно-нравственной литературой в духе учения Л.Н. Толстого[17]. В действительности, крестьяне по-прежнему отдавали предпочтение лубочной литературе вроде сказки о «Бове Королевиче». «Мне б про убийство да про колдовство, чтобы кровя стыли, — говорил один мужик московскому издателю книжек «Посредника» И.Д. Сытину. — А тут — сопли одни. Уснешь читаючи»[18].

Так или иначе, но распространение Кившенко толстовской литературы не на шутку встревожило местные власти.

Поселившись в Ивановке, где всего-то было 60 дворов, молодая барышня-крестьянка быстро установила контакт с местным населением, которое оказалось более радушным и доверчивым, чем в Александровке. И окрестные жители потянулись к ней, как к «ученому человеку» за разъяснением мучивших их духовных и житейских вопросов.

В январе 1886 г. Кившенко неожиданно посещает местный исправник, потребовавший сведения о ее личности. А в марте в Ивановке появился сам уездный предводитель дворянства. Тоже познакомиться поближе. Он уже прямо просит учительницу быть осторожней с книжками, «потому что они не одобрены», т.е., по сути, противозаконны.

Развязка событий происходит в конце мая 1886 г. У Кившенко уже давно были натянутые отношения с местным помещиком Николаем Астафьевым — попечителем ее школы. Крестьяне часто пасли свой скот на барской земле. За потравы их следовало штрафовать, а Кившенко говорила, что их надо прощать, и внушала эту мысль крестьянам. В конце концов, терпение помещика лопнуло, и он попросил Кившенко, как сторонницу «крайних» взглядов, покинуть школу. Помещика тут же поддержал местный священник Александр Шовский, который предложил на место «опальной» учительницы свою дочь Веру, ранее уже преподававшую в Ивановской земской школе.

Интересно, что Кившенко противиться воле попечителя школы не стала (в отличие от Сохнышева). Собрала вещи и уехала в Петербург заниматься делами «Посредника»[19]. 1 июля в письме к Черткову, который тогда находился в Англии, она сообщает о своих планах вместе с Анной Дитерихс отправиться на работу в земскую больницу[20]. Но подруга осенью выйдет замуж за Владимира Черткова, и Кившенко изменит свое решение. В октябре того же года она вернется в Ивановку, чтобы передать школу новой учительнице и проститься со своими учениками и знакомыми. Эти проводы будут подробно описаны в последней части ее дневника, со слезами и упованиями на необходимость непротивления злу насилием.

Работая в «Посреднике» над расширением его программы изданий для народа, Кившенко будет активно использовать собственный опыт общения с потенциальной читательской аудиторией. Видимо, для его пропаганды она

и решится на публикацию своего интимного дневника на страницах самого близкого к толстовцам журнала — «Русского богатства» Л.Е. Оболенского[21]. Только ей придется изменить названия некоторых населенных пунктов и имена и фамилии главных действующих лиц. Так Ивановка станет Петровском (по Петропавловскому собору), Александровка — Городищем, а Лизиновка — Ольгино; помещик Николай Астафьев — Николаевым (по его имени) или таинственным N.N., священник Александр Шовский — отцом Никанором, а его дочь Вера (учительница) — Софьей. Все духовно близкие к Кившенко люди или зашифрованы инициалами, как, например, известные толстовцы А.К. Дитерихс, О.Н. Озмидова, Ф.Э. Спенглер, или не называются по имени, а об их лидере В.Г. Черткове вообще говорится намеком и вместо фамилии стоит троеточие. Должностные лица, священники и учителя соседних школ тоже, как правило, безымянные, что затрудняет их идентификацию, ибо сведения о них не всегда можно найти по другим источникам. Зато в дневнике в избытке имена и фамилии крестьян, но за их правильность трудно поручиться.

Как сложилась дальнейшая судьба молодой беллетристки, известно только в самых общих чертах. Через какое-то время она вернется в родной Весьегонский уезд Тверской губернии, выйдет замуж за крестьянина и продолжит работать сельской учительницей[22]. При этом Кившенко сохранит верность своим юношеским идеалам. В 1892 г. ее опять отстранят от должности учительницы, на этот раз школы грамотности в имении кн. Д.И. Шаховского в с. Малашкине, как неблагонадежной в политическом отношении[23]. Годом раньше тверской губернатор П.Д. Ахлестышев доводил до сведения епархиального училищного совета, что Кившенко была уволена с прежнего места работы «за вредное направление, даваемое детям, и внушение им либеральных идей»[24].

Насколько нам известно, Надежда Кившенко — автор всего одного литературного произведения — «Дневника сельской учительницы». Но это не мешает нам считать ее настоящей народной писательницей-просветительницей.

Прежде всего, Кившенко удалось воспроизвести сложный и противоречивый мир отдаленного украинского села — настоящего «медвежьего уголка». Она смогла войти в доверие к его жителям (Кившенко даже предлагали выйти замуж за деревенского парня), узнать, как и чем они живут, что их тревожит и радует. И показать, что этот мир мало отличается от остальной народной Руси: те же бедность, невежество, пьянство и то же стремление выбиться в люди и зажить «по-человечьи».

В дневнике очень правдиво отображена жизнь рядовой сельской учительницы, ее повседневные бытовые трудности, нередко приносящие физические и нравственные страдания, тяжелые условия труда (переполненные учебные классы и ненормированный рабочий день), непростые отношения с сильными мира сего (местными помещиками и священником), которые могли легко лишить ее места и жалования, и т.п. Но были здесь и свои положитель-

ные моменты: радость от общения с учениками, сознание востребованности своего труда, уважение односельчан.

Н.Д. Кившенко, как и многие другие представители передовой русской интеллигенции, жила идеями и высшими духовными стремлениями. Отсюда эта горячая преданность делу народного образования, готовность отказаться от собственной семьи и даже опроститься, т.е. заниматься физическим трудом, чтобы полностью слиться с народом. И «Дневник сельской учительницы» — эта еще одна возможность заглянуть во внутренний мир этих народных просветителей и лучше понять мотивы их экстравагантных, с точки зрения обывателя, мыслей и поступков.

Геннадий Мокшин

* * *

Дневник Н.Д. Кившенко воспроизводится по журналу «Русское богатство» 1887. № 7. С. 3-27; № 8. С. 21-75; № 9. С. 91-102; № 10. С. 117-134; № 11. С. 133-154; № 12. С. 83-104.

Подготовка текста: *Геннадий Мокшин.*

Текст разделен на три части, соответствующие трем учебным годам: 1884/85, 1885/86 и началу 1886/87, в промежутках между которыми записи не велись.

Журнальный вариант дневника воспроизводится без пропусков и согласно современным правилам орфографии и пунктуации. Сокращения слов раскрыты в квадратных скобках. Постраничные сноски, принадлежащие автору дневника, отмечены звездочками.

Дневник снабжен примечаниями, в которых объясняются значения устаревших или узкоспециальных слов и понятий, а также некоторых украинских слов и выражений; даются краткие сведения об упомянутых в тексте населенных пунктах и персоналиях; воспроизводятся полные названия и выходные данные литературных произведений, которые Надежда Кившенко читала вместе со своими учениками; исправляются ошибки, допущенные при первом издании рукописи в 1887 г.

[1] Подробнее см.: Мокшин Г.Н. Кто такие народники-культурники? // Вестник ВГУ. Сер. История. Политология. Социология. 2016. № 3.

[2] Воронежская историко-культурная энциклопедия. Персоналии. Изд. 2-е. Воронеж, 2009. С. 235.

[3] Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 85. Письма к В.Г. Черткову 1883—1886. М., 1935. С. 93, 256, 257, 353, 378, 385, 398.

[4] Н.Д. Кившенко очень хотела побывать в Ясной Поляне, но Л.Н. Толстой был вынужден отказать ей в личной встрече (по настоянию С.А. Толстой, пытавшейся огородить супруга от осаждавших его дам и девиц). См.: Там же. С. 256.

[5] Аксенова Г. «Война и мир» Алексея Даниловича Кившенко. О земляке серебрянопрудневцев живописце А.Д. Кившенко (1851—1895) // Московский журнал. 2008. № 8. С. 45.

[6] Тихомиров Б.Н. С Достоевским по Невскому проспекту, или Литературные прогулки от Дворцовой площади до Николаевского вокзала. СПб., 2012. С. 88.

[7] Морозов А.Я. Воронежские Чертковы. Воронеж, 2011. С. 45.

[8] В Отделе рукописей Государственного музея Л.Н. Толстого (Москва) в архиве В.Г. Черткова хранится несколько десятков писем к нему Н.Д. Кившенко за 1883—1889 гг. Они пока недоступны исследователям, но содержащиеся здесь биографические сведения о писательнице вошли в комментарии к 85-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

[9] ОР РГБ. Ф. 435. Оп. 1. Картон 2. Ед. хр. 32. Чертков В.Г. Дневник 1884 г. Л. 9.

[10] Сохнышев В.Е. Полвека в сельской школе. Записки учителя-общественника. Воронеж, 2003. С. 17.

[11] ОР РГБ. Ф. 435. Оп. 1. Картон 2. Ед. хр. 32. Чертков В.Г. Дневник 1884 г. Л. 13-14.

[12] Народное образование в Острогожском уезде. Воронеж, 1887. С. 23.

[13] 26 февраля, 3 октября, 9 декабря 1885 г. и 3 апреля, 23 мая 1886 г. записи в дневник заносились дважды, поэтому эти даты повторяются.

[14] Дневник Кившенко занимает около 6,5 п.л.

[15] Подробнее см.: Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М., 1989.

[16] Отказ Н.Д. Кившенко от насилия над учениками не был исключением из правил. Директор народных училищ Тульской губернии писал в 1904 г., что крестьяне часто ставят в вину учительницам «их доброе, сердечное отношение к ученикам, их стремление основать свое воспитательное влияние не на страхе и наказании, а на любви и доверии». Цит. по: Зубков И.В. Повседневность учительниц земских школ (конец XIX — начало XX в.) // Социальная история. Ежегодник, 2010. СПб., 2011. С. 57.

[17] Банк Б.В. Изучение читателей в России (XIX в.). М., 1969. С. 91.

[18] Чумаков В.Ю. Сытин. Издательская империя. М., 2011. С. 115.

[19] До конца сентября 1886 г. Н.Д. Кившенко исполняла обязанности заведующего редакцией и складом издательства «Посредник».

[20] Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 85. С. 398.

[21] В 1888 г. оттиски дневника Н.Д. Кившенко из журнала «Русское богатство» переизданы Л.Е. Оболенским под одной обложкой. Отзывы о «Дневнике сельской учительницы» см.: Глинский Б.Б. Просветители народа // Исторический вестник. 1896. Т. 66. № 12. С. 1032—1034; Острога В.М. Документы личного происхождения как источники изучения истории учительской интеллигенции Российской империи в конце XIX — начале XX века // Интеллигенция и мир. 2013. № 4. С. 163—164.

[22] Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Т. 85. С. 257.

[23] Данович Е.С. Земские либералы и развитие народного образования в Тверской губернии (вторая половина XX века) // Социально-культурные аспекты истории экономики России XIX-XX вв. СПб., 2012. С. 119.

[24] Там же. С. 115.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Содержание

Историко-культурное издание

Александр Васильевич **Никитенко**

Моя повесть о самом себе

и о том, «чему свидетель в жизни был»

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР А.Н. АКИНЬШИН

Надежда Даниловна **Кившенко**

Дневник сельской учительницы

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР Г.Н. МОКШИН

Редактор *Р.В. Андреева*
Художественный редактор *Л.Ф. Попова*
Обложка *К.В. Рогозиной*
Компьютерная верстка *Е.В. Саввиной*
Корректор *И.А. Тарлыкова*

При оформлении обложки использована репродукция картины
В.Е. Маковского «В сельской школе». 1883 г.

Оригинал-макет изготовлен
Фондом «Центр духовного возрождения Черноземного края».
Сдан в печать 22.12.2017 г. Формат 70x100 $^1/_{16}$. Бум. офсетная.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 2472.

Издательство «Центр духовного возрождения Черноземного края»,
394006, Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 68, оф. 608.

Отпечатано в АО «Воронежская областная типография»,
394071, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 73.

